This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

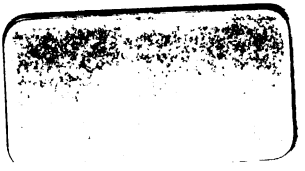
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 18 EE 13

PG 2980.S8 (2)



3024347662

Н. СТРАХОВЪ.

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ

ВЪ

НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ

ИСТОРИЧЕСКІЕ И КРИТИЧЕСКІЕ ОЧЕРКИ

КНИЖКА ВТОРАЯ

Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова. — Фейербахъ. — Дарвинъ. — Целлеръ. — Спиритизмъ. — Нигилизмъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія брат. Пантелеевыхъ. Казанская ул., д. № 33.
1883.

TAYLOR INSTITUTION
LIBRARY
23 APR 1953
UNIVERSITY OF OXFORD

ОГЛАВЛЕНІЕ.

стр.

I. Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова 1

Глава 1. **Задача исторіи литературы.** Исторія, какъ судъ потомства. — Исторія, какъ изображеніе прогресса.—Писатели, какъ самостоятельныя явленія.—Народный духъ.—Слова Дройзена.—Значеніе исторіи литературы 1

Глава 2. **Самобытность въ ходѣ нашей литературы.** Точка зрѣнія *самобытности*.—Ломоносовъ и его ода.—Ложноклассическая эпоха.—Мнѣніе Шербюлье.—Наша слава и нашъ восторгъ.—Нашъ литературный языкъ.—Равенство съ Европою.—Карамзинъ и Жуковскій.—Вѣра въ свою литературу.—Пушкинъ и его борьба съ чужимъ.—Побѣда . . 11

Глава 3. **Связь литературы съ вѣкомъ и народомъ.** Литература—не особый организмъ.—Общіе корни явленій.—Связь между вѣкомъ и писателемъ.—Недостатокъ у насъ исторіи.—Ясныя черты связи.—1812 годъ.—Батюшковъ въ Парижѣ.—Вѣра въ себя. — Пушкинъ.—«Клеветникамъ Россіи».—Гоголь и Императоръ Николай 22

Глава 4. **Ломоносовъ и Карамзинъ.** Ломоносовъ и Петръ Великій.—Поэтическій и ученый подвигъ Ломоносова.—Его поэзія.—Отзывъ Пушкина.—Карамзинъ и Екатерина.—Космополитизмъ и народность.—Сантиментальность.—„Исторія Государства Россійскаго» 33

Глава 5. **Движеніе литературы въ прошлое царствованіе.** Возбужденіе, начавшееся въ 1856 г. — Отвлеченныя идеи.—Идея матеріальнаго благосостоянія. — Ея безсиліе. — Сила нравственныхъ идей.—Отрицаніе искусства.—Красота природы.—Любовь.—Пакостныя понятія.—Правило художника. 44

II. Фейербахъ 60

Глава 1. **О томъ, можно ли издавать полное собраніе своихъ сочиненій** 61

Глава 2. **О томъ, можно ли сказать, что «человѣкъ имѣетъ голову»** 68

Глава 3. **О томъ, что истина заключается въ томъ, чего нельзя сказать** 81

Глава 4. **Теорія „свирѣпой имманентности, или то, что называется матеріализмомъ Фейербаха** 91

Глава 5. **Мнѣніе Хомякова о происхожденіи современнаго матеріализма** 97

Глава 6. **Значеніе Фейербаха** 102

III. Дарвинъ 110

Глава 1. **Переворотъ въ наукѣ.** Неожиданный успѣхъ.—Ученый ареопагъ.—Авторитетъ Кювье.—Движеніемъ ума заправляетъ сердце.—Ходъ философскихъ ученій.—Сила фантастическихъ понятій.—Ученіе Кювье о постоянствѣ видовъ.—Теорія Дарвина.—Отрицаніе явленій.—Главное возраженіе противъ Дарвина.—Естественная смерть.—Европейскій нигилизмъ 110

Глава 2. **Послѣдователи и противники.** Путаница въ умахъ.—Геккель. — Механическое объясненіе происхожденія видовъ.—Роста и наслѣдственности не объясняетъ Дарвинъ.—Цѣлесообразность. — Слова Гельмгольца. — Агасизъ. — Бэръ.—Замѣтка о переводахъ 135

IV. Целлеръ 147

Глава 1. **Вопросъ объ исторіи философіи.** Умственное владычество Германіи.—Ренанъ объ Маколеѣ.—Вопросъ о задачѣ исторіи философіи.—Льюисъ.—*Исторія наукъ въ Германіи.*—Какъ Целлеръ излагаетъ содержаніе философскихъ книгъ.—Что такое философъ?—Лессингъ 147

Глава 2. **Отношеніе философіи къ другимъ наукамъ.** Философія, какъ лишняя наука.—Философія, какъ наука подчиненная.—Главенство философіи. —Гельмгольцъ.—Механическая теорія теплоты.—Полный упадокъ философіи.—Радостныя надежды Целлера.—Заключеніе 157

V. Три письма о спиритизмѣ. 166

Письмо 1. **Идолы.** Интересъ спиритизма.—Равнодушіе.—Оживленіе проповѣди.—Университетъ, натуралисты, журналы.—*Наука.—Авторитетъ ученыхъ.—Прогрессъ.—Эмпиризмъ.—Свобода.—Позитивизмъ.*—Эти знамена имѣютъ существенное значеніе для спиритизма 166

Письмо 2. **За непосвященныхъ.** Фанатизмъ нашей литературы.—Предубѣжденія.—Вѣра на слово.—Требованія отъ непосвященныхъ.—Чистый эмпиризмъ.—Безвыходное положеніе.—Дилемма.—Все возможно.—Спекулятивная область. . 178

Письмо 3. **Границы возможнаго.** Чистая математика.—Явленія не подходящія подъ математику и явленія противорѣчащія математикѣ.—Воображаемые опыты.—Причины.—Законы.—Переходъ отъ математики къ физикѣ.—Платоновская теорія воспоминанія.—Кошка съѣдающая мышь.—Заключеніе 188

VI. Письма объ нигилизмѣ. 202

Письмо 1. Наша слѣпота.—Трудность исцѣленія.—Исторія.—Простой народъ.—Гдѣ источникъ зла?—Личныя побужденія.—Племенная ненависть.—Нигилизмъ.—Порохъ въ домѣ.—Реальная злобъ.—Трансцендентальный грѣхъ . . 202

Письмо 2. Гордость.—Презрѣніе.—Ненависть.—Самодовольство.—Долгъ и самопожертвованіе.—Проповѣдь и ея фіаско.—Бездарность и ложь.—Злодѣйство.—Безсердечіе.—Молодость.—Распространеніе заразы.—Непослѣдовательность.—Гордость просвѣщеніемъ.—Самостоятельное мышленіе.—Политическое честолюбіе.—Политическія преступленія.—Бѣдствія впереди. 217

Письмо 3. Шаткость всѣхъ понятій.—Вѣковѣчныя начала.—Счастливое время.—Мечтательность и дѣйствительность.—Новое божество—прогрессъ.—Внутреннее противорѣчіе.—Жажда страдальчества.—Замѣна религіи.—Идеальная потребность.—Цѣль освящаетъ средства.—Неизбѣжныя бѣдствія. 231

Письмо 4. Истинное просвѣщеніе.—Прогрессъ.—Современная нравственность.—Добродѣтели временъ упадка.—Растравленіе эгоизма.—*Блаженны нищіе.*—Ненависть.—Проповѣдь борьбы.—Слова В. Гюго. 241

ПРИЛОЖЕНІЕ.

Герценъ о Парижѣ 251
Милль въ своей автобіографіи 260
Дополненія и поправки 269

ОПЕЧАТКИ.

Стр.	*Строка*	*Напеч.*	*Чит.*
142	15 св.	Бъ маленькой	Въ маленькой
192	14 сн.	apriori	a apriori
234	6 св.	въ лучшему	къ лучшему
236	10 сн.	Достакта	Достатка

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Покорно благодарю читателей, такъ быстро раскупившихъ книжку, изданную мною въ прошломъ году. Предполагая, что многіе изъ нихъ были заинтересованы не только запретными именами Герцена, Ренана и пр., а и мыслями, которыя объ нихъ высказываются, предлагаю имъ новую книжку, составляющую дополненіе и продолженіе первой. Меня упрекали, что мало было сказано о значеніи Запада для нашей литературы взятой въ цѣломъ; въ статьѣ *Ходъ нашей литературы* читатель найдетъ взглядъ на это значеніе, проведенный по главнымъ литературнымъ періодамъ. Мнѣ говорили, что нужно было бы помѣстить статьи о *Фейербахѣ* и объ *нигилизмѣ*; исполняю это желаніе. Остальныя статьи развиваютъ и продолжаютъ все ту же тему,—борьбу съ господствующими на Западѣ авторитетами и ученіями.

Такой важный предметъ, какъ обсужденіе западнаго просвѣщенія, и слѣдовательно забота о правильности нашего собственнаго просвѣщенія—справедливо можетъ показаться читателямъ слишкомъ труднымъ и высокимъ, и потому возбудить недовѣріе къ моимъ силамъ. Какія у меня права браться за такіе вопросы и думать, что могу произносить объ нихъ вѣрныя сужденія? Но пусть читатели не останавливаются на этомъ естественномъ

предубѣжденіи, а вникнутъ въ мысли, которыя имъ предлагаются. Они увидятъ, что здѣсь нѣтъ смѣлыхъ обобщеній, новыхъ умозрительныхъ порывовъ, оригинальныхъ взглядовъ и попытокъ; напротивъ, я останавливаюсь на самыхъ простыхъ и твердыхъ точкахъ зрѣнія, на истинахъ очевидныхъ и извѣстныхъ, и только пробую болѣе правильно и логически приложить ихъ къ предмету. Въ такое мечтательное и смутное время, какъ наше, при той умственной зыбкости, которою мы, русскіе, отличаемся, при укоренившейся привычкѣ отдаваться безъ оглядки и на перегонку всякимъ чувствамъ и ученіямъ, не настоитъ ли, наконецъ, великая надобность позаботиться о трезвости и ясности въ мысляхъ? Вѣчные ученики Запада, мы избалованы обиліемъ чужаго ума, мы поглощаемъ его безъ разбора и не можемъ отвыкнуть отъ легкомыслія и непослѣдовательности. Отъ этого наше просвѣщеніе не только не исполняетъ высшихъ и глубокихъ своихъ задачъ, а явно грѣшитъ противъ самыхъ общихъ и элементарныхъ требованій. Сама европейская наука, если бы мы усвоивали не современныя ея увлеченія, а существенный ея духъ, основные пріемы, могла бы содѣйствовать намъ къ пріобрѣтенію умственной самостоятельности и во всякомъ случаѣ дать намъ опоры для сужденія о Западѣ, для пониманія упадка и внутренняго противорѣчія въ его жизни. Научный духъ заставилъ бы насъ вездѣ доходить до началъ, не уклоняться отъ выводовъ, не останавливаться на полдорогѣ, искать согласія между нашими понятіями, не принимать ничего на́ слово. Тогда бы мы легко убѣдились въ глубокомъ противорѣчіи нашихъ русскихъ инстинктовъ съ наплывающими на насъ западными ученіями и ясно бы увидѣли ту *умственную анархію* Запада, которая оче-

видна уже для многихъ изъ самихъ европейцевъ и составляетъ столь же несомнѣнный фактъ нынѣшняго времени, какъ соціализмъ, какъ динамитъ и игольчатыя ружья.

Уже нѣсколько десятковъ лѣтъ, почти полвѣка, въ умственной жизни Запада явственно обнаружилось и все больше обнаруживается отсутствіе руководительныхъ началъ. Западъ живетъ нынче *безъ философіи*, то есть безъ такого высшаго научнаго взгляда, который бы ставилъ и рѣшалъ коренные вопросы знанія и бытія, и потому указывалъ бы цѣль и направленіе частнымъ научнымъ изслѣдованіямъ. Мало того, что Западъ живетъ безъ философіи, онъ теперь ненавидитъ философію, онъ неутомимо враждуетъ съ нею, преслѣдуя ее почти съ тѣмъ же фанатизмомъ, какъ религію.

Всего яснѣе намъ будетъ нынѣшнее положеніе умовъ, если мы сравнимъ его съ тѣмъ, какое бывало прежде, и даже очень еще недавно. Событія, происходившія въ исторіи философіи за послѣдніе полтораста лѣтъ, чрезвычайно поразительны. Между тѣмъ какъ, въ прошломъ вѣкѣ, во Франціи и въ Англіи, то есть въ самомъ центрѣ тогдашняго просвѣщенія, получилъ полную силу скептицизмъ и матеріализмъ, Германія, на которую этотъ центръ смотрѣлъ еще съ большимъ высокомѣріемъ, была совершенно спасена отъ этого могущественнаго движенія отрицанія. Ее спасла и направила на другой путь философія, которая именно въ это время начала у нѣмцевъ самый блестящій циклъ своего развитія. Лейбницъ, Вольфъ, Кантъ, Фихте, Шеллингъ и Гегель одинъ за другимъ господствовали въ умственномъ мірѣ Германіи, давали ей глубокомысленное и высокое настроеніе, сдѣлали ее философскою школою всего образованнаго міра. Послѣд-

ній изъ этой цѣли философовъ Гегель,—казалось достигъ вѣнца всѣхъ усилій; онъ провозгласилъ полную реставрацію всѣхъ основъ религіозной, умственной и политической жизни, основъ, подвергавшихся такимъ жестокимъ колебаніямъ со времени возрожденія и реформаціи.

Какъ бы мы ни смотрѣли на эту мудрость, какое бы малое значеніе ни давали ей съ безусловной точки зрѣнія, мы должны признать, что она совершила дѣло удивительное: до половины сороковыхъ годовъ нашего вѣка, скептицизмъ и матеріализмъ не смѣли поднять головы въ Германіи, а потому стояли на заднемъ планѣ и во всемъ образованномъ мірѣ; во Франціи Кузенъ успѣлъ дать ходъ философской реставраціи, похожей на нѣмецкую; въ Англіи такіе люди, какъ Карлейль, Уэвель, и другіе почитатели нѣмецкаго идеализма, сдерживали туземный скептицизмъ. Чтобы судить объ авторитетѣ этого великаго идеализма, всего лучше заглянуть въ нѣмецкія книги послѣднихъ десятилѣтій, въ тѣ книги, которыя пишутся уже послѣ низверженія этого авторитета. До сихъ поръ, чуть только зайдетъ о немъ рѣчь, ученые люди разражаются негодованіемъ и ужасомъ; говоря о временахъ Шеллинга и Гегеля, они какъ будто вспоминаютъ какое-то тяжкое иго, и до сихъ поръ не могутъ нарадоваться, что освободились отъ него, до сихъ поръ не могутъ удержаться отъ всякихъ на него ругательствъ.

Увы! Кажется въ этомъ и заключается разгадка всей исторіи. Философскій прогрессъ, совершенный въ нашемъ столѣтіи Европою, кажется состоитъ не въ послѣдовательномъ развитіи извѣстныхъ идей, а въ низверженіи идей, въ попыткѣ вовсе отъ нихъ освободиться. Гегель давалъ исторіи философіи и вообще исторіи человѣчества глубокую значительность и приписывалъ ей нѣкоторый

непрерывный и правильный ходъ; но, кажется, дѣло идетъ не всегда такъ. Кажется правильнѣе видѣть въ исторіи лишь непрерывную борьбу высокихъ началъ съ низкими, жизни и развитія съ смертью и вырожденіемъ. Чѣмъ прекраснѣе и выше возникающія явленія человѣческаго духа, тѣмъ неизбѣжнѣе они заносятся потомъ безконечнымъ пескомъ мелкихъ и низменныхъ явленій. За подъемомъ духа слѣдуетъ упадокъ, волны смыкаются за величественнымъ кораблемъ, и сонъ смѣняетъ горячую дѣятельность.

Такъ и нынѣшнее гоненіе на философію—не прогрессъ, а упадокъ, не развитіе, а остановка. Передовые застрѣльщики этого бунта противъ философіи, нѣкогда знаменитые Фохтъ, Молешоттъ и Бюхнеръ, какъ извѣстно, вовсе не интересовались философіею, и именно на этомъ основаніи объявили, что она не нужна. И Германія очевидно потеряла нынче умственную самостоятельность; она давно уже больше питается мыслями Миллей, Фарадеевъ, Дарвиновъ, чѣмъ своими собственными. Потомство будетъ когда-нибудь безмѣрно удивляться этому народу, который нѣкогда, бѣдный и раздробленный, показалъ невообразимо высокій подъема духа и создалъ свою великую литературу и философію, но потомъ соблазнился общимъ потокомъ времени, отрекся отъ своихъ подвиговъ, и съ жаромъ бросился соперничать съ другими народами въ низменности цѣлей и понятій.

Какъ бы то ни было, въ настоящее время нигдѣ нѣтъ въ Европѣ философскаго ученія, которое имѣло бы, или могло бы имѣть притязаніе на господствующій авторитетъ. Да и потребность въ такомъ ученіи чувствуется все слабѣе и слабѣе. Мѣсто философіи заступила та популярная мудрость, которая повидимому вполнѣ удов-

летворяетъ умственный голодъ большинства современныхъ людей. Такъ, какъ эта мудрость въ сущности ведетъ къ отрицанію всякихъ руководительныхъ началъ, то ее можно назвать вообще *европейскимъ нигилизмомъ*. Это тотъ духъ сомнѣнія и отрицанія, который проникаетъ собою всю умственную атмосферу Европы, получаетъ все большее и большее преобладаніе во всѣхъ ея научныхъ и общественныхъ стремленіяхъ и современемъ долженъ получить рѣшительное господство. Нашъ нигилизмъ въ началѣ былъ порожденъ и возращенъ этимъ духомъ, а теперь постоянно имъ питается и обновляется. Въ нигилизмѣ, какъ и во многомъ другомъ, мы только подражаемъ Европѣ, только ревностные ея ученики. Напрасно европейцы, по своей всегдашней нелюбви и презрѣнію къ Россіи, стараются выставить нигилизмъ со всѣми его безобразіями чѣмъ-то спеціально русскимъ, порожденіемъ нашего варварства, невозможнымъ среди образованныхъ странъ. Если есть въ нигилизмѣ что-нибудь спеціально-русское, то оно состоитъ только въ несчастномъ умственномъ рабствѣ, по которому мы, отрекаясь отъ всѣхъ основъ своей родной жизни, способны легче всѣхъ другихъ народовъ подчиняться чужимъ мыслямъ и направленіямъ, да еще въ томъ, что по нашей бойкости мы доводимъ всякую воспринятую мысль до конца, до послѣднихъ ея выводовъ, а по нашему легкомыслію и искренности сейчасъ же стремимся приводить наши мысли въ исполненіе. Такимъ образомъ часто выходитъ, что ученики опережаютъ своихъ учителей, и въ нигилизмѣ мы безъ всякаго сомнѣнія идемъ впереди Европы. Тутъ уже не мы подражаемъ, а наоборотъ европейскіе нигилисты подражаютъ нашимъ. Припомните, какъ подѣйствовало дѣло Зосуличъ, какъ оно вызвало въ Европѣ

цѣлый рядъ покушеній, къ числу которыхъ относятся и покушенія на Германскаго Императора; припомните и Бакунина, и Крапоткина, — и цѣлый рядъ подобныхъ фактовъ и явленій.

Напрасно также, наши русскіе европейцы, люди, заявляющіе себя поклонниками Европы, усвоивающіе или по крайней мѣрѣ постоянно старающіеся усвоить себѣ ея просвѣщеніе, часто утверждаютъ, что оно не имѣетъ ничего общаго съ нигилизмомъ, что въ этомъ просвѣщеніи и въ настоящее время содержатся нѣкоторыя твердыя начала, не подвергающіяся никакой опасности со стороны духа сомнѣнія и отрицанія и могущія служить намъ и всѣмъ просвѣщеннымъ людямъ руководствомъ и опорою. Такое мнѣніе есть заблужденіе, притомъ одно изъ самыхъ увлекательныхъ и самыхъ вредныхъ по своимъ послѣдствіямъ заблужденій. Эти люди, обыкновенно благонамѣренные и очень часто добросовѣстные, очевидно останавливаются на половинѣ дороги, совершенно такъ, какъ стоитъ на половинѣ дороги и большинство европейцевъ. По преданію, по привычкѣ, по кровной связи съ своимъ прошлымъ, они держатся за нѣкоторыя старыя свои понятія, не замѣчая, что всѣ основы этихъ понятій уже подорваны, что сами же они, увлекаемые духомъ вѣка, проповѣдываютъ и защищаютъ въ тоже время другія понятія, другіе пріемы мысли, прямо противорѣчащіе первымъ. Умственная жизнь народовъ имѣетъ свои корни въ ихъ психической жизни. Этимъ объясняется, почему въ душахъ людей могутъ уживаться мысли и несвязныя, и несогласныя между собою. Такъ и въ нынѣшней Европѣ, отъ ея долгой и богатой духовной жизни осталось много формъ и понятій, которыя не только упорно держатся нротивъ потока нигилизма, но и ужи-

ваются въ однихъ и тѣхъ же умахъ съ самыми рѣзкими пріемами отрицанія. Очевидно, однако, такое положеніе умовъ только временное, и внутреннее ихъ противорѣчіе должно разрѣшиться побѣдою отрицанія надо всѣмъ, что держится только по инерціи.

У насъ этотъ процессъ совершается очень ясно и такъ сказать наглядно. Какой-нибудь профессоръ, или писатель, благонамѣренный, и однако современный, внушаетъ читателямъ и слушателямъ всяческіе критическіе пріемы нынѣшней науки, но въ тоже время крѣпко стоитъ за извѣстныя положительныя начала, выбранныя имъ по крайнему разумѣнію. Онъ усердно проповѣдуетъ, не замѣчая внутренняго противорѣчія своей проповѣди. Но это противорѣчіе прямо передъ его глазами принимаетъ плоть и кровь и является въ живомъ образѣ. Учащіеся, какъ молодые люди, бываютъ свободнѣе отъ предвзятыхъ мнѣній, они могутъ получить откуда-нибудь совершенно иныя психическія настроенія, и вотъ они проводятъ до конца принципы своего наставника, логически ниспровергаютъ одну часть его рѣчей на основаніи другой, и выходятъ полными нигилистами, иногда къ великому его сокрушенію и изумленію.

Мы говоримъ здѣсь о добросовѣстныхъ писателяхъ и преподавателяхъ, а не о тѣхъ, кто расположенъ лукавить и популярничать. Для такихъ современное настроеніе европейской науки даетъ полную возможность безпрестанно сворачивать на путь отрицанія. Есть наконецъ и честные люди, держащіеся этого пути прямо по долгу науки и логической вѣрности духу, который они справедливо признаютъ за истинный духъ нынѣшняго научнаго движенія.

Вотъ постоянный и главнѣйшій источникъ нигилизма,

европейское просвѣщеніе, и у насъ и на Западѣ, среди другихъ своихъ плодовъ постоянно приноситъ и эти цвѣтки и ягодки. Поэтому просвѣщенные классы вездѣ чувствуютъ свое сродство съ нигилизмомъ, составляющимъ лишь послѣдовательное проведеніе нѣкоторыхъ началъ, исповѣдуемыхъ самими этими классами; а главное, поэтому просвѣщенные классы, обыкновенно упирающіеся противъ этой послѣдовательности и для этого хватающіеся за остатки всякаго рода положительныхъ началъ, оказываются *совершенно безсильными противъ нигилизма.* Что касается до Запада, то онъ уже весь внутренно содрогается отъ грозящей ему опасности; среди образованнаго міра только наша великая родина въ огромной своей части еще спитъ своимъ здоровымъ сномъ, не испытывая и тѣни той душевной разладицы, которая свирѣпѣетъ въ одномъ наружномъ ея слоѣ, въ такъ называемыхъ образованныхъ людяхъ.

Между тѣмъ, мы все еще возлагаемъ наши надежды на Западъ; мы ищемъ спасенія отъ нигилизма въ какихъ-нибудь научныхъ началахъ, которыя тамъ надѣемся найти; мы слѣдимъ за тамошней литературной борьбой и хватаемся за чужое оружіе, которое намъ покажется покрѣпче и половчѣе для употребленія. Въ этомъ случаѣ мы, по обыкновенію, отстали отъ Европы; мы, такіе ревностные ученики и перениматели, такъ усердно слѣдящіе за всѣмъ новенькимъ, мы не замѣчаемъ, что Европа уже очень мало вѣритъ во многое, что̀ въ ней еще очень громко провозглашается, мы не умѣемъ отличить того, что̀ имѣетъ истинную силу, отъ того, что̀ только принимаетъ видъ силы.

Велики научныя сокровища Запада и выше всякихъ похвалъ его умственные подвиги; но они не пойдутъ

намъ въ прокъ, пока мы не откинемъ привычекъ духовнаго рабства и не станемъ крѣпко на своихъ ногахъ. Что касается нигилизма, то вотъ именно случай, въ которомъ можно убѣдиться, что Западъ не можетъ дать намъ началъ для выхода изъ этого вопроса, что слѣдовательно, если мы желаемъ теоретически противодѣйствовать этому направленію, намъ нужно вносить въ различныя области знанія свои собственныя начала. Требованіе огромное и тяжелое, которое звучитъ особенно страшно для насъ, такихъ робкихъ и смиренныхъ поклонниковъ западнаго просвѣщенія. Но требованіе неизбѣжное, и возможность его исполненія, въ сущности, ясна. Въ научномъ движеніи Европы отразилась ея жизнь, ея психическій строй, ея глубочайшія стремленія. Русская жизнь имѣетъ другой строй, другія стремленія; намъ слѣдуетъ возвести эти стремленія въ сознательныя начала, которыя и дадутъ иное направленіе научнымъ развитіямъ.

Въ заключеніе, прошу извиненія за рѣзкость тона нѣкоторыхъ мѣстъ настоящей книги. Тѣхъ, кого этотъ тонъ коснулся, усердно прошу поставить интересъ дѣла выше этой дурной журнальной привычки; менѣе виноватъ я, кажется, въ другихъ недостаткахъ журнальнаго писанія, въ многословіи и безпорядкѣ.

12 Марта 1883.

БОРЬБА СЪ ЗАПАДОМЪ
ВЪ НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРѢ.

Книжка вторая.

I.

Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Задача исторіи литературы *).

Исторія, какъ судъ потомства. — Исторія, какъ изображеніе прогресса. — Писатели, какъ самостоятельныя явленія. — Народный духъ.— Слова Дройзена.—Значеніе исторіи литературы.

На томъ, какъ у насъ пишется исторія литературы, можетъ быть яснѣе, чѣмъ на всякомъ другомъ предметѣ, обнаруживается жалкое состояніе нашего просвѣщенія: отсутствіе твердыхъ основъ, хаосъ предразсудковъ и недоразумѣній. Для пониманія этой драгоцѣнной исторіи требуется слишкомъ много, и вотъ почему она покрыта особенно густымъ мракомъ. Поэтому, когда мы нашли, что въ книгѣ г. Полевого всего слабѣе характеристика писателей, изложеніе ихъ духа и значенія, мы ни мало не винили составителя книги. На нѣтъ и

*) *Исторія русской литературы въ очеркахъ и біографіяхъ.* Соч. П. Полевого. Гравюры исполнены Л. Сѣряковымъ. Спб. 1872.

суда нѣтъ; гдѣ было взять автору правильный и ясный взглядъ на нашу литературу? Онъ сдѣлалъ что могъ, а въ нѣкоторыхъ очеркахъ, напр. Державина, Крылова и пр., онъ обнаружилъ даже любовь къ своему предмету, любовь къ русскимъ писателямъ, качество превосходное и по нынѣшнему времени совершенно неожиданное и удивительное.

Писать исторію литературы въ простотѣ сердечной, не мудрствуя лукаво, но лишь всею душою любя и уважая дѣятелей литературы—нынче уже никто не хочетъ. Между тѣмъ, это была бы, можетъ быть, наилучшая метода для многихъ историковъ, метода, которая спасла бы ихъ отъ излишнихъ и невѣрныхъ разсужденій. Обыкновенно у насъ держатся другой методы, и историки приступаютъ къ своему предмету если не съ прямою ненавистью, то съ замѣтнымъ недоброжелательствомъ и злорадствомъ. И г. Полевой не ушелъ отъ общаго настроенія; и у него кой-кому досталось, напр. Гоголю, Карамзину; а Пушкину такъ и очень досталось. Подмѣтить и раздуть темную черту составляетъ истинное наслажденіе для нашихъ историковъ.

Говорили когда-то, что исторія есть безпристрастный судъ потомства. „Настанетъ часъ—и насъ не будетъ; но останутся дѣла наши—и потомство благословитъ память нашу". Такъ утѣшалъ себя благодушный Карамзинъ и, въ минуту чистой гордости, надписалъ надъ одной изъ своихъ бумагъ: „для потомства". Какъ жестоко онъ обманулся! Съ чего онъ взялъ, простодушный человѣкъ, что потомство будетъ безпристрастнѣе современниковъ? У потомства будутъ свои страсти, свои занятія, свои предразсудки, и нѣтъ никакой причины думать, что оно съумѣетъ лучше оцѣнить человѣка, чѣмъ тѣ, которые

его чтили и любили при его жизни. Что пользы въ томъ, что тысячи книгъ испещрены именами Карамзина, Пушкина, Шиллера и пр., что безчисленныя толпы школьниковъ каждаго поколѣнія повторяютъ эти имена, если въ памяти людей уже изгладились свѣтлые образы этихъ писателей, если ихъ поэзія уже не находитъ себѣ никакого отзыва? Это ли та слава въ потомствѣ, которой можно желать и о которой мечтаютъ поэты?

Можно сказать, что каждое поколѣніе, по неизбѣжному ходу вещей, наноситъ новую обиду, новое оскорбленіе каждому изъ великихъ писателей. При жизни Пушкина, многіе предпочитали ему Державина, въ чемъ, вѣроятно, онъ не видѣлъ большой обиды. Но если бы теперь онъ узналъ въ своемъ гробѣ, что все молодое поколѣніе уже не читаетъ его больше и предпочитаетъ ему Некрасова, то, можетъ быть, онъ почувствовалъ бы не малую горечь. И, вѣроятно, будутъ поколѣнія, когда поэты и съ несравненно меньшимъ талантомъ, чѣмъ у Некрасова, будутъ восхищать собою главную толпу публики и будутъ ставимы ею выше Пушкина. Вотъ что значитъ слава въ потомствѣ!

И съ какихъ точекъ зрѣнія судитъ потомство о писателяхъ прошлыхъ временъ? Каждое поколѣніе въ нелѣпой гордости считаетъ свои понятія, свои нужды, свои стремленія за единственно истинныя и существенныя; въ исторіи оно ищетъ того, чѣмъ само оно умѣетъ интересоваться, хвалитъ только то, чему само оно способно сочувствовать. И чѣмъ живѣе собственные интересы и стремленія потомства, тѣмъ оно пристрастнѣе, тѣмъ несправедливѣе. Оно вступаетъ въ *полемику* съ знаменитыми мертвецами, оно пропускаетъ мимо ушей лучшіе звуки ихъ души, для него непонятные, и казнитъ за

все, въ чемъ найдетъ понятное противорѣчіе своимъ мыслямъ. Такимъ образомъ человѣку, въ которомъ горитъ геній, остается только то утѣшеніе, что среди множества тупыхъ, равнодушныхъ и пристрастныхъ людей, вниманіе которыхъ будетъ привлечено его именемъ, въ видѣ исключенія попадется вѣроятно и нѣсколько умовъ, которые будутъ способны понять его, которые, можетъ быть, оцѣнятъ его даже вѣрнѣе, чѣмъ съумѣли оцѣнить близко знавшіе его современники.

Отсюда мы видимъ, въ чемъ состоитъ истинная задача историка (и слѣдовательно критика). Историкъ по самому существу дѣла есть консерваторъ, хранитель преданій, любитель прошлаго. Онъ долженъ противодѣйствовать безпамятству людей, ихъ увлеченію настоящимъ, отвлекать ихъ отъ интересовъ минуты къ интересамъ болѣе важнымъ и общимъ. Его усилія должны быть направлены къ тому, чтобы задержать прогрессъ, не дать ему мельчать и отрываться отъ прошлаго, замедлить его теченіе всѣмъ бременемъ минувшихъ дѣлъ и мыслей. Пусть не ошибаются историки, воображающіе себя рьяными прогрессистами: они на ложной дорогѣ, они уклоняются отъ своего прямаго назначенія. Въ одномъ журналѣ уже было замѣчено г. Полевому, что онъ напрасно посвятилъ около трети своей книги исторіи допетровской литературы, что эта исторія не интересна большинству публики. Съ прогрессивной точки зрѣнія какой справедливый упрекъ! Зачѣмъ возбуждать интересъ къ отжившему, среди множества современныхъ животрепещущихъ интересовъ? Впередъ и впередъ, и чѣмъ меньше мы будемъ думать и жалѣть о старомъ, тѣмъ лучше. Вотъ почему истинно-прогрессивный историкъ занимается лишь тѣмъ, что бранитъ старое, и у насъ дѣйствительно есть

историки литературы, которые не видятъ въ ея исторіи ничего свѣтлаго и замѣчательнаго почти вплоть до того времени, когда они сами стали писать.

Обыкновенный, наивный взглядъ на исторію гораздо ближе къ сущности дѣла. Обыкновенно люди не видятъ хорошаго въ настоящемъ и любовно обращаются къ прошлому, гдѣ можно найдти столько прекраснаго. Если приложить этотъ анти-прогрессивный взглядъ къ литературѣ, то онъ окажется очень естественнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, если взять настоящую минуту, то гдѣ мы найдемъ въ нашей литературѣ такую могучую и теплую поэзію, какъ у Пушкина, такую яркость и несравненный юморъ, какъ у Гоголя, такую чистоту и благость души, какъ у Карамзина, такой свѣтлый и крѣпкій духъ, какъ у Ломоносова? Все это было когда-то, и хотя можетъ-быть живетъ въ насъ, но, по вѣчному закону исторіи, уже не повторяется въ тѣхъ формахъ, въ которыхъ было предметомъ нашего восторга. Старое—увы!—не замѣняется новымъ, что̀ бы ни толковали прогрессисты. Исторія есть рядъ откровеній, которыя потому и дороги, потому и достойны изученія, что, по слабости и ограниченности человѣка, не могутъ являться вновь. Это такое наше имущество, такое наслѣдство, которымъ мы отчасти можемъ обладать, но котораго сами пріобрѣсти неспособны.

Съ этой точки зрѣнія то, что̀ называется прогрессомъ и развитіемъ, есть дѣло довольно мудреное для точнаго опредѣленія. На литературѣ яснѣе, чѣмъ на другихъ сферахъ, видно, что непрерывный и послѣдовательный прогрессъ совершается лишь въ низшихъ областяхъ, въ явленіяхъ не главныхъ, а подчиненныхъ. Такъ, число книгъ постепенно увеличивается, но никто не ска-

жетъ, что онѣ непремѣнно становятся умнѣе и значительнѣе; знанія распространяются, но основательное и глубокое изученіе есть всегда рѣдкое и капризное исключеніе; пишущихъ становится все больше и больше, но люди талантливые и геніальные часто почти вовсе исчезаютъ, и ихъ появленіе не подчинено никакому закону; самый языкъ, постоянно обогащаясь, постоянно становясь точнѣе и аналитичнѣе, колеблется въ разсужденіи своихъ высшихъ качествъ, красоты и силы. И вотъ почему истинные прогрессисты не любятъ литературы въ высшемъ ея смыслѣ, въ томъ смыслѣ, который не укладывается въ ровную и узкую колею прогресса. Поклоненіе генію для нихъ ненавистно не только въ поэзіи, но даже въ наукѣ; они желали бы свести всѣ знанія на общедоступныя и ни для кого не составляющія заслуги; они желали бы изгнать всякую поэзію, все, что требуетъ особаго дара небесъ, и оставить лишь ту литературу, для которой довольно усердія и расторопности, и нѣтъ нужды въ талантахъ.

Если возьмемъ отдѣльныя явленія литературы, отдѣльныхъ писателей, то, всматриваясь въ ихъ развитіе, мы встрѣтимъ непобѣдимыя трудности, когда станемъ подводить ихъ подъ формулу прогрессивнаго движенія. Историки литературы очень любятъ указывать вліяніе, которому одинъ писатель подвергался отъ другаго, или отъ общаго умственнаго настроенія, отъ духа вѣка. Такимъ образомъ они пытаются и надѣются связать факты литературы въ нѣкоторую непрерывную нить. Но легко видѣть, что эта нить въ дѣйствительности разрывается на каждомъ шагу и что вполнѣ связать ее никогда не удается. Каждый писатель, стоющій вниманія историка, есть нѣчто самобытное, независимый организмъ. Натуры

подражательныя, остающіяся всю жизнь эхомъ чужихъ мыслей и рѣчей, хотя могутъ быть иногда весьма даровиты и плодовиты, хотя иногда чрезвычайно восхваляются поклонниками прогресса, какъ носители и распространители извѣстныхъ идей, не составляютъ однако-же истинныхъ двигателей и вкладчиковъ литературы. Они относятся къ той низшей области, которая можетъ вполнѣ войти въ колею прогресса. Если бы всѣ писатели подражали, о,—тогда прогрессъ дѣйствительно шелъ бы непрерывно и постепенно; онъ по прямой бы линіи завелъ насъ—вѣроятно въ какія нибудь тѣснины, несносныя для души человѣка.

Но не всѣ подражаютъ; являются люди, которые, иногда послѣ долгой и тяжкой борьбы, выходятъ изъ подъ вліянія вѣка, господствующихъ идей, прежнихъ писателей, которые осмѣливаются быть самими собою и говорить то, что̀ откуда-то, изъ какой-то невѣдомой глубины, приходитъ имъ на умъ и на сердце;—и вотъ эти-то люди составляютъ настоящую литературу, совершаютъ въ ней дѣйствительный прогрессъ. Дѣятельность такихъ людей не опредѣляется тѣми вліяніями, подъ которыми они развиваются, а развѣ только оплодотворяется. Конечно, если существуетъ постоянный и сильный источникъ вліяній, какъ напримѣръ для насъ онъ существуетъ въ литературахъ Запада, то мы едва-ли найдемъ большое достоинство въ писателѣ, который остался глухъ и недоступенъ для этого могучаго воздѣйствія. Воспріимчивость, и даже очень сильная, всегда свойственна даровитымъ натурамъ. Но наконецъ она побѣждается собственнымъ голосомъ души, и эта побѣда бываетъ тѣмъ выше, чѣмъ сильнѣе то, что̀ требовалось побѣдить.

Понятно, что такіе люди неизбѣжно встрѣчаютъ про-

тиводѣйствіе и недоброжелательство со стороны современниковъ, а мы прибавимъ—и со стороны потомства. Ибо, какъ современники, такъ и потомство составляютъ ту толпу, для которой всего удобнѣе и привычнѣе двигаться по ровной колеѣ прогресса, преуспѣвать въ подражаніи и перениманіи. Задача историка состоитъ въ томъ, чтобы стать выше такого общаго хода вещей и наводить читателей на болѣе справедливое и глубокое пониманіе. У насъ, какъ извѣстно, дѣло идетъ обратнымъ порядкомъ; историки хвалятъ нашихъ писателей, напр. Карамзина, Пушкина, только до тѣхъ поръ, пока они не достигли самостоятельности, пока были подъ вліяніемъ Запада; когда же они становятся на свои ноги, мудрые историки не чувствуютъ даже любопытства, а только одно негодованіе.

Но если такъ, если писатели суть самостоятельныя явленія, не связанныя между собою и не порождаемыя вліяніями, точно такъ, какъ не связаны между собою и не порождены вѣтромъ и дождемъ цвѣты одного луга, то въ чемъ мы поставимъ ихъ общее родство, какими нитями свяжемъ ихъ во едино? Каждый писатель въ той или другой мѣрѣ, въ той или другой формѣ, есть выразитель народнаго духа; вотъ та общая почва, на которой они растутъ. Въ одномъ сказалось одно, въ другомъ другое, но корень общій. Народный духъ—такъ назовемъ мы пока ту таинственную силу, отъ которой въ глубочайшемъ корнѣ зависятъ проявленія человѣческихъ душъ. Люди вѣдь напрасно думаютъ, что они сами строятъ свою жизнь; въ самыхъ важныхъ случаяхъ ими движутъ силы, ускользающія отъ сознанія и доступныя для нашего познанія лишь отчасти, лишь при большихъ усиліяхъ.

Съ этой точки зрѣнія исторія литературы представляетъ величайшій интересъ и безконечное поприще для созерцанія. Всякій предметъ, какъ извѣстно, неисчерпаемъ; но едва ли есть другой предметъ, въ который, повидимому, такъ легко углубляться, какъ въ исторію литературы, гдѣ можно бы легче находить столько пищи для души.

Нѣмецкій историкъ Дройзенъ, прогрессистъ, какъ всѣ просвѣщенные Нѣмцы, пишетъ: „У насъ, у людей, есть только настоящее, только *здѣсь* да *теперь*". „Все прошлое, вся исторія содержится идеально въ настоящемъ и въ томъ, чѣмъ обладаетъ настоящее". Вотъ разсужденіе, по нашему мнѣнію, совершенно анти-историческое и глубоко ложное. Оно основано на той дерзостной мысли, къ которой привыкли нѣмцы, что будто бы человѣчество въ каждую минуту воплощаетъ въ себѣ всю сущность міра, исчерпываетъ собою всю его божественность. Тутъ высказывается полное отрицаніе человѣческой слабости и ограниченности.

Какая безмѣрно-гордая, но вмѣстѣ и какая печальная точка зрѣнія! Разумѣется, при такомъ взглядѣ исторія имѣетъ мало значенія. Если въ насъ воплощается божество во всей его цѣлости и въ послѣднемъ фазисѣ его развитія, то зачѣмъ намъ думать о прежнихъ фазисахъ? Мы и безъ того носимъ ихъ въ себѣ. Прошлое несуществуетъ потому, что оно уже недостойно существовать.

Но если такъ, то волей-неволей мы должны довольствоваться настоящимъ—вотъ нестерпимое слѣдствіе. Мы не имѣемъ права находить жалкими современныхъ людей, не имѣемъ права думать, что нѣкогда человѣческая доблесть, человѣческій разумъ, словомъ вся кра-

сота человѣческой души выражались выше и чище, чѣмъ въ наши дни. Противъ подобныхъ взглядовъ какой живой протестъ представляютъ произведенія литературы! Нѣтъ явленій болѣе долговѣчныхъ, болѣе упорно сохраняющихъ свою жизнь. Кто осмѣлится сказать, что геній Пушкина вполнѣ усвоенъ и претворенъ нынѣшними умами, что онъ въ нихъ содержится? Но если, въ силу прогресса и развитія, настанутъ и такія поколѣнія, для которыхъ сочиненія Пушкина обратятся въ простую печатную бумагу, Пушкинъ все-таки не умретъ. Отдаленный потомокъ можетъ услышать его голосъ, и можетъ-быть разслушаетъ что-нибудь даже яснѣе, нежели мы.

Будучи существами ограниченными, измѣнчивыми, случайными, мы должны беречь исторію преимущественно какъ память о томъ, что̀ было выше насъ, и что̀ въ насъ самихъ иногда отражается лишь малою своею частью.

Отъ этихъ общихъ соображеній перейдемъ въ частности къ русской литературѣ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Самобытность въ ходѣ нашей литературы.

Точка зрѣнія *самобытности*.—Ломоносовъ и его ода.—Ложно-классическая эпоха.—Мнѣніе Шербюлье.— Наша слава и нашъ восторгъ.—Нашъ литературный языкъ.—Равенство съ Европою.—Карамзинъ и Жуковскій.—Вѣра въ свою литературу. — Пушкинъ и его борьба съ чужимъ.—Побѣда.

Исторію русской литературы можно разсматривать какъ исторію постепеннаго освобожденія русскаго ума и чувства отъ западныхъ вліяній, постепеннаго развитія нашей *самобытности* въ словесномъ художествѣ. Благодаря небесамъ, мы теперь стоимъ крѣпко на своихъ ногахъ, и потому можемъ уже понимать эту исторію, имѣемъ твердыя основанія для сужденія объ ея явленіяхъ—съ этой точки зрѣнія.

Отъ Ломоносова начинается у насъ рядъ такихъ европейскихъ вліяній, которыя уже не порождаютъ одной подражательности, а дѣйствительно вызываютъ къ самодѣятельности нашъ народный духъ. Для прогрессивныхъ историковъ, каковъ и г. Полевой, Ломоносовъ сливается съ предшествующими и современными ему писателями; но для насъ онъ выдѣляется рѣзко; въ немъ совершилось чудо—созданы произведенія, равныя своимъ образ-

цамъ, и явился языкъ, вполнѣ пригодный для такихъ произведеній.

Ломоносовская ода есть явленіе удивительное. Искренность и живость многихъ стиховъ поразительны; великолѣпное теченіе рѣчи, которое вполнѣ усвоилъ себѣ только Пушкинъ, не уступитъ никакимъ одамъ въ мірѣ.

Вообще на такъ называемую ложно-классическую эпоху нашей литературы вовсе не слѣдуетъ смотрѣть такъ презрительно, какъ на нее обыкновенно смотрятъ. Въ ней видятъ одну подражательную напыщенность, одну ложь, возникшую въ подобіе тому, что̀ само было ложью, то-есть французскому псевдо-классицизму. Но подобная оцѣнка была умѣстна развѣ только въ минуту борьбы, во время стремленія къ новымъ, болѣе естественнымъ формамъ. Теперь, слава Богу, мы давно уже свободны отъ псевдо-классицизма, и пора бы намъ перестать воевать съ нимъ.

Самъ французскій псевдо-классицизмъ до сихъ поръ не оцѣненъ безпристрастно, и мы все повторяемъ тѣ сужденія, которыя нѣкогда высказалъ Лессингъ въ раздраженіи борьбы. Одинъ умный французъ, Викторъ Шербюлье, справедливо замѣчаетъ, что Лессингу были непонятны герои французскихъ трагедій, такъ какъ тогдашняя нѣмецкая жизнь не представляла ничего подобнаго. Шербюлье говоритъ, что, живи онъ во время Лессинга, онъ обратился бы къ нѣмцамъ съ такою рѣчью: „Послушайте, друзья мои! Какая муха васъ укусила и что̀ случилось между вами и Мельпоменою? Позвольте вамъ сказать на ушко: вы просто школьники. *Развѣ вы видѣли близко великихъ людей и великія дѣла?* Были ли вы допущены Ришелье въ его кругъ? Гуляли ли вы въ свитѣ великаго Конде въ тѣни аллей Шантильи и раз-

сказывалъ-ли онъ вамъ о битвѣ при Рокруа? Бывали-ли вы въ Версали? Являлась-ли вамъ во снѣ тѣнь Монтеспанъ? Повѣрьте мнѣ, *оставьте героевъ въ покоѣ*... Поищите другихъ средствъ нравиться вашимъ добрымъ лейпцигскимъ и гамбургскимъ мѣщанамъ". Тутъ выражена вѣрная мысль, что псевдо-классическое искусство имѣло тѣсную связь съ тою жизнью, среди которой оно процвѣтало, что формы, въ которыхъ героизмъ являлся на театральной сценѣ, были отраженіемъ явленій дѣйствительности. Лессингъ протестовалъ во имя своей нѣмецкой дѣйствительности, и вмѣсто трагедіи царей и героевъ создалъ мѣщанскую драму.

То же замѣчаніе нужно примѣнить и къ нашему подражательному псевдо-классицизму. Нѣтъ сомнѣнія, что въ самой жизни было нѣчто поддерживавшее высокопарность нашихъ одъ и ходульность нашихъ трагедій. Россія въ тотъ періодъ очевидно питала великія надежды и по временамъ испытывала упоеніе славы. Сближаясь съ Европою, мы сразу показали себя равными ей въ одномъ отношеніи—въ государственномъ могуществѣ, и это не могло не возбудить нашей гордости. Ясно было, что намъ открывается безмѣрное поприще, всемірно-историческое значеніе; европейская цивилизація тогда еще не пугала и не подавляла насъ, какъ теперь, а напротивъ возбуждала въ насъ только юношескую бодрость и надежду. Эпоха Петра была блистательнымъ заявленіемъ нашего могущества, вѣкъ Екатерины былъ вѣкомъ твердой, громкой славы. Было бы странно, еслибы литература не отразила въ себѣ того героическаго восторга, который составлялъ самую свѣтлую сторону тогдашней жизни Россіи. Было бы странно, еслибы при такомъ ненатуральномъ, приподнятомъ по-

ложеніи народа, литература была натуральною, еслибы она отражала въ себѣ тогдашнюю будничную дѣйствительность, а не тѣ порывы и помыслы, которые носились поверхъ этой дѣйствительности.

Этотъ молодой восторгъ прошелъ, какъ мы знаемъ; болѣе близкое знакомство съ Европою, болѣе точный анализъ нашего положенія подорвали наши надежды и показали намъ ту сложность и трудность задачи, которой мы сперва и не подозрѣвали; но *періодъ восторга* (отъ Ломоносова до Карамзина), періодъ оды и трагедіи принесъ и свой положительный плодъ, оставилъ намъ долговѣчное наслѣдство. Самая восторженность не умерла въ насъ, и еще не вовсе потухли въ насъ искры того пламени, которое вспыхивало въ Ломоносовѣ и Державинѣ; но осталось и болѣе явное и, такъ сказать, осязательное наслѣдство—нашъ литературный языкъ.

Когда явился Пушкинъ, языкъ для него былъ уже готовъ. Языкъ вообще есть дѣло очень таинственное. Ломоносовъ, напримѣръ, едва ли ясно видѣлъ размѣры подвига, который онъ совершилъ въ этомъ отношеніи. Отлично чувствуя красоты и силы языка, онъ заранѣе вѣрилъ, что найдетъ въ немъ всѣ средства для выраженія своихъ мыслей; создавать, казалось, ничего не нужно было; а между тѣмъ вышелъ новый языкъ, которымъ еще никто до него не писалъ.

Задача вообще предстояла огромная. Еслибы тогда водились у насъ скептики и нигилисты, смиренно преклоняющіеся передъ Европою и невѣрящіе въ русскія духовныя силы, то они повидимому совершенно основательно могли бы говорить, что пытаться писать русскія поэмы и трагедіи, подобныя европейскимъ, есть совершенная нелѣпость, несбыточная затѣя, такъ какъ у насъ

нѣтъ языка, нѣтъ оборотовъ и выраженій для высокихъ и тонкихъ мыслей. Даже въ тридцатыхъ годахъ нашего столѣтія одинъ изъ нашихъ министровъ народнаго просвѣщенія сказалъ же русскому ученому, просившему пособія на изданіе перевода Платона, что онъ не думаетъ, чтобы можно было русскимъ языкомъ удачно передать рѣчь греческаго мудреца, что французскій языкъ, какъ у Кузена,—совсѣмъ другое дѣло.

Итакъ, какъ же совершилось чудо? Какимъ образомъ русскихъ людей не остановили сомнѣнія, столь очевидныя и основательныя? Вѣра ихъ была такъ крѣпка, что не задумывалась и не колебалась. И вотъ они пустились на истинно варварскомъ языкѣ выражать самыя возвышенныя чувства, изысканный героизмъ, напряженныя и величественныя страсти. Все, что образованный міръ наслѣдовалъ отъ древнихъ и внесъ отъ себя, что признавалось въ тѣ дни поэтическимъ и высокимъ, было пересказано порусски. Для того, чтобы представить себѣ ту живость и естественность, до которой доходило это перениманіе, нужно вспомнить театръ той эпохи, тотъ театръ, который еще во всемъ блескѣ засталъ Пушкинъ—

Гдѣ Озеровъ невольны дани
Народныхъ слезъ, рукоплесканій
Съ младой Семеновой дѣлилъ,
Гдѣ нашъ Катенинъ воскресилъ
Корнеля геній величавый.

Говоря о Сумароковѣ, г. Полевой подробно излагаетъ недостатки того рода драматическихъ произведеній, который тогда господствовалъ (стр. 307—309); но онъ ни слова не говоритъ о томъ, въ чемъ могла состоять привлекательность этихъ произведеній, что выходило изъ нихъ для зрителей. Въ то время явились первые рус-

скіе актеры, то есть явились люди, которые своимъ голосомъ, лицомъ и всею фигурой взялись изображать эти неестественныя лица, эти ходульныя чувства, и дѣлали это превосходно, *въ высшей степени естественно*. Русскіе оказались чрезвычайно способными къ актерству. Кто хочетъ имѣть понятіе о томъ, что изъ этого выходило, пусть прочтетъ *Воспоминанія* С. Т. Аксакова. Изящнѣйшіе рыцари, величественнѣйшіе герои, несравненные полубоги являлись предъ зрителями, какъ живыя лица, и поражали ихъ восторгомъ и умиленіемъ. Идеализація воплощалась въ словѣ, въ дикціи, въ жестѣ и выраженіи лица.

Несомнѣнно, что такимъ образомъ были пріобрѣтены великія богатства. Языкъ и стихъ поднялись въ своей выразительности до самой крайней высоты. Трудамъ и талантамъ этого періода мы отчасти обязаны тѣмъ, что свободно можемъ выражать на своемъ языкѣ всякую поэзію, всякую мысль.

За Ломоносовскимъ періодомъ слѣдовалъ Карамзинскій, въ которомъ безсознательная вѣра была не менѣе сильна и принесла не менѣе обильные плоды. Карамзинъ, Жуковскій, Батюшковъ и пр. интересны въ томъ отношеніи, что ни мало не сомнѣваются въ нашемъ равенствѣ съ Европою, простодушно становятся наравнѣ съ нею. И происходятъ чудеса, не уступающія прежнимъ. Вдругъ является *русская исторія*, является во всеоружіи, въ столь крѣпкихъ очеркахъ, что для нея потомъ безвредно проходятъ всѣ бури сомнѣній и невѣрій, продолжающіяся до сего дня. Вдругъ область поэзіи расширяется неизмѣримо, спускаясь до ежедневныхъ чувствъ, до будничныхъ мелочей.

Г. Полевой смотритъ на Жуковскаго исключительно

какъ на подражателя (стр. 490). Такой взглядъ намъ кажется одностороннимъ, такъ какъ захватываетъ только внѣшность вещей. Жуковскій нѣчто *создалъ* въ русской литературѣ, именно создалъ ту манеру мыслить, чувствовать и выражаться, которой до него не знали, и въ которой нашли себѣ выходъ извѣстныя поэтическія стремленія русской души. Мечтательность, сантиментальность не были у Жуковскаго и Карамзина чѣмъ-нибудь напускнымъ и заимствованнымъ; это были ихъ естественныя, прирожденныя свойства, и никто насъ не увѣритъ (хоть и пытались), что Карамзинъ былъ въ сущности человѣкъ жестокосердый, а Жуковскій—хитрый придворный пролаза. Европейскія вліянія только пробудили тѣ струны и силы, которыя уже хранились въ русскихъ душахъ.

Да писатели этого періода вовсе и не думаютъ подражать; они, какъ мы уже сказали, думаютъ просто стать *наравнѣ* съ европейскими геніями, которые тогда славились. Вотъ откуда ихъ смѣлость, ихъ расположеніе бороться съ своими образцами, ихъ постоянныя попытки оригинальныхъ созданій. Рабства и копированія въ нихъ нѣтъ и слѣда. Тогда мы вѣрили въ свою литературу такъ, какъ никогда не вѣрили ни прежде ни потомъ. Мы имѣли лирику, драму, басню, исторію, имѣли произведенія во всѣхъ родахъ, и среди восторговъ отъ этихъ произведеній ни одна мысль о бѣдности нашей литературы и объ ея подражательномъ характерѣ не приходила въ голову ни читателямъ, ни писателямъ.

Таковы нѣкоторыя черты той исторіи, которая послужила подножіемъ для дѣйствительнаго основателя самобытной русской литературы, для Пушкина. Пушкинъ—вотъ роскошный плодъ этихъ усилій, этого обилія вѣры

въ себя, этихъ подражаній, чуждыхъ рабства. Въ Пушкинѣ завершился нашъ языкъ, завершилось распространеніе кругозора нашей поэзіи, и идеалъ русской души, истинная мѣра ея чувствъ и движеній выразились въ такой полнотѣ, что вся дальнѣйшая литература можетъ быть разсматриваема, какъ развитіе зачатковъ, положенныхъ Пушкинымъ.

А между тѣмъ Пушкинъ повидимому есть тоже подражатель. Его языкъ, пріемы, формы—все принадлежитъ современной ему литературѣ. Вотъ самый поразительный примѣръ, какъ внѣшность въ этомъ случаѣ обманчива, какъ строго нужно обращать вниманіе на духъ писателя, на его такъ сказать *внутреннюю форму*, чтобы понять его настоящій смыслъ. Какъ французскій псевдо-классицизмъ въ сущности былъ выраженіемъ чисто-французскихъ идеаловъ, воплощалъ духъ и понятія великой націи, такъ и въ Пушкинѣ подъ чужими формами развилось совершенно самобытное содержаніе.

Геній Пушкина не тяготился формою. Съ чисто-русскою гибкостію онъ схватываетъ и усвоиваетъ себѣ все, всякую форму и всякій языкъ. Процессъ, который при этомъ совершался въ поэтѣ, который происходилъ въ немъ съ чрезвычайной быстротой, силою и отчетливостію, есть дѣло въ высшей степени важное и любопытное. Чужое усвоивалось во всей его полнотѣ и многосторонности; потомъ наступала борьба съ чужимъ и его разложеніе; наконецъ или, лучше, одновременно съ этимъ возникало свое, били ключи изъ невѣдомой глубины народнаго духа.

Схватки съ чужимъ носятъ иногда на себѣ характеръ умышленной, нарочно-затѣваемой борьбы, которая для такого силача не только не казалась страшною, а

переходила почти въ забаву. Обозрѣвая весь свой умственный міръ, онъ, какъ будто шутя, пробуетъ писать въ духѣ то Аріоста, то Альфіери, то Державина, то Данта, то народныхъ сказокъ и пѣсенъ,—и т. д. и т. д. Выходятъ или произведенія, которыхъ не отличишь отъ образцовъ, или—замѣчательное дѣло—*пародіи*. Такъ въ Борисѣ Годуновѣ есть сцены шекспировскія, въ самомъ строгомъ смыслѣ этого слова; такъ стихотвореніе „Въ младенчествѣ моемъ она меня любила" писалъ точно самъ Батюшковъ, а „Если жизнь тебя обманетъ"—точно самъ Жуковскій. Но, схватывая чужую манеру, чужой тонъ и духъ, Пушкинъ иногда невольно чувствовалъ себя выше писателя, съ которымъ вздумалъ состязаться; и тогда выходила пародія невообразимой мѣткости и глубины. Такъ пародическая струйка есть въ удивительныхъ „Подражаніяхъ Корану", въ которыхъ къ яркой поэзіи примѣшана и нѣкоторая доля восточной безсмыслицы; такъ „Подражанія Данту" распадаются на двѣ части, — на дѣйствительное подражаніе и на чистую пародію.

Вотъ небольшіе образчики того, что̀ значили для Пушкина вліянія, среди которыхъ онъ развивался. Это были только поводы къ побѣдамъ, только вызовы къ вполнѣ самостоятельному творчеству. Такъ поборолъ онъ французскій псевдо-классицизмъ, нѣмецкій романтизмъ, англійскій байронизмъ, и вышелъ самимъ собою, несравненнымъ русскимъ поэтомъ. Если *Исторія* Карамзина все еще носитъ на себѣ слѣды чужаго духа, несоотвѣтствующаго предмету тона и языка, то, напримѣръ, *Капитанская Дочка*, хотя и написана въ формѣ романовъ Вальтеръ-Скотта, есть однакожь произведеніе чисто русское не только по духу, но и по всему тону и складу

разсказа. Пушкинъ нашелъ и воплотилъ въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ—*правильное отношеніе къ русской дѣйствительности*, нашелъ пріемы, посредствомъ которыхъ можно возводить въ поэзію эту дѣйствительность, не прикрашивая ея, не измѣняя и не переодѣвая. Отсюда становится понятнымъ, почему всѣ послѣдовавшіе писатели могутъ быть въ извѣстномъ смыслѣ сведены на Пушкина; именно: въ Пушкинѣ всегда можно найти ту струну, ту сферу чувства и пониманія, которая составляла въ послѣдствіи особенность какого-нибудь писателя, была имъ спеціально разработываема. Такъ зачатки Гоголя можно найти въ „Гробовщикѣ"; Островскій конечно ведетъ свое происхожденіе отъ „Бориса Годунова"; тонъ Некрасова уже взятъ въ замѣчательномъ стихотвореніи „Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый", приведенномъ у г. Полеваго (стр. 557); Достоевскій начинается отъ „Станціоннаго Смотрителя"; С. Т. Аксаковъ и Л. Н. Толстой отъ „Капитанской Дочки." Мы указали при этомъ на самыхъ оригинальныхъ нашихъ писателей, вносившихъ въ литературу повидимому совершенно новый элементъ, „новое слово".

Этими замѣчаніями мы желали бы дать почувствовать читателю, что въ Пушкинѣ очевидно совершалось поэтическое душевное движеніе огромныхъ размѣровъ и глубочайшаго значенія. Объ этомъ движеніи, которое первый понялъ Ап. Григорьевъ, у насъ обыкновенно не имѣютъ никакого понятія; объ немъ ни слова не говоритъ и г. Полевой, упоминающій о такихъ произведеніяхъ, какъ „Пиковая Дама", „Капитанская Дочка",— не только равнодушно, а даже съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ.

Вообще, величайшій нашъ писатель понесъ отъ насъ, какъ тому и слѣдовало быть, величайшія обиды; ни для кого не былъ такъ несправедливъ пресловутый *судъ потомства*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Связь литературы съ вѣкомъ и народомъ.

Литература не особый организмъ. — Общіе корни явленій. — Связь между вѣкомъ и писателемъ. — Недостатокъ у насъ исторіи.— Ясныя черты связи.—1812 годъ.—Батюшковъ въ Парижѣ.—Вѣра въ себя.— Пушкинъ. —„Клеветникамъ Россіи". —Гоголь и Императоръ Николай.

Нѣмцы, вслѣдствіе сильнаго расположенія къ отвлеченности, постояннаго обращенія мысли среди голыхъ понятій, вообразили наконецъ, что эти понятія имѣютъ какое-то самостоятельное существованіе, что они живутъ особою жизнью, какъ независимые организмы. Послушать ихъ—то наука, искусство, поэзія, философія и пр. имѣютъ внутреннее, самобытное развитіе, такую исторію, въ которой каждое явленіе извѣстной области главнѣйшимъ образомъ происходитъ изъ предъидущихъ явленій той же области. Такъ, каждая философская система производится историками изъ предшествующихъ системъ, одинъ періодъ литературы выводится изъ другаго и т. д.

Между тѣмъ, самостоятельныхъ организмовъ такого рода вовсе нѣтъ, хотя и существуетъ нѣкоторая связь и преемственность между явленіями каждой области. Каждое явленіе имѣетъ одинаковый, *общій* корень съ другими, ему однородными, и развивается *по общимъ*

ихъ *законамъ*, а не коренится одно явленіе въ другомъ и не составляетъ одно явленіе новаго фазиса, зависящаго отъ фазиса предъидущаго. Въ какую-бы эпоху ни явился философъ или поэтъ, это будетъ въ сущности все то же явленіе, и въ новыхъ формахъ повторятся все тѣ же черты, тѣ же существенные законы. Каждое новое явленіе только уясняетъ намъ общую сущность, лежащую въ ихъ основаніи, а не приноситъ намъ чего-либо абсолютно-новаго. Такимъ образомъ, если мы пишемъ, напримѣръ, исторію философіи, то нашей цѣлью не можетъ быть изложеніе какихъ-нибудь послѣднихъ результатовъ и разсказъ о той работѣ, о тѣхъ послѣдовательныхъ шагахъ, которыми эти результаты достигнуты. Такая цѣль была бы недостаточно важна и занимательна. Историкъ, по нашему мнѣнію, долженъ имѣть въ виду *идею философіи*, во всѣ вѣка ту же самую, воплощавшуюся въ болѣе или менѣе ясныхъ и совершенныхъ формахъ, но всегда по одинаковымъ законамъ. При такомъ взглядѣ, каждое историческое явленіе, то есть извѣстный философъ, опредѣленная философская система, составляетъ лишь частный примѣръ общаго явленія—философскаго мышленія, которое въ зачаткахъ есть всегда и вездѣ, но лишь изрѣдка развивается въ крупныхъ размѣрахъ. Въ Платонѣ, въ Спинозѣ, способность къ философіи, нужно полагать, воплотилась полнѣе и явственнѣе, чѣмъ въ Миллѣ или Бюхнерѣ.

Отсюда же получается возможность тѣснѣе связывать явленія особой области человѣческихъ проявленій съ остальными фактами жизни человѣчества. Въ людяхъ хранится постоянная возможность, постоянное расположеніе къ поэзіи, философіи, литературѣ. Эта возможность переходитъ въ дѣло только при благопріятныхъ

обстоятельствахъ, при особомъ возбужденіи и при существованіи особо одаренныхъ людей. Не вся поэзія, существовавшая и существующая въ душахъ людей, записана стихами; можетъ быть лучшая и чистѣйшая осталась невысказанною и намъ неизвѣстна. И каждый разъ, когда является поэтъ, ему не нужно искать источника поэзіи у своихъ предшественниковъ; главный источникъ въ немъ самомъ. Вслѣдствіе такой независимости, онъ прямо черпаетъ изъ жизни, онъ не столько связанъ съ предъидущею литературою, сколько съ современными ему историческими событіями. Поэтому, каждаго поэта нужно объяснять, главнымъ образомъ, изъ свойствъ его народа и изъ современныхъ ему событій этого народа, а не изъ развитія идей, выраженныхъ предшественниками, и не изъ вліянія какихъ нибудь иностранныхъ образцовъ. По крайней мѣрѣ, истинная поэтическая сила такъ дѣйствуетъ, самобытно, по однимъ лишь своимъ вѣчнымъ закономъ. Да и во второстепенныхъ писателяхъ—эту сторону дѣятельности нужно считать главною.

Жуковскій, воспѣвая событія 1812 года, нигдѣ не говоритъ о пушкахъ и выстрѣлахъ; у него вездѣ только *мечи* и *стрѣлы*. Вотъ черта той подражательности и преемственности, которую любятъ замѣчать историки. Но Пушкинъ уже рисуетъ все красками, ни у кого не заимствованными, а взятыми изъ жизни. Такъ, говоря о Кавказѣ, онъ воспоминаетъ времена,

Когда на Терекѣ сѣдомъ
Впервые грянулъ *битвы громъ*
И грохотъ русскихъ барабановъ.

Если вспомнимъ, что дѣло идетъ объ ущельѣ, въ которомъ этотъ зловѣщій грохотъ долженъ былъ раздаваться особенно ярко, то мы поймемъ, какъ жива здѣсь

черта, схваченная поэтомъ. И онъ схватилъ ее уже въ *Кавказскомъ плѣнникѣ*, когда стихи Жуковскаго еще не отзвучали, когда вся Россія еще твердила о *сѣчахъ и звукѣ мечей, о щитахъ и стрѣлахъ.*

Связь между развитіемъ писателя и его вѣкомъ есть дѣло первой важности, такъ какъ истинная поэзія не есть отвлеченная вещь, а сливается съ глубочайшими движеніями жизни народа. Если же такъ, то легко понять, почему столь несовершенна исторія нашей новой литературы: у насъ почти вовсе нѣтъ исторіи государства и народа за послѣдній періодъ, начинающійся съ Петра. Совершенно ясно, что этотъ періодъ еще не конченъ, что мы сами еще охвачены его интересами и столкновеніями; преобразованія минувшаго царствованія, хотя въ нихъ и послышалась намъ *наша старина*, все-таки составляютъ продолженіе эпохи, начатой Петромъ. Понятно поэтому, что мы не можемъ смотрѣть на явленія этого періода объективно и безпристрастно, что мы не имѣемъ объ нихъ установившихся понятій. Сверхъ того, и самая сущность дѣла, какъ намъ кажется, трудна необыкновенно; жизненное движеніе, происходившее въ этомъ періодѣ, такъ сложно, противорѣчиво, неясно, что нужны очень гибкія и необыкновенныя категоріи, чтобы уложить его въ опредѣленныя формы мысли. И вотъ какъ случилось, что до сихъ поръ мы собственно стоимъ въ недоумѣніи передъ новою русскою исторіею, и, проживши энергическою жизнью полтора столѣтія, наполнивши міръ славою и страхомъ, создавши свою литературу, театръ, музыку, чувствуя въ себѣ крѣпость силъ непоколебимую, мы все еще съ изумленіемъ оглядываемъ сами себя и готовы въ минуту сомнѣнія счесть всю эту исторію почти за безсмыслицу.

А если такъ, то мудрено намъ и понимать связь между нашими писателями и тѣмъ временемъ, которое ихъ воспитало. Нѣкоторыя черты впрочемъ такъ ясны, что ихъ смѣло можно указать. Напримѣръ, Ломоносовъ есть, очевидно, воспитанникъ Петровской эпохи; Карамзинъ — плодъ Екатерининскаго времени; Пушкинъ и плеяда поэтовъ, его окружавшихъ, порождены 1812 годомъ; Левъ Толстой есть порожденіе того, что самъ онъ называетъ „Севастопольской эпопеей". Такимъ образомъ ясно, что время особенныхъ напряженій народныхъ, время, когда духъ народа подымался и чувствовалъ свою мощь, оставляло слѣды въ избранныхъ душахъ, оплодотворяло дарованія. Можно сдѣлать и обратное заключеніе: если мы находимъ, что извѣстная эпоха отразилась въ крупныхъ явленіяхъ литературы, то это доказываетъ, что она дѣйствительно отличалась усиленною жизнію народнаго духа. Стихи Державина лучше всякихъ изысканій показываютъ, что Россія того времени упивалась восторгомъ отъ своей славы, а строй мыслей и чувствъ Карамзина непререкаемо свидѣтельствуетъ о лучшихъ сторонахъ того духа, которымъ было проникнуто царствованіе Екатерины. При слабости нашего историческаго пониманія близкихъ къ намъ эпохъ, указанія литературы составляютъ даже почти единственную путеводную нить при возсозданіи той жизни, которая одушевляла эти эпохи.

Возьмемъ какую нибудь частность, напримѣръ 1812 годъ. Г. Полевой не видитъ ничего хорошаго въ томъ дѣйствіи, которое произвела эта вѣчнопамятная война съ Европою на нашу литературу. Онъ, во первыхъ, считаетъ за нѣкоторую помѣху развитію нашей литературы то, что тогдашніе писатели такъ легко увлекались воинскимъ духомъ. Изъ нашихъ знаменитостей, какъ

извѣстно, Жуковскій былъ въ ополченіи; Батюшковъ дѣлалъ весь походъ по Европѣ; о Грибоѣдовѣ нашъ историкъ разсказываетъ такъ: „1812 годъ и ему, какъ *большей части тогдашняго русскаго юношества, становится поперегъ дороги*: 17-лѣтній Грибоѣдовъ бросаетъ все, поступаетъ корнетомъ въ Салтыковскій гусарскій полкъ, и въ 1813 году является уже въ Брестъ-Литовскѣ, въ одномъ изъ нашихъ гусарскихъ полковъ... Объ этомъ пребываніи своемъ въ гусарахъ Грибоѣдовъ не могъ вспомнить безъ особеннаго негодованія, и утверждалъ, что „пробывъ всего четыре мѣсяца въ этой дружинѣ, цѣлыхъ четыре года не могъ потомъ попасть на путь истинный". (стр. 568).

Такимъ образомъ, г. Полевой, какъ видимъ, готовъ предположить, что, если бы русскіе юноши того времени не поддавались общему теченію и не поступали въ гусарскіе и другіе ужасные полки, а занимались бы науками и опытами въ словесности, то наша литература и все развитіе оказали бы несравненно большіе успѣхи.

Но еще хуже, по мнѣнію г. Полеваго, тѣ послѣдствія, которыя порождены были нашими побѣдами, безмѣрнымъ патріотическимъ воодушевленіемъ. Интересный образчикъ того, какъ извращены были взгляды этимъ настроеніемъ, г. Полевой приводитъ въ біографіи Батюшкова:

„Дошедшія до насъ письма его, писанныя изъ Парижа, указываютъ на то, что и Батюшковъ, наравнѣ со множествомъ современниковъ своихъ, *рѣшительно потерялъ голову въ чаду* упоенія той славой, которая такъ изобильно увѣнчала лаврами наше оружіе, и тою рыцарскою, безкорыстною борьбою за свободу Европы, которую мы такъ твердо вынесли. Видно, что Батюш-

ковъ и въ это время все еще продолжалъ жить однимъ только настоящимъ, не задумываясь о завтрашнемъ днѣ, да къ тому же и *очень легко приходилъ въ восторгъ.*

...„Я часто съ удовольствіемъ смотрю“, пишетъ онъ изъ Парижа Данилову — „какъ наши казаки безпечно проѣзжаютъ черезъ Аустерлицкій мостъ, любуясь его удивительнымъ построеніемъ; съ удовольствіемъ неизъяснимымъ вижу русскихъ гренадеръ передъ Траяновой колонной или у рѣшетки Тюльери, передъ Arc de Triomphe, гдѣ изображены и Ульма, и Аустерлицъ, и Фридландъ, и Іена... Французы дорого заплатили за свою славу, любезный другъ“.

„Такимъ-же *увлеченіемъ и заносчивымъ, поверхностнымъ взглядомъ на Францію, на французскую литературу и просвѣщеніе* отзывается вообще все то, что̀ Батюшковъ пишетъ изъ Парижа о пребываніи въ немъ, причемъ называетъ себя „маленькимъ Тибулломъ, или проще, капитаномъ русской императорской службы, что̀ въ нынѣшнее время *важнѣе, нежели бывшій кавалеръ* или *всадникъ римскій* (ибо, по словамъ Соломона, „живой воробей лучше мертваго льва“)...“

„Особенно *странно* и *непріятно* поражаютъ насъ сужденія „маленькаго Тибулла“ о современномъ состояніи французской литературы:

„Нынѣшній годъ была предложена къ увѣнчанію (въ академіи) „Смерть Баярда“; но, по слабости поэзіи, не получила обыкновенной награды. Теперь отгадайте, какой предметъ назначенъ для будущаго года?—„Польза прививанія коровьей оспы“!! Это хоть бы нашей Академіи выдумать! *По этому, любезный другъ, можете судить о состояніи французской словесности.* Ея не любилъ Наполеонъ... что не мало послужило къ упадку

академіи французской. *Правленіе должно лелѣять и баловать музъ; иначе они будутъ безплодны* *). Слѣдуя обыкновенному теченію вещей, я думаю, что вѣкъ славы для французской словесности прошелъ и врядъ-ли можетъ когда воротиться. Впрочемъ мирное отечественное правленіе будетъ во сто разъ благосклоннѣе для музъ судорожнаго тиранскаго правленія корсиканца...“ (стр. 509).

Мы понимаемъ, почему эти слова Батюшкова кажутся г. Полевому одни—просто странными и непріятными, а другія — особенно странными и непріятными. Батюшковъ восхищается и гордится тѣмъ, чѣмъ, по мнѣнію г. Полеваго, нельзя гордиться, и отзывается очень смѣло и поверхностно о томъ, передъ чѣмъ слѣдуетъ благоговѣть. Онъ осмѣливается смотрѣть свысока на французскую словесность — какова дерзость! Онъ осмѣливается мечтать, что правленіе, которое мы тогда установили во Франціи, будетъ благопріятнѣе музамъ, чѣмъ Наполеонъ—каково ослѣпленіе!

Что касается до насъ, то этотъ тонъ самоувѣренности и радости представляетъ для насъ явленіе истинно-пріятное. Такое настроеніе должно было сильно содѣйствовать развитію нашей литературы. Именно какъ? Писатель въ тѣ времена считалъ для себя возможнымъ ту же славу, тотъ же геній, какіе онъ находилъ у другихъ народовъ. Мы признали *своею* всю поэзію, какую только знали; отсюда такое множество переводовъ и подражаній, неуступающихъ подлинникамъ и имѣющихъ все значеніе оригинальныхъ произведеній. Отсюда нѣсколько ложный, но истинно чудесный колоритъ, который наброшенъ былъ на всѣ явленія русской жизни; все было

(* Это мѣсто и предъидущее подчеркнуты не нами, а г. Полевымъ.

опоэтизировано и хотя облечено было въ формы отчасти чужія, но въ нихъ сказалось и много своего. Батюшковъ не даромъ называетъ себя Тибулломъ и мечтаетъ, глядя на нашихъ солдатъ въ Парижѣ, что онъ ничѣмъ не хуже какого нибудь римскаго всадника.

Безъ вѣры въ себя невозможно никакое развитіе и, только вѣруя въ свой народъ, Карамзинъ могъ создать свою *Исторію* — въ подражаніе Юму, а Пушкинъ *Капитанскую Дочку* — въ подражаніе Вальтеръ-Скотту. Вѣрою же мы надолго запаслись въ 1812 году, и ни въ комъ она не проявилась такъ сильно, живо, безгранично смѣло, какъ въ Пушкинѣ. Всѣ мѣста, гдѣ Пушкинъ говоритъ о 1812 годѣ, свидѣтельствуютъ о неизгладимомъ и несравненномъ впечатлѣніи. Пушкинъ былъ въ это время отрокомъ и, слѣдовательно, въ той порѣ, когда впервые раскрывается душа и впечатлѣнія дѣйствуютъ всего могущественнѣе.

Вы помните? Текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шелъ мимо насъ.

Какъ искренно и какъ глубоко! Идти на войну не значитъ, какъ воображаетъ, кажется, большая часть нынѣшнихъ писателей, идти *убивать* другихъ; это значитъ, прежде всего, идти самому на смерть.

Соображая все это, мы были очень удивлены, встрѣтивъ у г. Полеваго о стихотвореніяхъ Пушкина: *Клеветникамъ Россіи* и *Бородинская годовщина*—такой отзывъ:

„Въ нихъ совершенно нѣтъ ни того теплаго чувства, ни той искренности, которыя одни только и способны придать значеніе всякому патріотическому стихотворенію“. (стр. 552).

Дальше этого, по нашему мнѣнію, непониманіе дѣла простираться не можетъ. Стихотворенія эти не только говорятъ сами за себя, но и согласуются строжайшимъ образомъ со всею исторіею развитія Пушкина, со всѣмъ, что онъ говорилъ и писалъ.

Замѣтимъ, что уже Пушкинъ хорошо зналъ сомнѣнія относительно нашей славы, что онъ уже слышалъ скептическіе голоса—и свои, и чужіе. Онъ спрашиваетъ:

Что взяли вы? Еще-ли Россъ
Больной, расслабленный колоссъ?
Еще ли сѣверная слава
Пустая притча, лживый сонъ?

Но эти сомнѣнія потомъ выросли и заполонили насъ до такой степени, что многіе у насъ перестали понимать самую возможность искренней и живой вѣры въ Россію. Между тѣмъ, если мы не понимаемъ вѣры въ Россію, то мы ровно ничего не поймемъ въ русской литературѣ—вотъ какая бѣда грозитъ новымъ, просвѣщеннымъ историкамъ этой литературы. Если мы думаемъ, что Россія—больной, разслабленный колоссъ и что ея слава—пустая притча, то на людей, восхищающихся этою славою, мы естественно будемъ смотрѣть или какъ на глупцовъ, не понимающихъ дѣла, или какъ на лгуновъ, писавшихъ громкія фразы ради лести и изъ видовъ. Тогда намъ покажется страненъ и непріятенъ Батюшковъ, любующійся казаками на Аустерлицкомъ мосту, и мы не найдемъ ни искренности, ни теплоты въ стихотвореніи *Клеветникамъ Россіи*. Тогда вся наша литература окажется и фальшивою, и непонятною; ибо не только всѣ большіе русскіе писатели, отъ Ломоносова до Льва Толстого, проникнуты вѣрою въ Россію, но эта вѣра была существеннымъ, главнымъ условіемъ ихъ дѣя-

тельности. Скептицизмъ есть чувство непроизводительное, и напрасно думаютъ наши историки, что наши сатирическіе писатели, которыхъ они особенно любятъ, фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и т. п., питались однимъ разочарованіемъ и невѣріемъ. Дать полную волю своей нисмѣшливости, казнить безъ пощады каждое темное явленіе возможно только при непоколебимой вѣрѣ, что эти явленія суть частности и случайности, не имѣющія существеннаго значенія для здоровья и силы цѣлой Россіи. Императоръ Николай разрѣшилъ постановку *Ревизора* и самъ смѣялся на представленіи. Скептикъ Чадаевъ удивляется этому факту, не понимая, что только онъ, маловѣрный, могъ видѣть въ этой комедіи обличеніе несостоятельности всей русской жизни; Николаю же, при его обиліи вѣры, не могло прійти въ голову бояться того, что глупость и подлость, встрѣчающіяся у насъ, всенародно казнятся на сценѣ. И можемъ увѣрить нашихъ историковъ, что Гоголь имѣлъ въ этомъ случаѣ такія-же чувства, какъ Императоръ Николай.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Ломоносовъ и Карамзинъ.

Ломоносовъ и Петръ Великій.—Поэтическій и ученый подвигъ Ломоносова.—Его поэзія. — Отзывъ Пушкина.—Карамзинъ и Екатерина.—Космополитизмъ и народность. — Сантиментальность.—„Исторія Государства Россійскаго“.

Русская литература, въ своей исторіи, представляетъ стремленіе освободиться отъ чужеземныхъ вліяній, претворить ихъ въ себѣ, побѣдить ихъ и стать вполнѣ самостоятельною. Въ этой работѣ, составляющей ея существенное дѣло, литература находится въ тѣсной зависимости отъ общихъ судебъ русскаго народа, русскаго государства. Такимъ образомъ эпохи Петра, Екатерины, 1812-го года, Севастополя—отражаются въ усиленномъ развитіи литературы, наступающемъ черезъ извѣстный промежутокъ времени. Что эти возбужденія дѣйствуютъ именно въ такомъ смыслѣ, что они все больше и больше развиваютъ въ насъ чувство нашей духовной самобытности,—легко замѣтить даже при поверхностномъ вниманіи.

Ломоносовъ, котораго любимымъ героемъ былъ Петръ, а любимою мыслью—науки и просвѣщеніе,—создаетъ намъ языкъ и стихъ. Съ легкой руки Пушкина у насъ вошло въ моду мало цѣнить эту заслугу Ломоносова и восхвалять его больше какъ ученаго и дѣятеля просвѣ-

щенія. Но если мы взвѣсимъ относительную важность того и другаго подвига Ломоносова въ дѣлѣ нашего развитія, то увидимъ, что *поэтическій* подвигъ далеко превосходитъ своимъ значеніемъ подвигъ *ученый*. Мы можемъ смѣло это утверждать, не смотря на мнѣнія самого Ломоносова и не смотря на отзывъ Пушкина. Ломоносовъ смотрѣлъ съ нѣкоторымъ пренебреженіемъ на свои упражненія въ словесности,—но это не должно насъ обманывать; это только доказываетъ намъ въ тысячный разъ, что великія дѣла дѣлаются безсознательно и что часто бываетъ не дано человѣку самому понимать свои силы и смыслъ своей дѣятельности. Что касается до отзыва Пушкина, то въ немъ ясно выражается только чувство того неизмѣримаго превосходства, которое находилъ Пушкинъ въ своемъ языкѣ и своей поэзіи надъ языкомъ и поэзіею Ломоносова. Не забудемъ, что въ то время, какъ и во всякое, существовало великое множество старовѣровъ, которые презрительно смотрѣли на Пушкина и съ благоговѣніемъ вспоминали Ломоносова и Державина. Понятно, что человѣкъ, увѣренный въ красотѣ своихъ созданій, вздумалъ сравнить себя съ этими авторитетами не *исторически*, а такъ, какъ будто они были его современниками, и въ нѣсколькихъ словахъ записалъ ту огромную разницу, которую нашелъ между ними и собою. Разница записана вѣрно, но выводъ изъ нея сдѣланъ несправедливый. Ибо, изъ того, что поэзія Ломоносова оказалась малою и несовершенною сравнительно съ поэзіею Пушкина, не слѣдуетъ, что величіе Ломоносова не можетъ заключаться въ созданіи столь малой и несовершенной поэзіи и должно быть отыскиваемо въ чемъ-нибудь другомъ, напримѣръ въ его ученыхъ трудахъ или въ заботахъ о просвѣщеніи.

Да поэзію эту, въ сущности, вѣдь нельзя назвать и малою. Она не есть великое дѣло въ полномъ его развитіи, но она очевидно есть уже зачатокъ великаго дѣла, то есть такой зачатокъ, который уже носитъ на себѣ черты будущаго величія. Въ стихахъ и прозѣ Ломоносова послышался какой-то тонъ, раздались неожиданно какіе-то звуки, мощные, широкіе, съ такимъ размахомъ, съ такою мужественною мелодіею, что въ этомъ отношеніи ихъ не превзошла до сихъ поръ наша литература. Въ этихъ звукахъ еще не было опредѣленнаго, яснаго поэтическаго содержанія; они были наполнены избитыми риторическими образами, отвлеченными и изуродованными преувеличеніями и напыщенными мыслями. Но слѣдуетъ также сообразить и то: откуда-бы могъ почерпнуть Ломоносовъ содержаніе для своей поэзіи? Развѣ могъ хаосъ тогдашней русской жизни дать ему твердую точку опоры? Время было слишкомъ безпокойное; не было ничего установившагося ни въ бытѣ, ни въ понятіяхъ. Но оживленіе было великое, стремленія и надежды, оторвавшія самого Ломоносова отъ рыбачьихъ сѣтей, говорили громко. И вотъ раздались его стихи и его проза, въ которыхъ на первый разъ сказалось только неопредѣленное чувство восторга и силы и уловлена музыкальность русской рѣчи. Ломоносовъ, такъ сказать, задалъ тонъ нашей литературѣ. Вспомнимъ, что въ складѣ стиховъ Пушкина вполнѣ повторяется и только развивается дальше складъ Ломоносовскихъ стиховъ. Пушкинъ любилъ тѣ же размѣры, и безподобное теченіе его рѣчи живо напоминаетъ рѣчь Ломоносова. Въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ Пушкинъ однажды почувствовалъ, что его тонъ совершенно сбивается на тонъ Ломоносова, и ради шутки вставилъ цѣликомъ три Ломоносовскихъ стиха:

Заря багряною рукою
Уже отъ утреннихъ долинъ
Выводитъ съ солнцемъ за собою
Веселый праздникъ имянинъ.

Ученая дѣятельность Ломоносова, которою такъ дорожилъ онъ самъ, которую такъ восхваляетъ Пушкинъ и которую теперь часто ставятъ выше заслугъ Ломоносова въ словесности, по самой сущности дѣла, не могла имѣть большаго значенія. Естественно, что Ломоносовъ былъ ревностнымъ ученикомъ европейской науки; но эта ревность, даже и при гораздо бо́льшихъ успѣхахъ, не могла принести особенныхъ плодовъ ни для науки, ни для Россіи. На ученомъ поприщѣ Ломоносовъ становился въ ряды всего множества тогдашнихъ европейскихъ ученыхъ, брался за дѣло давно и усердно разработываемое; слѣдовательно, быть оригинальнымъ или даже первенствующимъ тутъ было трудно. И дѣйствительно, хотя онъ поравнялся съ лучшими тогдашними учеными, но не оставилъ намъ ни великаго открытія, ни такого направленія въ наукѣ, которое мы могли-бы считать заслугою русскаго ума. Для Россіи Ломоносовъ оставилъ конечно превосходный примѣръ, оставилъ доказательство, что русскіе способны къ наукамъ, что наша академія можетъ со временемъ состоять изъ русскихъ и не уступать другимъ европейскимъ академіямъ. Но, если-бы даже за Ломоносовымъ считались значительныя открытія, его имя для всякаго юноши, посвящающаго себя наукѣ, заслонялось-бы множествомъ именъ другихъ свѣтилъ, и не могло-бы быть путеводною звѣздою, какъ имена Галилея, Ньютона, Кювье и т. п.

Совершенно иное дѣло въ литературѣ. Тутъ нѣкогда Ломоносовъ былъ первымъ и единственнымъ; тутъ онъ совершилъ нѣчто въ высшей степени оригинальное и

оставилъ намъ звуки, которые живутъ до сихъ поръ; тутъ онъ безсмертенъ и послужилъ намъ не только хорошимъ примѣромъ, а и самымъ дѣломъ, результаты котораго будутъ продолжаться, пока будетъ существовать русскій языкъ. Сколько поколѣній воспитывалось на его стихахъ, сколько душъ было согрѣто радостію и вѣрою, которая въ нихъ дышетъ!

Не скажутъ-ли, что это дѣло потому у него вышло успѣшнѣе, что было легче? Не думаемъ, чтобы оно въ сущности было легче, то есть, требовало меньшихъ силъ; но оно было можетъ быть естественнѣе, находило себѣ больше естественныхъ средствъ и орудій въ душѣ Ломоносова. Можетъ быть, вслѣдствіе этой кажущейся легкости, онъ и смотрѣлъ на него нѣсколько свысока. Могъ-ли онъ поставлять себѣ въ особенную заслугу, что хорошо владѣетъ русскимъ языкомъ и чувствуетъ красоту и силу его словъ и словосочетаній? Это казалось ему дѣломъ простымъ. Могъ-ли онъ сознательно оцѣнить и признать за великое свое достоинство тотъ спокойный и свѣтлый восторгъ, которымъ звучатъ его стихи? Для насъ, издали, эта вѣра и сила являются великими; Ломоносовъ-же больше цѣнилъ то, что̀ составляло для него настоящій трудъ и для чего были готовыя мѣрки—свои успѣхи въ наукахъ.

Пушкинъ считалъ главнымъ недостаткомъ Ломоносова „отсутствіе всякой народности и оригинальности". Этотъ приговоръ относится очевидно только къ содержанію, къ опредѣленнымъ мыслямъ и образамъ, а никакъ не къ языку и тону. Истинная *народность* и *оригинальность* (мы нынче сказали-бы: самобытность) принесены намъ конечно только Пушкинымъ; до него они появлялись только въ зачаткахъ. Но языкъ и тонъ Ло-

моносова были уже вполнѣ народны и оригинальны, какъ это доказывается и тѣмъ, что они вошли, какъ основной элементъ, въ языкъ и тонъ Пушкина.

До народности и оригинальности содержанія было еще очень далеко; нужно было еще пережить цѣлый періодъ новой фальши, новой амальгамы русскихъ чувствъ и мыслей съ чужими формами и настроеніями, именно Карамзинскій періодъ. Карамзинъ былъ сынъ екатерининскаго времени, и существенныя свойства дѣятельности Карамзина объясняются вполнѣ только свойствами этого времени. Геніальная царица отозвалась широкою душою на всѣ лучшіе призывы, какіе послышала вокругъ себя: она была одною изъ представительницъ тогдашняго гуманнаго европейскаго просвѣщенія и вмѣстѣ искренно любила Россію, вѣрно понимала и берегла интересы своего народа. Та-же амальгама въ Карамзинѣ; онъ вполнѣ проникнутъ просвѣщеніемъ XVIII вѣка и вмѣстѣ безграничною любовью къ родинѣ, къ тѣмъ людямъ, которые, по свидѣтельству современныхъ нашихъ журналовъ, и были и остаются „первобытными, звѣрообразными варварами“ (Дѣло, 1872, № 1, стр. 7).

Эта способность великихъ душъ обнимать и примирять въ себѣ многое, повидимому различное и непримиримое, кажется непослѣдовательностію мелкимъ и узкимъ умамъ, и они готовы предпочесть этому обилію, этой широтѣ умственной и сердечной жизни одностороннюю дѣятельность человѣка, который слѣпъ и глухъ для всего, кромѣ одной мысли, одного чувства. Такъ, понемногу вошло въ моду у прогрессивныхъ людей прославлять Радищева и отважно ставить его выше Карамзина. Между тѣмъ очевидно, что Радищевъ не принадлежитъ къ числу властителей своего времени, а есть

его несчастная жертва, раздавленная тѣмъ противорѣчіемъ, въ которое онъ попалъ и относительно котораго онъ стоялъ, конечно, ниже, а никакъ не выше.

Время Екатерины было временемъ удивительнаго примиренія двухъ противоположныхъ началъ, подъ дѣйствіемъ которыхъ развивалась Россія,—наплыва Европейскаго просвѣщенія, и ревниваго охраненія своей самобытности, своей государственной силы, своихъ народныхъ интересовъ. Космополитизмъ въ принципахъ и народность въ практикѣ—уживались и не мѣшали другъ другу почти непонятнымъ образомъ. Это было время мира, который, очевидно, не могъ удержаться и грозилъ перейти въ жестокую борьбу; но въ ту минуту никто не замѣчалъ этой опасности. И этотъ миръ принесъ свои прекрасные плоды. Карамзинъ былъ вполнѣ сынъ XVIII вѣка, былъ проникнутъ всѣми лучшими сторонами тогдашняго просвѣщенія, его сантиментальностію, любовью къ людямъ, розовыми надеждами на возможное и близкое счастіе человѣчества. Онъ прочелъ лучшія тогдашнія книги и познакомился съ Европою въ своемъ путешествіи, такъ что былъ, безъ сомнѣнія, однимъ изъ лучшихъ тогдашнихъ европейцевъ. Но въ то-же время онъ былъ вполнѣ русскій, гордился своею царицею, глубоко восхищался славою и могуществомъ Россіи, юношески вѣрилъ въ то, что она счастлива и процвѣтаетъ, любилъ душевно свой народъ, отнюдь не видя въ немъ „первобытныхъ и звѣрообразныхъ варваровъ“.

Только при такомъ двойственномъ настроеніи возможно было сдѣлать то, что сдѣлалъ Карамзинъ. Во первыхъ, онъ сблизилъ литературу съ жизнью; во вторыхъ, онъ создалъ Русскую исторію.

Карамзинъ не создалъ великихъ поэтическихъ произведеній; въ отношеніи къ поэзіи онъ стоитъ далеко ниже Ломоносова и Державина. Тѣмъ не менѣе, онъ сдѣлалъ дѣло великое: онъ безмѣрно расширилъ область литературы и если не осуществилъ, то показалъ *возможность* въ ней такихъ формъ и предметовъ, о которыхъ прежде и не слыхано было. Повѣсть изъ современной московской жизни, повѣсть изъ временъ Новгорода или Алексѣя Михайловича, стихи, выражающіе мимолетное, легкое чувство, изображеніе ежедневныхъ предметовъ и мыслей, сочиненія столь безпритязательныя, что самъ авторъ называетъ ихъ *Бездѣлками*,— вотъ что явилось среди одъ, трагедій и похвальныхъ словъ, и въ первый разъ явилось облеченное въ несомнѣнную, неотразимую красоту. Такія явленія возможны были только при полной вѣрѣ въ себя и въ ту жизнь, которою былъ окруженъ писатель, при наивной увѣренности, что весь строй этой жизни имѣетъ право на поэтическое воспроизведеніе. Нужно было много благодушія, много душевной теплоты и чистоты, чтобы такъ заразительно обманываться и въ этомъ самообольщеніи выразить одну изъ существенныхъ чертъ русскаго духа. Невѣрно видѣлъ и изображалъ Карамзинъ внѣшнюю жизнь своего общества и народа; но очень живо и вѣрно сказалась въ немъ одна черта внутренней жизни этого общества и народа.

Сантиментальность—такъ называется то душевное настроеніе, которое проникаетъ собою сочиненія Карамзина. Хотя это настроеніе, благодаря его сочиненіямъ, увлекло все тогдашнее общество, хотя едва-ли какое другое настроеніе достигало у насъ такого распространенія и долгаго господства, однако обыкно-

венно на сантиментальность смотрятъ, какъ на повѣтріе, занесенное съ Запада, считаютъ ее чуждою и даже противоположною русскому характеру. Не думаемъ, чтобы это мнѣніе было вполнѣ справедливо. Та душевная мягкость, которою отличаются славяне и которая находится въ связи съ ихъ безволіемъ, съ ихъ распущенностію, съ легкою отзывчивостію на всевозможныя вліянія, съ гибкостію и неустойчивостью чувствъ и мыслей,—эта мягкость очевидно представляла удобную почву для развитія сантиментальности, и русское общество по природному расположенію такъ живо отозвалось на проповѣдь нѣжности и чувствительности. Признать это нисколько не мѣшаетъ то обстоятельство, что русскій характеръ представляетъ многія черты, прямо противоположныя всякой сантиментальности. Психическій строй отдѣльныхъ людей и цѣлыхъ народовъ кажется нерѣдко развивается по закону полярности, т. е. развитіе однихъ свойствъ вызываетъ и поддерживаетъ развитіе свойствъ прямо противоположныхъ. Французы одинаково знамениты и горячею религіозностью, и вольнодумствомъ; англичане прославились какъ своимъ эгоизмомъ, такъ и благотворительностью; нѣмцы—народъ, въ одно время, и самый идеальный, и самый филистерскій. Такъ и въ русскомъ характерѣ нѣжность и чувствительность (употребляемъ слова Карамзина) сочетаются съ суровостью и холодомъ, расположеніе къ энтузіазму съ вѣчною насмѣшливостю и недовѣріемъ. Во всякомъ случаѣ, если перебрать всѣ явленія русской литературы, мы кажется найдемъ не мало доказательствъ, что сантиментальность имѣла корни въ самой русской натурѣ. Характеръ самого Карамзина представляетъ одинъ изъ лучшихъ и поразительнѣйшихъ примѣровъ. Итакъ, онъ

имѣлъ нѣкоторое право облекать все въ тѣ звуки и краски, которые такъ ясно звучали и ярко свѣтились въ его собственной душѣ. Картина выходила ложная только на половину и увлекала всѣхъ, очевидно потому, что въ этомъ обманѣ не все было обманомъ.

Но всего поразительнѣе то простодушіе, та геніальная наивность, въ силу которыхъ Карамзинъ создалъ свое важнѣйшее произведеніе, „Исторію Государства Россійскаго". Для этого труда, для того, чтобы долгіе годы вести его съ пламеннымъ усердіемъ, нужны были совершенно особыя условія, которыя счастливо соединились въ душѣ Карамзина. Нужно было, во первыхъ, высокое развитіе, именно, нужна была большая художественная и нравственная чуткость, такъ, чтобы историкъ могъ понимать и правильно цѣнить характеры лицъ, чтобы образы ихъ возсоздавались передъ нимъ съ приблизительно вѣрнымъ распредѣленіемъ свѣта и тѣней. Но при этомъ развитіи нужно было, чтобы историкъ не считалъ себя выше своего народа, какъ считаютъ себя обыкновенно наши просвѣщенные люди, чтобы онъ не смотрѣлъ на этотъ народъ, какъ на „первобытныхъ и звѣрообразныхъ варваровъ", а напротивъ, твердо вѣрилъ въ его славу, въ принадлежность его къ семьѣ великихъ народовъ, въ то, что его исторія равняется своею значительностію другимъ исторіямъ.

Вспомнимъ то время, когда развивался Карамзинъ, когда складывались его понятія и то душевное настроеніе, которымъ проникнуты его чисто-литературныя произведенія. Въ Европѣ это былъ вѣкъ *анти-историческій*, вѣкъ самодовольнаго просвѣщенія, смотрѣвшаго съ пренебреженіемъ на прошлое и готоваго все пересоздать по новымъ идеямъ. Не заключается-ли по-

этому странная и знаменательная загадка въ томъ, что у насъ одинъ изъ сыновъ этого вѣка, глубоко воспринявшій его идеи, сдѣлался историкомъ своего народа, такъ что просвѣщеніе XVIII столѣтія у насъ отразилось, между прочимъ, созданіемъ исторіи, то есть наращеніемъ любви и уваженія къ прошлому?

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Движеніе литературы въ прошлое царствованіе.

Возбужденіе начавшееся съ 1856 г.—Отвлеченныя идеи.—Идея матеріальнаго благосостоянія.—Ея безсиліе.—Сила нравственныхъ идей.—Отрицаніе искусства.—Красота природы.—Любовь.—Пакостныя понятія.—Правило художника.

Какія благородныя, чистыя, сіяющія исходныя точки имѣла та литература, которая началась вмѣстѣ съ минувшимъ царствованіемъ! Можно ли было ожидать, что мы придемъ къ теперешнему печальному положенію? Вспомните,—это была проповѣдь просвѣщенія, свободы, справедливости, это было негодованіе противъ всякихъ золъ и пороковъ, это былъ призывъ къ полному обновленію, къ горячей дѣятельности умственной и нравственной. И что же вышло! Такая жестокая и странная неудача стоитъ того, чтобы объ ней подумать. Какой-то червь подточилъ всѣ тогдашніе всходы, и мы теперь грустно раздумываемъ, скоро-ли и откуда начнется новое движеніе?

Очевидно, начала, лежавшія въ основѣ литературнаго движенія, начавшагося съ 1856 года, были мало содержательны и недолговѣчны. Дѣло было испорчено тѣмъ всемогущимъ вліяніемъ, отъ котораго у насъ много выходитъ зла,—вліяніемъ Европы. Наше возбужденіе, наше одушевленіе послѣ минувшей тишины и скрытаго броженія, приняло направленіе, опредѣленное вѣтромъ дув-

нимъ съ Запада, и принесло насъ на мель. Странное, лихорадочное, почти фантастическое волненіе, овладѣвшее русскимъ обществомъ и возраставшее до 1863 года, не оставило послѣ себя никакихъ почти плодовъ; кромѣ сорныхъ травъ и пустоцвѣта, ничего не укоренилось и не разрослось на русской почвѣ; послѣ всей этой исторіи общество остается въ прежнемъ недоумѣніи, только болѣе разочарованное, меньше прежняго способное держаться чего-нибудь крѣпко и послѣдовательно.

Состояніе Запада въ настоящее время неясно только очень поверхностнымъ людямъ; но всякій, кто искренно и серьезно обращался или обращается къ Европѣ за нравственнымъ руководствомъ, кто дѣйствительно ищетъ въ ней для своихъ мыслей и дѣйствій руководящаго начала,—всякій знаетъ, что Западъ тяжко боленъ, что онъ не исполненъ надеждъ, какъ когда-то было, а весь потрясенъ внутреннимъ страхомъ, ищетъ и не находитъ выхода изъ противорѣчій, зародившихся въ его жизни.

Просвѣщеніе—вещь прекрасная; но вѣдь неизбѣженъ вопросъ: *чему* слѣдуетъ намъ учить непросвѣщенныхъ? какое *содержаніе* въ нашемъ просвѣщеніи? Свобода—дѣло неоцѣненное; но вѣдь свобода есть понятіе отрицательное; спрашивается, *что* намъ дѣлать, когда мы получимъ свободу? *Что* мы хотимъ осуществить въ своей жизни? Для *чего* именно нужна намъ свобода? Справедливость дорога каждому нравственному человѣку; но въ чемъ состоятъ ея правила? *Что* нужно дѣлать, чтобы быть справедливымъ?

Гордый Западъ когда-то много на себя надѣялся и думалъ, что эти вопросы разрѣшатся сами собою, что истина получится изъ свободы его мысли и правда выяснится изъ борьбы его партій; но теперь эти надежды

ослабѣли и почти угасли; борьба идей привела къ скептицизму, а борьба интересовъ къ неутолимой враждѣ. Отвлеченныя идеи просвѣщенія, свободы, справедливости не могутъ составлять внутреннихъ двигателей исторіи; содержаніе всему движенію дается другаго рода идеями, имѣющими прямое, опредѣленное значеніе для жизни человѣка. Такъ и въ нашемъ вѣкѣ явилась мысль, которая стала дѣйствительно заправлять исторіею и сдѣлалась мѣриломъ для другихъ мыслей; эта мысль есть идея общаго матеріальнаго благосостоянія, избавленія отъ физическихъ золъ и сколь возможно лучшаго пользованія благами жизни. Въ умахъ огромнаго множества людей—къ этой идеѣ, какъ къ главной и центральной, сводятся теперь всѣ другія идеи; и просвѣщеніе, и свобода и справедливость имѣютъ для этого множества одну верховную цѣль и одно неизмѣнное условіе—матеріальное благосостояніе. Оно есть истинное содержаніе дѣла, а все прочее только формы и пособія.

И вотъ, въ то время, когда мы были такъ сильно возбуждены, когда порывались съ восторгомъ впередъ и готовы были, кажется, на всевозможные подвиги, на юношескую отвагу и самоотверженіе, Европа ничего не могла предложить намъ для руководства, кромѣ этой идеи. Мы приняли ее съ величайшимъ увлеченіемъ, перевертывали на тысячу ладовъ, приложили ко всему на свѣтѣ, довели до величайшихъ крайностей, до отчаяннаго нигилизма, до холоднаго разврата и преступленія, и такимъ образомъ въ самый короткій срокъ до того истаскали и измыкали европейскую идею, что она намъ опротивѣла до тошноты.

Европа еще долго будетъ болѣть этою идеею; она принимаетъ ее серьозно и будетъ проводить ее въ жизнь

со своею всегдашнею энергіею и послѣдовательностію. О, еслибы у насъ было иначе! Еслибы эта болѣзнь уже не возвращалась мутить наши умы и сердца! На такое благополучіе можетъ быть не слѣдуетъ терять надежды; очень можетъ быть, что *прививная* болѣзнь избавитъ насъ отъ настоящей.

Такимъ образомъ исторія нашей литературы за минувшее царствованіе весьма поучительна; она представляетъ новый разсказъ о много разъ повторявшемся случаѣ, о томъ, какъ иныя европейскія идеи овладѣвали умами русскаго общества, какъ онѣ развивались, видоизмѣнялись и изнашивались въ этихъ умахъ, и какъ, наконецъ, исчезали, оставляя по себѣ смуту и безплодную умственную ниву, на которой никакъ не могли укорениться европейскія сѣмена. Вотъ ясное, бросающееся въ глаза содержаніе этой исторіи; если же при этомъ совершалось и что-нибудь положительное, если въ глубинѣ зрѣла понемножку самобытная русская мысль и получила, можетъ быть, нѣкоторое оживленіе отъ самыхъ этихъ исчезающихъ метеоровъ, то это будетъ уже другая исторія, очень темная и очень трудная.

Но что же дурнаго въ идеѣ общаго матеріальнаго благосостоянія? Или точнѣе, почему эта идея оказалась у насъ такою слабою, почему ея жизненность такъ быстро истощилась?

На первый взглядъ это идея прекрасная; безъ сомнѣнія, всякій желалъ бы ея осуществленія; но сказать, что выше ея не должно быть никакого принципа, что она есть главная идея—вотъ что мы считаемъ и невѣрнымъ и вреднымъ.

Защитники ея насъ увѣряютъ, что будто бы *„всѣ, желающіе равномѣрнаго распредѣленія матеріальнаго благосостоянія, желаютъ и равномѣрнаго распредѣленія духовныхъ благъ и наслажденій“*; намъ говорятъ, что, конечно, невозможно считать за что-нибудь дурное „желаніе снабдить сосѣда тѣмъ, чего у него нѣтъ“; наконецъ насъ спрашиваютъ: „Развѣ, желаніе надѣлить всѣхъ и каждаго матеріальнымъ благосостояніемъ не способно составить *идеалъ*, вызвать *высокія чувства, великія мысли?* Развѣ, наконецъ, мы не видимъ этого и въ дѣйствительности, хотя бы и въ слабомъ размѣрѣ?“ („Отеч. Зап.“ 1872. Сентябрь, стр. 132).

Вотъ постановка дѣла, которую мы охотно принимаемъ; мы очень желаемъ, чтобы вопросъ намъ предлагаемый не былъ мимолетною журнальною фразою, а былъ дѣйствительною, серьезною мыслью, и будемъ отвѣчать на него въ этомъ смыслѣ. Мы скажемъ рѣшительно: нѣтъ, мысль о благосостояніи неспособна составить идеалъ, не можетъ вызвать высокія чувства и великія мысли. Къ этому способны и это могутъ дѣлать только идеи чисто нравственныя, то есть такія, вся цѣль которыхъ заключается въ нравственномъ усовершенствованіи человѣка, въ возвышеніи достоинства его жизни. Любовь къ ближнему заповѣдана намъ вовсе не какъ средство къ общему матеріальному благосостоянію, а какъ чувство, которое долженъ питать въ себѣ человѣкъ для блага своей души, для такого блага, которое стоитъ выше всего временнаго, всякаго имущества и наслажденія.

Только такими и подобными идеями живетъ человѣчество; напрасно думаютъ, что матеріальная жизнь когда нибудь много значила или будетъ значить въ историческихъ явленіяхъ и дѣйствіяхъ людей. Идея благосостоя-

нія сама по себѣ совершенно безсильна, и получаетъ силу только тогда, когда возбуждаетъ собою другія идеи, напримѣръ, идеи состраданія, самоотверженія, любви, или же, наоборотъ, идеи злобы, зависти, мести. Человѣкъ вообще живетъ не имуществомъ, а тѣмъ чувствомъ, которое онъ въ себѣ носитъ и которое его грѣетъ и даетъ ему силу. И слѣдовательно, чтобы идея была плодотворна, чтобы она могла способствовать развитію человѣческихъ душъ, она должна содержать правило чувствъ, должна быть руководствомъ для сердецъ людей. А этого-то и нѣтъ въ идеѣ благосостоянія; и вотъ почему она не только не можетъ считаться *прямымъ* источникомъ высокихъ чувствъ, но справедливо обвиняется въ томъ, что никакъ не препятствуетъ развитію дурныхъ и злыхъ страстей. Когда любовь къ ближнему считается лишь средствомъ къ общему благосостоянію, то недалека мысль:—не поискать ли и другихъ средствъ, и не возможно ли обойтись безъ этой любви?

Если намъ указываютъ, что идея благосостоянія *въ дѣйствительности* уже была источникомъ *высокихъ чувствъ*, то на это мы должны сказать, что тутъ дивиться рѣшительно нечему, что не только эта благовидная идея, а и всякія чудовищныя и дикія фантазіи могутъ вызывать благороднѣйшія чувства и самый крайній героизмъ. Такое ужь созданіе человѣкъ, что онъ легко хватается за всѣ случаи, гдѣ требуется великодушіе и самопожертвованіе. Когда раздается кличъ войны, посмотрите тогда на людей, если желаете понимать ихъ истинную природу. Всѣ вдругъ встрепенутся, какъ будто кончились будни и начинается какой-то праздникъ. Игра въ жизнь и смерть, возможность каждую минуту *за что-то* пострадать и умереть—безконечно привлекательны и зара-

зительны. Энтузіазмъ загорается въ самыхъ вялыхъ и лѣнивыхъ; зрители слѣдятъ за кровавымъ зрѣлищемъ съ жадностью и радостнымъ любопытствомъ — они готовы сами вмѣшаться въ дѣло.

При такой натурѣ людей, что̀ же мудренаго, что идея матеріальнаго благосостоянія нашла поклонниковъ, готовыхъ положить за нее свою душу? Все-таки, она никогда не будетъ главною двигающею идеею, ни зиждительною, ни разрушительною; идеи болѣе сильныя, дѣйствительно способныя насытить человѣческое сердце, всегда возьмутъ верхъ надъ мыслью о благосостояніи и она будетъ лишь орудіемъ въ ихъ рукахъ. Изъ исторіи мы видимъ, какія идеи потрясали и обновляли человѣчество. Христіанство было проповѣдью блаженствъ, которыя *не отъ міра сего*, проповѣдью новой нравственности. Реформація—первое проявленіе могущественнаго германскаго духа, держалась на той мысли, что нравственное достоинство человѣка зависитъ не отъ папы и его индульгенцій, а отъ Бога и совѣсти каждаго. И тѣ идеи, которыя породили Революцію и до сихъ поръ, развиваясь и видоизмѣняясь, движутъ Европу, состояли не въ одномъ желаніи правъ, имущества, устраненія гнета и т. п., а имѣли нравственную подкладку, отъ которой и заимствовали всю свою силу. Онѣ опирались на мысль, что человѣкъ по самой своей природѣ добръ и хорошъ, что нравственное зло есть случайность, которую возможно устранить безъ нравственныхъ усилій, что для этого нужно лишь побороть внѣшнія условія, искажающія жизнь людей.

Идея матеріальнаго благосостоянія, въ которую, наконецъ, съузились понятія о счастіи жизни и ея достоинствѣ, есть очевидное порожденіе того же поворота въ нравственныхъ взглядахъ людей. Но она, если про-

водить ее строго и послѣдовательно, собственно уже отрицаетъ всякія стремленія, дурныя и хорошія, но имѣющія нравственный, духовный характеръ. Конечно, она никогда не возобладаетъ надъ ними на дѣлѣ, въ дѣйствительности; но въ своей настоящей сферѣ, въ области идей, въ людскихъ умахъ и понятіяхъ, она можетъ получить большую силу, и тутъ она дѣйствуетъ несомнѣнно отрицательнымъ образомъ, расшатывая и разрушая другія идеи, и слѣдовательно, въ сущности, разслабляя силы людей. Всѣ чисто духовныя стремленія—наука, искусство, благородство и чистота души — теряютъ свою истинную, высокую цѣну и разсматриваются только какъ орудія, какъ средства для нѣкоторой высшей цѣли. Какъ нѣкогда въ Средніе Вѣка наука была только *служанкой* богословія, такъ теперь она для многихъ умовъ стала служанкой матеріальнаго благосостоянія. Отъ искусства безпрестанно требуютъ такого же рабства. Наконецъ, подлости и преступленія считаются чуть не героизмомъ, если они служатъ прогрессу. Такъ оправдалось давно сказанное слово, что нельзя служить въ одно время Богу и мамонѣ.

Такимъ образомъ, просвѣщеніе для многихъ современныхъ людей состоитъ преимущественно въ отрицаніи всякихъ духовныхъ требованій, какъ устарѣлыхъ предразсудковъ; свобода—только въ освобожденіи отъ давящей силы капитала; справедливость—только въ равномѣрномъ распредѣленіи матеріальныхъ удобствъ жизни.

До какой степени такія идеи противны коренному духу русской жизни, — намъ кажется, не требуетъ поясненій и доказательствъ. Насколько въ этихъ идеяхъ было призыва къ великодушію и жертвѣ, настолько онѣ и были для насъ привлекательны. Но развиться и

укорениться на нашей почвѣ въ своемъ чистомъ видѣ онѣ не могли. Европа стара; она отжила свои духовныя стремленія. Мы же молоды, и старческія мысли скоро должны намъ опротивѣть. Наша полная духовная жизнь еще впереди, и, если насъ не обманываетъ наша любовь и вѣра, должна распуститься пышными цвѣтами и плодами.

Изъ тѣхъ же идей проистекли и ходячія ученія о поэзіи, которыя унизили смыслъ искусства и много повредили ему и въ общемъ мнѣніи и въ развитіи самихъ художниковъ. Идеи политической борьбы, насущной пользы, общаго благосостоянія и т. п. фанатически требовали себѣ главнаго мѣста, устраненія или подчиненія другихъ идей. Когда создаются новые боги, то старые должны быть низвержены, или даже обращаются въ демоновъ-соблазнителей, считаются врагами новаго божества. Кто не съ нами, тотъ противъ насъ. Книги, въ которыхъ писано не то, что въ нашемъ коранѣ,—вредныя книги и должны быть истреблены. Вотъ давнишнія правила нетерпимости и фанатизма, въ силу которыхъ въ нашъ просвѣщенный вѣкъ поэзія подверглась такому гоненію и утѣсненію, какого еще не бывало. Мудренаго тутъ ничего нѣтъ: нашъ вѣкъ такое же поприще страстей и узкихъ мыслей, какъ и другіе вѣка; минуты, когда человѣчество устремляется къ идеямъ широкимъ и истинно-чистымъ, рѣдки и скоро проходятъ.

Всякая вещь только тогда бываетъ предметомъ искреннихъ желаній и усилій, когда цѣнится сама по себѣ, а не разсматривается только какъ средство для другой вещи. Къ вещамъ, которыя нужны намъ только какъ средства, мы бываемъ совершенно равнодушны, мы ихъ

бросаемъ какъ скоро употребили ихъ въ дѣло, мы готовы замѣнить ихъ другими вещами, мы часто питаемъ къ нимъ даже отвращеніе. Мы не любимъ и не имѣемъ никакой надобности любить тѣ лекарства, которыя возвращаютъ намъ здоровье, или тотъ костыль, который замѣняетъ намъ хромую ногу. Вотъ почему признать какой-нибудь предметъ *средствомъ* значитъ безмѣрно умалить его значеніе; и вотъ гдѣ основаніе для знаменитой формулы *искусства для искусства*. Она имѣетъ тотъ простой смыслъ, что искусство есть предметъ хорошій самъ по себѣ, всегда достойный любви и желанія, и слѣдовательно не можетъ быть разсматриваемо какъ средство. Противники этой формулы должны доказать, что искусство само по себѣ безразлично, что оно ни хорошо ни дурно, а получаетъ различную цѣну, смотря по своимъ результатамъ. Они должны поэтому доказывать, что есть случаи, когда искусство дурно, когда оно бываетъ безполезно, или безнравственно, или вредно въ какомъ-нибудь отношеніи.

Такъ они и доказываютъ.

Искусство, говорятъ они, не всегда ведетъ къ *нашимъ* цѣлямъ, а иногда и противодѣйствуетъ имъ; слѣдовательно оно бываетъ вредно. Вотъ положеніе, которое, по нашему мнѣнію, такъ же трудно доказать, какъ и то, что пищевареніе или дыханіе мѣшаютъ и противодѣйствуютъ чему-нибудь и потому бываютъ вредны.

Возьмемъ частный примѣръ. Лозунгъ къ отрицанію истиннаго достоинства искусства далъ одинъ изъ нашихъ поэтовъ, Некрасовъ. Еще въ 1856 году онъ написалъ стихотвореніе *Поэтъ и Гражданинъ*, въ которомъ гражданинъ говоритъ поэту:

Съ твоимъ талантомъ стыдно спать;
Еще стыднѣй въ годину горя

Красу долинъ, небесъ и моря
И ласки милой воспѣвать...

И такъ, два предмета самымъ прямымъ и настоятельнымъ образомъ запрещаются поэзіи: *краса долинъ, небесъ и моря*, т. е. природа, и *ласки милой*, то есть любовь. Спрашивается, почему же эти предметы вредны? Некрасовскій гражданинъ увѣряетъ, что непомѣрно *стыдно* думать о нихъ *въ годину горя*. Но развѣ можно куда-нибудь убѣжать отъ природы и любви? Развѣ это зависитъ отъ человѣческаго произвола?

И чему же могутъ мѣшать природа и любовь? Не составляютъ ли они нашей лучшей радости, не укрѣпляютъ ли они насъ въ минуты величайшаго горя? Насъ увѣряютъ, что взглянуть на небо и подумать о любимомъ существѣ бываетъ иногда стыдно; да это не стыдно не только въ годину горя, а и въ минуту самой смерти.

Посмотрите, что дѣлаетъ народъ, тотъ самый народъ, въ сочувствіи къ которому такъ усердно увѣряютъ насъ наши поэты. Пѣсня для него ежедневная, насущная потребность; въ горѣ и трудѣ онъ поетъ про *синее море* и про *милаго друга*.

Но, какъ видно, есть разница между настоящею пѣснью, настоящею поэзіею, наполняющею душу и вырывающеюся изъ души, и стихами, которые продолжительно и упорно сочиняются въ петербургскихъ комнатахъ и предназначаются для украшенія журнальныхъ книжекъ. Никогда истинный поэтъ не усумнится взять предметомъ своего пѣснопѣнія природу или любовь; но стихотворецъ, сочинитель стиховъ, вынужденный подогрѣвать и растягивать свои маленькія чувства, для того чтобы изъ нихъ что-нибудь вышло, конечно можетъ потерять вѣру въ достоинство такихъ предметовъ.

Какой смыслъ имѣютъ для Некрасовскаго гражданина природа и любовь, если онъ отозвался объ нихъ съ такимъ презрѣніемъ? „Краса долинъ, небесъ и моря“ есть для него предметъ празднаго созерцанія, зрѣлище почему-то пріятное для глазъ, но ничего не говорящее уму и сердцу. А между тѣмъ природа въ своей вѣчной красотѣ есть великая тайна. Точно такъ, любовь ему является только какъ наслажденіе, какъ *ласки милой*, которыя дѣйствительно *стыдно воспѣвать*, если съ ними не связано ничего, кромѣ мысли объ удовольствіи. Между тѣмъ любовь вѣдь не состоитъ изъ одной клубнички и имѣетъ духовную сторону, которая безмѣрно глубока и которой кажется ни на минуту не долженъ бы забывать ни одинъ поэтъ.

Мы вовсе не думаемъ искажать серьезнаго значенія, въ которомъ сдѣланы эти выходки; это, изволите видѣть, нѣкоторый суровый аскетизмъ, гражданское монашество. Отреченіе отъ любви есть знакъ отреченія отъ радостей жизни; отреченіе отъ природы есть фанатическое отрицаніе всѣхъ отвлеченныхъ, непрактическихъ интересовъ; созерцаніе природы, какъ извѣстно, есть дѣло вполнѣ безкорыстное и вполнѣ свободное отъ чувственности. Вотъ та суровая гражданская мысль, въ силу которой Некрасовъ такъ рѣшительно подсмѣялся надъ „красою долинъ, небесъ и моря“ и надъ „ласками милой“.

Но посмотрите, что̀ вышло изъ такого противоестественнаго и анти-поэтическаго настроенія, изъ такой неосмысленной дерзости противъ существенныхъ законовъ природы и человѣка. Настроеніе, овладѣвшее Некрасовымъ еще въ 1856 году, въ послѣдствіи нашло себѣ весьма пригодную почву въ нашемъ подвижномъ обществѣ, разрослось и стало господствовать. Только немно-

гіе поэты, преимущественно тѣ три, которые заключаются въ стихѣ Добролюбова—

Майковъ, Полонскій и Фетъ

не поддались общему теченію (одинъ изъ нихъ однако изрѣдка поддавался); всѣ остальные стихописатели захотѣли непремѣнно быть „гражданскими“ поэтами, стали выбирать предметомъ пѣнія „гражданскіе мотивы“ и стали проливать „гражданскія слезы“. Что же вышло? Расплодилась невыносимая реторика, которая имѣетъ себѣ равную только въ реторикѣ нашихъ одъ конца прошлаго столѣтія; настоящая же поэзія, истинное вдохновеніе—почти вовсе исчезли. Новыхъ поэтовъ не является; молодые люди съ поэтическою струйкою сейчасъ-же попадаютъ подъ вредное вліяніе господствующей школы, и—прощай поэзія!

Но вышло нѣчто и гораздо худшее. Такъ какъ стыдно стало воспѣвать „красу долинъ, небесъ и моря“, то наши стихотворцы и читатели журналовъ перестали глядѣть на небо и оборотились спиною къ морю. Бѣда была конечно еще не большая. Небо и море отъ этого не измѣнилось; небо по прежнему одинаково сіяло

Надъ безпорочнымъ и виновнымъ;

море по прежнему было могуче и величественно, по прежнему билось въ свои берега и безъ конца мѣняло видъ на своемъ просторѣ. По счастію, скажемъ кстати, природа недоступна никакой власти даже сильнѣйшаго прогресса, а безъ того, нѣтъ сомнѣнія, ей пришлось бы плохо. Подъ вліяніемъ своихъ идей люди давно бы ее исковеркали; какая-нибудь новая коммуна, перебивши всѣ статуи и сожегши всѣ картины, пожалуй обратила бы вниманіе и на соблазнъ, вносимый въ общество „красою долинъ, небесъ и моря“, и—будь только это въ ея

власти—не задумавшись стерла бы эту сіяющую красоту съ лица природы.

И такъ природа намъ осталась такою же, какъ была. Но не то вышло съ любовью. Любви устыдились и перестали ее воспѣвать. Но спрашивается, перестали ли влюбляться и жениться? О, нѣтъ! влюблялись и женились по прежнему, только въ тихомолку, не дѣлая изъ этого серьознаго дѣла и не поднимая большаго шума изъ за такихъ пустяковъ. Перестали думать и говорить о любви, но на дѣлѣ отъ нея нимало не отказались. И вотъ, такъ какъ понятія о любви понизились, упростились и огрубѣли, то стали происходить явленія смѣшныя и безсмысленныя, или даже отвратительныя и ужасныя. Смѣшно было, когда влюбленные скрывали свои постыдныя чувства и сохраняли видъ гражданской суровости и равнодушія; отвратительно было, когда никакого чувства дѣйствительно не было и любовь принималась за *естественную потребность*, въ родѣ ѣды и питья.

Наибольшее зло понесли въ этомъ случаѣ женщины. Инстинктъ, побуждающій женщину стать женою и матерью, такъ силенъ въ ея натурѣ, что можетъ все заглушить и вмѣшивается во всѣ женскія дѣла и отношенія. Когда мужчины стали проповѣдывать, что любовь не дѣло серьозныхъ людей, что умные люди не должны вполнѣ отдаваться поэзіи этого чувства, что даже вся эта поэзія вздоръ, а главное—трудъ, наука, политическіе разговоры,—женщины ничего не съумѣли возразить на это отрицаніе своего значенія; онѣ повидимому покорились, остригли волосы, перестали наряжаться, стали возиться съ книгами, размахивать руками и толковать тоже о трудѣ, наукѣ, политическихъ вопросахъ. Но своего онѣ достигли—любовь процвѣтала по прежнему, не

смотря на простоту и суровость новыхъ формъ. Таинственное влеченіе и средство душъ было осмѣяно и отвергнуто; за то явилось новое начало, дѣйствующее даже гораздо сильнѣе—*сходство убѣжденій.*

Мы слегка касаемся здѣсь предмета очень обширнаго, представляющаго безчисленныя варіяціи. Странное и печальное зрѣлище представляетъ это извращеніе душъ подъ вліяніемъ противоестественныхъ идей. Вотъ намъ наглядное доказательство, какъ права, естественна и полезна поэзія воспѣвающая любовь. Она одухотворяетъ это чувство, возвышаетъ и истолковываетъ лучшее его значеніе и такимъ образомъ противодѣйствуетъ всякаго рода разврату, который неизбѣжно является, какъ скоро отношенія между полами опредѣляются какими-нибудь другими началами, все равно деньгами или гражданскими убѣжденіями. Даже чувственную страсть можно считать въ этомъ случаѣ лучшимъ правиломъ, чѣмъ низведеніе любви на степень простой физической потребности, чѣмъ холодное сластолюбіе, неоправдываемое никакою страстью, не дѣлающее никакого выбора.

Каковъ бы ни былъ смыслъ, въ которомъ прежніе поэты выставляли любовь, онъ, по самому свойству поэзіи, никогда не заключалъ въ себѣ ничего грязнаго. Пушкинъ, напримѣръ, котораго Добролюбовъ называлъ съ насмѣшкою *эротическимъ* поэтомъ, есть истинный образецъ цѣломудрія. Онъ возвелъ въ нашей литературѣ чувство любви до его совершенной чистоты; онъ умѣлъ смотрѣть на женщину,

Благоговѣя богомольно
Передъ *святыней* красоты.

Между тѣмъ теперь мы дошли до того, что не понимаемъ этой святыни и этого цѣломудрія. Любовь стала

синонимомъ клубнички. Съ какимъ азартомъ журналистика набрасывалась и набрасывается на всякаго поэта или романиста, который вздумаетъ изображать любовь! Можно подумать, что здѣсь дѣйствуетъ достойный почтенія ригоризмъ, гражданское пуританство. Между тѣмъ въ дѣйствительности тутъ иногда обнаруживается только развратное понятіе о любви; любовь считается вещью совершенно дозволительною, простою, ежедневною, но говорить о ней нельзя, такъ какъ въ сущности она все-таки только клубничка, и на большее значеніе претендовать не должна, чтобы какъ нибудь—сохрани Боже!—не отвлечь насъ отъ тѣхъ серьозныхъ дѣлъ, которыя мы постоянно дѣлаемъ.

Естественно, что когда стихотворцы имѣютъ такія пакостныя понятія, то у насъ не будетъ и пѣсенъ о любви. И вообще понятно, почему при такомъ настроеніи у насъ упала поэзія, и никто не хочетъ читать стиховъ даже съ наилучшими гражданскими чувствами. Мы наказаны за то, что измѣнили завѣту Шиллера:

Пѣвецъ о *любви благодатной* поетъ,
О всемъ, что̀ святаго есть въ мірѣ,
Что душу волнуетъ, что сердце манитъ.

Мы вздумали обратить поэзію въ средство, и поэзія исчезла; мы забыли, что говоритъ поэту императоръ:

Не мнѣ управлять пѣснопѣвца душой!
Онъ высшую силу призналъ надъ собой:
Минута—ему повелитель.

Въ этихъ словахъ выражена истинная, неизмѣнная природа поэзіи. Поэтъ, который пересталъ имъ вѣрить и ихъ соблюдать, перестаетъ быть поэтомъ.

(1873 г.)

II

ФЕЙЕРВАХЪ

И сыновъ твоихъ покинетъ
Мысли ясной благодать.
Хомяковъ.

Фейербахъ представляетъ весьма значительное, или лучше, знаменательное явленіе въ современной философіи. Характеристично для него то обстоятельство, что онъ почти совершенно *одинокъ*, что у него, собственно говоря нѣтъ послѣдователей. Въ самомъ дѣлѣ, изъ числа тѣхъ, которые клянутся его именемъ, почти никто его не понимаетъ. Мы знаемъ только *одного* писателя, который, намъ кажется, вѣрно понялъ и почти всегда вѣрно слѣдуетъ Фейербаху (Герцена). Другіе понимаютъ его очень просто, именно считаютъ его матеріалистомъ, то есть низводятъ на весьма низкую степень, на степень своего собственнаго пониманія, на которой почти ровно ничего не остается понимать. Такая *одинокость* Фейербаха вовсе не есть дурной признакъ для самаго Фейербаха. При ней онъ всетаки могъ бы быть показателемъ и выразителемъ чрезвычайно глубокаго движенія мысли. Къ сожалѣнію, намъ кажется вѣроятнѣе другое объясненіе этого явленія. Фейербахъ одинокъ потому, что представляетъ глубокую мысль, доведенную до крайности, и по тому самому съ

одной стороны требуетъ большой тонкости для своего настоящаго пониманія, съ другой стороны—при непониманіи можетъ совпадать съ мыслію весьма грубою и плоскою. Такъ это бываетъ. Высшею мудростію для однихъ бываетъ то, что другіе признаютъ величайшимъ безуміемъ. Такимъ образомъ я полагаю, что мысль Фейербаха есть чужая и вѣрная мысль, только доведенная имъ до тѣхъ размѣровъ и образовъ, когда она естественно кажется нелѣпостью и, повидимому, совпадаетъ съ самыми обыкновенными глупостями. Къ такому убѣжденію привели меня попытки проникнуть въ мысль Фейербаха, понять ее точнѣе и опредѣленнѣе. Эти попытки я и намѣренъ здѣсь изложить.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О томъ, можно ли издавать полное собраніе своихъ сочиненій.

Полныя собранія сочиненій какого-нибудь живаго или покойнаго автора есть дѣло весьма обыкновенное и каждому знакомое. Они бываютъ въ различной степени *полныя*, бываютъ иногда неудобны и странны, и тогда охотно замѣняются „избранными сочиненіями“ того же автора; но, какъ бы то не было, полныя собранія сочиненій есть явленіе весьма установившееся и опредѣленное. Каждый писатель не нашелъ бы ничего страннаго въ мысли о полномъ собраніи своихъ сочиненій, или по крайней мѣрѣ тотчасъ бы нашелъ надлежащее отношеніе къ этой мысли,

именно сталъ бы рѣшать, что̀ должно входить въ это собраніе и что̀ нѣтъ.

Но не такъ думаетъ Фейербахъ. Въ 1846 г. вышелъ первый томъ его полнаго собранія сочиненій изъ типографіи Отто Виганда, и этотъ первый томъ начинается слѣдующимъ любопытнимъ предисловіемъ:

ПРЕДИСЛОВІЕ.

„Открывая симъ полное собраніе своихъ сочиненій, я „долженъ прежде всего замѣтить, что это собраніе древ„ностей обязано своимъ происхожденіемъ не мнѣ, а моему „издателю.“

Je ferme à jamais
Ce livre à ma pensée étranger désormais,
Je n' écouterais pas ce qu'en dira la foule,
Car qu'importe à la source, où son onde s'écoule?

„Такъ думалъ я не только при той маленькой брошюрѣ, „при которой я прямо привелъ эти слова французскаго „поэта; такъ думалъ я при каждомъ своемъ сочиненіи.“

Не правда ли, любопытно? Поэтъ сказалъ: *я пою какъ птица поетъ*; оказывается, что и философъ такая же птица, что ему нѣтъ дѣла до одобреній, что, распѣвая новыя пѣсни, онъ не думаетъ о старыхъ, словомъ, что сладость для него заключается въ самомъ *процессѣ* пѣнія. Впрочемъ, философъ старается объяснить это нѣсколько раціональнѣе, чѣтъ дѣлаютъ поэты, сравнивающіе себя то съ птицею, то съ источникомъ, *которому все равно, куда течетъ его волна*. Фейербахъ объясняетъ дѣло такъ:

„Каждому готовому сочиненію я говорилъ: прости „навсегда; каждое изъ нихъ приводило только мнѣ къ „сознанію мои ошибки и недостатки и потому не остав„ляло во мнѣ ничего инаго, кромѣ настоятельнаго же„ланія—изгладить его память новымъ сочиненіемъ.“

Резонъ самый основательный. Какъ скоро человѣкъ прогрессируетъ, то такъ это и должно быть. Онъ каждымъ слѣдующимъ сочиненіемъ долженъ *изглаживать* память о предъидущемъ. Нужно только благодарить Бога, если прогрессъ этотъ имѣетъ не слишкомъ большую быстроту, если человѣкъ, по крайней мѣрѣ, успѣетъ отослать въ типографію и продержать корректуру своего сочиненія прежде, чѣмъ почувствуетъ, что оно только приводитъ ему въ сознаніе его ошибки и недостатки. Хорошо, что пока статья печатается, еще можно терпѣть; но какъ скоро печатаніе кончено, то, по мнѣнію Фейербаха, нужно тотчасъ приниматься изглаживать память объ этомъ напечатанномъ.

Понятно теперь, какъ онъ долженъ смотрѣть на полное собраніе своихъ сочиненій.

„И вдругъ“, продолжаетъ онъ, „мнѣ предлагается, чтобы „я свой духъ, свой недовольный, противокнижный, ан„тибиблейскій духъ обратилъ на всѣ мои сочиненія, дав„но исчезнувшія изъ моей памяти. Какое предложеніе! „Какъ? Я долженъ плыть противъ теченія жизни? Въ „противность ходу природы, вмѣсто того, чтобы идти „впередъ, идти назадъ? въ противность хорошему вкусу, „пережевывать то, что давно переварено? въ противность „влеченію плоти, вмѣсто того, чтобы раждать дѣтей, „оживлять мертвыхъ? Нѣтъ, мой любезный господинъ „Вигандъ! Такое дѣло противно моей природѣ, против„но моему чувству.“

Удивительнѣйшее предисловіе, какое только когда-нибудь было написано къ полному собранію сочиненій! Въ самомъ дѣлѣ, авторъ самъ, добровольно и даже съ величайшимъ увлеченіемъ объявляетъ читателямъ, что его произведенія суть совершенная мертвечина, или еще

хуже—нѣчто давно переваренное, которое пережевывать, конечно, весьма противно хорошему вкусу.

А между тѣмъ авторъ именно такъ смотритъ на свои сочиненія, и иначе не могъ смотрѣть. То, что̀ Фейербахъ сказалъ вчера, сегодня уже не годится, и то, что̀ онъ говоритъ сегодня, не будетъ уже никуда негодно завтра. Таковъ безостановочный прогрессъ его мысли.

Фейербахъ очевидно совершенно доволенъ такимъ положеніемъ дѣлъ. Таковъ мой духъ, такова моя натура, таково мое чувство, говоритъ онъ съ явною гордостью. Да и почему же ему не быть довольнымъ? Онъ обладаетъ истиной, такъ какъ въ каждую данную минуту онъ признаетъ за истину то, что̀ онъ думаетъ въ эту минуту.

Для него-то хорошо, но для читателей здѣсь встрѣчается затрудненіе, на которое мы уже намекнули. Та истина, которую Фейербахъ носитъ въ головѣ, очевидно никакъ не можетъ попасть въ книгу. Какъ скоро она стоитъ въ книгѣ, ея уже нѣтъ въ головѣ автора и, слѣдовательно, она уже не истина. Мой духъ, говоритъ Фейербахъ, есть духъ *противокнижный*, т. е. невыражающійся въ книгахъ, и потому отвергающій книги, непризнающій ихъ настоящей годности и нужды.

Но если такъ, если твои книги могутъ быть только мертвечиной или чѣмъ то давно переваренным, то тебя вовсе не слѣдуетъ читать, возразятъ читатели. Вотъ заключеніе, котораго тѣмъ или другимъ способомъ, но непремѣнно нужно было избѣжать Фейербаху. Тотчасъ послѣ приведенной выходки, онъ говоритъ:

„Между тѣмъ, какъ это часто случается въ жизни, „размышленіе побѣдило наконецъ сопротивленіе чувства. „Именно, я слѣдующимъ образомъ разсуждалъ и спо-

„рилъ съ собою. Конечно, зрѣлище твоихъ сочиненій, и „именно самыхъ раннихъ, есть для тебя нерадостное „зрѣлище давно уже чуждаго тебѣ прошедшаго; но развѣ „то, что̀ для тебя прошло, прошло по этому и для дру„гихъ? Развѣ завѣса, которая спала съ твоихъ глазъ, „не составляетъ еще теперь панцыря твоихъ против„никовъ?"

„Развѣ твой кредитъ не былъ поколебленъ именно „твоими позднѣйшими сочиненіями, которыя—увы! еще „весьма несовершенно—выражаютъ твое нынѣшнее на„строеніе и образъ мыслей?"

„О!" заключаетъ онъ, „какой бы великій ты былъ мы„слитель, еслибы и теперь еще думалъ такъ же, какъ „прежде!"

Итакъ, онъ приходитъ къ ироническому выводу, что его прежнія, для него уже никуда негодныя сочиненія, еще вполнѣ годятся для текущаго времени, для современниковъ.

„Нельзя этого отвергать; но развѣ настоящее есть „мѣра истины и человѣчества? развѣ оно есть законо„датель будущаго? Не будетъ ли, можетъ быть уже въ „ближайшемъ будущемъ, истиною то, что̀ считается „теперь заблужденіемъ, практикою то, что̀ теперь одна „теорія? И такъ, ужели вниманіе къ нынѣшнему дню „должно останавливать твой неустанно стремящійся „духъ?—Никоимъ образомъ."

И такъ, впередъ и впередъ; ни на чемъ старомъ останавливаться не должно. Обращаясь къ своему полному собранію, Фейербахъ дѣлаетъ такой выводъ:

„Только въ томъ случаѣ, если ты можешь примирить „самого себя съ твоимъ прошедшимъ, если ты можешь „согласить его съ твоимъ собственнымъ настоящимъ, съ

„своей теперешней точкой зрѣнія; только въ такомъ слу-„чаѣ ты можешь допустить, чтобы оно снова воскресло.“

Затѣмъ Фейербахъ начинаетъ разсуждать на тему: „каковъ я прежде былъ, таковъ и нынѣ я“, и разсуждаетъ прекрасно и основательно. Онъ съ большою тонкостію показываетъ, что и старыя, и новыя его сочиненія, хотя противорѣчатъ другъ другу, но носятъ на себѣ совершенно одинаковый характеръ, и что начальный періодъ его дѣятельности естественнымъ и необходимымъ образомъ долженъ былъ породить изъ себя дѣятельность втораго періода. Всему этому легко повѣрить даже на слово: человѣкъ *каковъ въ колыбельку, таковъ и въ могилку*; не смотря на всѣ перемѣны, онъ всегда сохраняетъ въ своихъ проявленіяхъ нѣкоторое коренное единство.

Предисловіе оканчивается словами:

„И такъ, я согласился на это полное собраніе только „подъ условіемъ, что я не просто буду моимъ собствен-„нымъ, хотя бы и критическимъ антикваріемъ, но что, „вмѣстѣ съ тѣмъ, я употреблю книжную пыль моего „прошедшаго въ видѣ навоза для новаго произращенія, „которое должно хотя въ главныхъ чертахъ пополнить „мою тему.„

По просту, это значитъ, что онъ рѣшился сдѣлать примѣчанія и поясненія къ своимъ старымъ статьямъ, такъ что читатели рядомъ со старымъ навозомъ получаютъ и это новое произращеніе.

Вотъ точное изложеніе того, какимъ образомъ Фейербахъ помирился съ мыслію о полномъ собраніи своихъ сочиненій. Помирился онъ съ нею, какъ видно нешутя. Передъ нами девять томовъ обыкновеннаго формата. Первый томъ, въ которомъ было разобранное здѣсь

предисловіе, явился въ 1846 году, послѣдній — въ 1857.

Глядя на эти книги, читатель будетъ однако же совершенно правъ, если сохранитъ нѣкоторое недоумѣніе. Развѣ можетъ быть ими доволенъ противокнижный, неустанно стремящійся впередъ духъ Фейербаха? Не онъ ли говорилъ, что каждая его книга только приводитъ ему въ сознаніе его ошибки и заблужденія? Не его ли слова, что то, что̀ передумано, похоже на то, что̀ переварено?

Чему же вѣрить? Тому ли, что Фейербахъ былъ и останется все тѣмъ же Фейербахомъ, или тому, что съ каждымъ новымъ шагомъ, съ каждою новою книгою, онъ перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ былъ?

Вѣрьте послѣднему, читатель, и вы будете ближе къ истинной мысли Фейербаха. Онъ самъ, въ другомъ мѣстѣ, весьма ясно выразилъ это въ видѣ слѣдующаго афоризма: „ты хочешь знать, что̀ я такое? Погоди, пока я перестану быть тѣмъ, что̀ я теперь.“

ГЛАВА ВТОРАЯ

О томъ, можно ли сказать, что „человѣкъ имѣетъ голову“?

Разсужденіе объ этомъ находится въ *лекціяхъ о сущности религіи*, именно въ 14-й лекціи. Никто не станетъ спорить, что истина: *человѣкъ имѣетъ голову*, или: у всякаго человѣка есть голова, есть истина хотя не имѣющая особой важности и глубины, но во всякомъ случаѣ истина простая, ясная, несомнѣнная. Тѣмъ поучительнѣе видѣть, какъ анализируетъ это ясное положеніе Фейербахъ; на такомъ простомъ примѣрѣ всего яснѣе можно подмѣтить особенность его мышленія. Фейербахъ вооружается противъ какихъ-то ложныхъ пониманій, къ которымъ будто-бы даетъ поводъ разбираемая истина; онъ старается выяснить ея настоящій, дѣйствительный смыслъ; но, какъ мы увидимъ, перебирая всевозможные смыслы, онъ все-таки не добрался до настоящаго смысла. Поэтому въ концѣ концовъ у него выходитъ, что положеніе *человѣкъ имѣетъ голову* есть софизмъ.

„Каждый человѣкъ“, начинаетъ онъ, „имѣетъ голову, „конечно человѣчью голову, т. е. голову съ человѣчес„кими свойствами, ибо и животныя имѣютъ головы, хотя

„голова не принадлежитъ къ характеристическому по-„нятію животныхъ вообще, такъ какъ существуютъ жи-„вотныя, у которыхъ настоящей, развитой головы еще „вовсе не имѣется, и даже у болѣе высокихъ живот-„ныхъ голова служитъ только низшимъ потребностямъ „и не имѣетъ самостоятельнаго достоинства и значенія; „поэтому у нихъ собственно-голова отступаетъ назадъ „сравнительно съ челюстями. И такъ, голова есть отли-„чіе, свойственное всѣмъ людямъ, есть общій, существен-„ный признакъ или предикатъ человѣка; существо, выхо-„дящее изъ материнскаго тѣла безъ ногъ и рукъ, есть „конечно человѣкъ, но существо безъ головы не есть „человѣкъ.„

Вотъ весьма положительное объясненіе, въ которомъ не мало страннаго. Уже здѣсь очевидно, что положеніе: *человѣкъ имѣетъ голову* не нравится Фейербаху. Онъ обставляетъ его какими-то оговорками и поясненіями, неизвѣстно почему нужными. Когда я говорю, что человѣкъ имѣетъ голову, что голова есть общій признакъ человѣка, то я просто хочу сказать, у человѣка есть та часть тѣла, которая называется головою. При этомъ вовсе я ничего не подразумѣваю о человѣчьей головѣ, о ея характеристическихъ свойствахъ, о ея самостоятельномъ достоинствѣ и значеніи и т. п. Такъ точно, когда я говорю: человѣкъ имѣетъ двѣ ноги, а лошадь четыре, то я вовсе не хочу сказать: человѣкъ имѣетъ двѣ человѣчьи ноги, а лошадь четыре лошадиныя ноги, а хочу именно утверждать: *тѣхъ частей тѣла, которыя называются ногами, у человѣка двѣ, а у лошади четыре.*

Но эти простые и ясные пріемы мысли, какъ видно, не нравятся Фейербаху. Пусть будетъ однакоже по его: прибавимъ къ нашему положенію еще другое; скажемъ

такъ: *человѣкъ имѣетъ голову; человѣческая голова имѣетъ извѣстныя характерическія свойства* [1]).

„Но", продолжаетъ Фейербахъ, „развѣ изъ этого слѣдуетъ, что всѣ люди имѣютъ только одну голову? А между „тѣмъ единство головы есть необходимое слѣдствіе единства рода, какъ понимаетъ его дающее ему самостоятельность отвлеченное, нечувственное [2]) мышленіе."

Очевидно Фейербахъ вооружается здѣсь противъ какого-то невозможнаго и небывалаго заблужденія. Никому конечно не можетъ придти на мысль единство головы. Фейербахъ говоритъ однакоже, что это единство есть необходимое слѣдствіе единства рода (родъ, здѣсь разумѣемый,—человѣкъ). Если такъ, то отсюда можно вывести только одно заключеніе: должно быть единство рода понимается совершенно иначе, чѣмъ думаетъ Фейербахъ; ибо никто не выводитъ изъ него этого „необходимаго" слѣдствія.

Пойдемъ далѣе и мы яснѣе увидимъ, въ чемъ состоитъ то отвлеченное, нечувственное мышленіе, противъ котораго такъ вооружается Фейербахъ.

„Не свидѣтельствуетъ ли мнѣ", продолжаетъ онъ, „чувство, что каждый человѣкъ имѣетъ свою голову, что „существуетъ столько головъ, сколько людей, и что слѣдовательно нѣтъ общей или родовой головы, а есть „только индивидуальныя головы? Что голова, какъ родовое „понятіе, голова, отъ которой я отнялъ всѣ индивидуальныя отличія и признаки, существуетъ только въ моей „головѣ, а внѣ моей головы существуютъ только головы?"

---

[1]) Она есть *голова по преимуществу,* на что и намекаетъ Фейербахъ; но опять не въ этомъ дѣло.

[2]) У Фейербаха здѣсь каламбуръ; *нечувственный* онъ выражаетъ словомъ sinnlos т. е. въ обыкновенномъ значеніи—*безсмысленный.*

И такъ Фейербахъ идетъ все дальше и дальше. Прежде вмѣсто: *человѣкъ имѣетъ голову* онъ хотѣлъ поправить такъ: каждый *человѣкъ имѣетъ человѣческую голову*; теперь онъ дѣлаетъ еще новый шагъ; опасаясь, чтобы эту человѣческую голову не приняли за одну голову, онъ измѣняетъ первоначальную формулу въ такую: *каждый человѣкъ имѣетъ свою голову*. Ему даже положительно не нравится единственное число—голова; онъ предпочитаетъ множественное; ибо, говоритъ онъ, существуетъ не голова, а головы.

Между тѣмъ сущность дѣла заключается именно въ единственномъ числѣ. Множественное число есть форма производная; первоначальная же и коренная форма есть единственное число. Смыслъ единственнаго числа есть именно настоящій смыслъ слова голова, и этотъ смыслъ, какъ видно, ускользаетъ отъ Фейербаха.

„Ибо, что же существенно", говоритъ онъ, „вотъ въ „этой, въ моей головѣ? То ли, что она голова вообще, „или то, что она *эта* опредѣленная голова? Конечно то, „что она—эта голова; ибо, кто у меня отниметъ мою го„лову, тотъ лишитъ меня вообще всякой головы. И также, „дѣйствуетъ, творитъ, мыслитъ не голова вообще, а только „дѣйствительная, индивидуальная голова."

Что̀ существенно въ моей головѣ? О, конечно то, чтобы это была хорошая голова, чтобы обо мнѣ говорили: вотъ человѣкъ съ *головой*, чтобы за мною признавали голову въ самомъ лучшемъ ея значеніи. Фейербахъ думаетъ иначе. Существенно, говоритъ онъ, то, что это моя голова, а не чужая. Ибо, доказываетъ онъ, если у меня отнимутъ эту голову, какая она тамъ ни есть, то у меня уже не будетъ никакой головы.

Безъ сомнѣнія, это очень важно и существенно; но

только для кого? Для васъ, а не для кого другаго. Каждому человѣку дорога своя голова, хотя бы она была и весьма дрянная. Цѣна и существенность головы въ этомъ смыслѣ совсѣмъ иное дѣло, чѣмъ существенность вообще. Слѣдуя ходу фейербаховой мысли, мы должны сказать, что нѣтъ ничего *существеннаго вообще*, а все на свѣтѣ существенно только для себя. Но тогда нечего и спрашивать: что существенно въ такой то вещи? Отвѣтъ будетъ: все существенно, или, что̀ все равно: все несущественно.

„Только индивидуальная голова дѣйствуетъ, творитъ, мыслитъ.“ Это можетъ имѣть большую важность и существенность для этой индивидуальной головы. Но намъ-то какое дѣло? Для насъ эта дѣятельность, это творчество и мышленіе могутъ оказаться совершенно ничтожными. Для насъ важно то, что̀ важно вообще, а не то, что̀ важно именно для этой головы.

Фейербахъ повторяетъ и точнѣе выражаетъ свою мысль слѣдующимъ образомъ.

„Слово: *индивидуальный* конечно двусмысленно; ибо мы „подразумѣваемъ подъ нимъ также и тѣ неважныя, случайныя, незначительныя особенности, которыми человѣкъ „часто отличается отъ другихъ. Поэтому, чтобы понять „значеніе индивидуальности, прежде всего нужно противупоставить человѣка, или, держась примѣра, голову „человѣка—животной головѣ, нужно поставить себѣ на „видъ индивидуальность человѣческой головы въ отличіе „отъ животной. Но и дальше, при сравненіи человѣческой головы съ человѣческою, хотя конечно существуютъ индивидуальныя различія въ томъ смыслѣ, въ „которомъ индивидуальное означаетъ незначущія особенности, существенное однакоже состоитъ въ томъ, что

„каждый человѣкъ имѣетъ *свою собственную* голову, вотъ „эту опредѣленную, чувственную, видимую, индивиду-„альную голову“.

Вотъ изложеніе, весьма ясно представляющее ходъ мысли Фейербаха. Благодаря этой ясности, можно тотчасъ видѣть, что начало здѣсь вовсе не сходится съ концомъ. Въ началѣ Фейербахъ требуетъ, чтобы мы отличали человѣческую голову отъ животныхъ головъ. Требованіе весьма правильное и пріемъ отличенія есть весьма старинный, хорошо знакомый пріемъ. Но если идти этимъ путемъ, то рядъ нашихъ мыслей будетъ таковъ:

1) Человѣкъ, подобно многимъ другимъ животнымъ, имѣетъ голову.

2) Человѣческая голова существенно отличается отъ всякихъ другихъ головъ.

3) Голова каждаго человѣка имѣетъ свои особенности.

Этого-то послѣдняго положенія и не хочетъ Фейербахъ; онъ полагаетъ, что, идя тою же дорогою, мы придемъ совсѣмъ къ другой истинѣ, именно къ такой:

3) Каждый человѣкъ *имѣетъ свою собственную* голову (не въ смыслѣ особенной, отличной отъ другихъ).

Совершенно ясно однако же, что къ этому положенію никакъ нельзя прійти путемъ отличенія и обособленія; этимъ путемъ мы приходимъ только къ положенію: голова каждаго человѣка имѣетъ свои особенности. Мало того: едва ли есть такой путь, которымъ можно бы было прійти къ положенію Фейербаха. Собственно говоря, это положеніе невозможно выразить словами безъ противорѣчія. „Каждый человѣкъ, говоритъ Фейербахъ, имѣетъ свою собственную, вотъ эту опредѣленную, чувственную, видимую, индивидуальную голову“. Странная рѣчь!

Каждый человѣкъ имѣетъ свою голову.

Каждый человѣкъ имѣетъ собственную голову.
Каждый человѣкъ имѣетъ опредѣленную голову.
Каждый человѣкъ имѣетъ видимую голову.
Каждый человѣкъ имѣетъ чувственную голову.
Каждый человѣкъ имѣетъ индивидуальную голову.
Каждый человѣкъ имѣетъ вотъ эту голову.

Не ясно ли, что рядъ этихъ положеній представляетъ напрасныя усилія сказать что-то не поддающееся слову?

Всѣ они, кромѣ послѣдняго, двусмысленны, какъ замѣтилъ Фейербахъ о словѣ: индивидуальный. Только послѣднее приближается къ его настоящей мысли; за то оно совершенно безсмысленно:

Каждый человѣкъ имѣетъ вотъ эту голову.

Такъ нельзя говорить. Но это выраженіе указываетъ тотъ случай, когда Фейербархъ считаетъ возможнымъ признать у человѣка голову. Представьте, что передъ вами находится нѣкоторый человѣкъ; вы конечно можете сказать такъ:

Этотъ человѣкъ имѣетъ вотъ эту голову, ту, которую я вижу, ту, которую осязаю, ту, которая находится только въ этомъ мѣстѣ, которая только ему принадлежитъ, которая ему индивидуальна.

Рѣчь конечно весьма справедливая; но подобное мышленіе возможно только въ присутствіи предметовъ его возбуждающихъ. Фейербахъ полагаетъ, что это-то и есть самое драгоцѣнное и высшее мышленіе; что, какъ скоро изъ моихъ глазъ скроется какая нибудь голова, или даже скроются всякія головы, и я отважусь на тощее размышленіе: „да, у всякаго человѣка есть голова“, то я уже впаду въ нѣкоторое заблужденіе; ибо я уже буду говорить о *головѣ вообще*, о такой головѣ, которой я не вижу и не осязаю, о которой не могу сказать: „вотъ она,

вотъ эта голова", слѣдовательно буду говорить о какой-то вовсе не существующей головѣ.

Положеніе, въ которое такимъ образомъ старается поставить себя Фейербахъ для истиннаго разумѣнія вещей, до того насильственно, что удержаться въ немъ невозможно. Фейербахъ какъ будто пробуетъ ходить по острому гребню крыши, и безпрестанно сваливается то на одну, то на другую сторону. Онъ самъ не въ силахъ выдержать своей точки зрѣнія. Вотъ какъ онъ разсуждаетъ далѣе.

„Голова, какъ родовое понятіе, какъ общій аттрибутъ „или признакъ всѣхъ людей, имѣетъ поэтому не иное ка„кое значеніе, не иной какой смыслъ, какъ тотъ, что всѣ „люди сходны въ томъ, что каждый имѣетъ голову."

Люди сходны въ томъ, что голова бываетъ не то чтобы у двухъ, или у трехъ, или у нѣсколькихъ людей, а у каждаго человѣка. Замѣчательное сходство! На каждую голову приходится по человѣку и на каждаго человѣка по головѣ. Вотъ *общій признакъ*, принадлежащій всѣмъ людямъ. Признакъ конечно правильный, но очевидно это не то, что̀ хотѣлъ сказать Фейербахъ.

„Если же", продолжаетъ онъ, „несмотря на это сходство „(что голова есть у *каждаго*), я однакоже отрицаю то, „что всѣ люди имѣютъ только одну голову,—а это, т. е. „единство головы, составляетъ необходимое слѣдствіе того „представленія, по которому единство рода, въ отличіе „отъ недѣлимыхъ, есть нѣчто существующее, самостоя„тельное, именно же того представленія, по которому всѣ „люди имѣютъ только одинъ разумъ; если я утверждаю: „существуетъ столько же головъ, сколько недѣлимыхъ, если „я такимъ образомъ отожествляю голову съ недѣлимымъ, „не различаю или не отрываю ихъ другъ отъ друга, то

„слѣдуетъ развѣ изъ этого, что я отрицаю значеніе и „существованіе головы, что я дѣлаю изъ человѣка без„головое существо? Напротивъ, вмѣсто *одной* головы я „получу много головъ, и если четыре глаза больше ви„дятъ, чѣмъ два, то и многія головы совершаютъ гораз„до больше, чѣмъ *одна* голова; и такъ, я нетолько ни„чего не теряю, но даже выигрываю.„

Существуетъ столько головъ, сколько недѣлимыхъ; Фейербахъ уже прямо принимается считать и повидимому полагаетъ, что истинный смыслъ положенія: *человѣкъ имѣетъ голову* долженъ выразиться такъ: *каждый человѣкъ* имѣетъ *по одной головѣ*, откуда прямое слѣдствіе: сколько людей, столько головъ. Понимаемое строго-ариѳметически, конечно это положеніе совершенно справедливо. Да только опять вовсе не то хотѣлъ сказать Фейербахъ; очевидно онъ не имѣлъ въ виду одну ариѳметику.

Вотъ и всѣ разсужденія Фейербаха относительно этого предмета. Пересматривая ихъ, мы видимъ, наконецъ, что онъ ни разу не упоминаетъ дѣйствительнаго, настоящаго смысла, въ которомъ говорится: человѣкъ имѣетъ голову. Истинный смыслъ человѣческой рѣчи, когда въ ней дѣло идетъ о головѣ вообще, или о человѣческой головѣ въ частности, какъ видно вовсе не нуженъ Фейербаху; ибо противъ этого смысла нельзя возражать и его нельзя поправлять. Когда Фейербахъ возражаетъ, то онъ вооружается противъ какого-то небывалаго заблужденія; онъ отвергаетъ то, что у всѣхъ людей одна голова. Когда же онъ принимается утверждать, то онъ сводитъ дѣло на положенія совершенно вѣрныя, но до-того незначущія, что въ обыкновенной рѣчи они употребляются только въ шутку, напримѣръ: у меня не двѣ головы; береги голову,—въ другой разъ не наживешь, и т. п.

Въ чемъ же истинный смыслъ положенія: человѣкъ имѣетъ голову? Если держаться ближайшаго значенія словъ и понимать ихъ зоологически, то это значитъ: человѣкъ имѣетъ обособленный главный органъ, въ которомъ сосредоточены: главная масса нервной системы, внѣшнія чувства и важныя части растительныхъ органовъ—начало пищевыхъ и воздушныхъ путей. Такова натура человѣка, общая ему со многими животными. Голова—это всегда тотъ органъ, который видитъ, кусаетъ, издаетъ звуки и пр.

И такъ, наше положеніе указываетъ на извѣстную черту тѣлесной организаціи человѣка.

Чтобы приблизиться къ темѣ разсужденій Фейербаха, замѣтимъ, что во множествѣ случаевъ слово голова употребляется вмѣсто болѣе опредѣленнаго выраженія: *человѣческая голова.* Понятіе человѣческой головы и имѣетъ въ виду Фейербахъ, и оно же подразумѣвается въ такихъ рѣчахъ: вѣдь есть же у него голова; сколько головъ, столько умовъ и пр.

Человѣкъ имѣетъ голову, отличающуюся извѣстными постоянными признаками.

Когда дѣло идетъ о человѣческой головѣ, то разумѣется именно совокупность этихъ признаковъ. Передъ нами тотчасъ рисуются глаза, носъ, ротъ, уши—извѣстнымъ образомъ расположенные, способные къ извѣстнымъ движеніямъ, имѣющимъ извѣстное внутреннее значеніе. Все дѣло въ томъ, что всѣ эти признаки неразрывно *связаны* между собою; мы знаемъ, что настоящая, правильная человѣческая голова должна всѣ ихъ имѣть, и какъ скоро замѣчаемъ одинъ, то непремѣнно предполагаемъ и всѣ другіе.

Вонъ какой-то человѣкъ высунулъ свою голову; какъ

скоро мы это замѣтили, по какому бы легкому и недостаточному признаку это ни произошло, напр. положимъ въ потемкахъ по одному общему *очертанію* головы, то мы тотчасъ уже знаемъ, что дѣлается; мы знаемъ, что эта голова по человѣчески смотритъ, слушаетъ, понимаетъ, можетъ издавать крики и проч. Или, напримѣръ, мы идемъ по дорогѣ и встрѣчаемъ отрѣзанную человѣческую голову; насъ поражаетъ ужасъ, хотя мы не имѣемъ ни малѣйшаго понятія о человѣкѣ, которому она принадлежала, о его имени, дѣятельности и всякихъ другихъ индивидуальныхъ принадлежностяхъ. Насъ поражаетъ уже одно то, что это—*человѣческая голова,* то есть голова, которая такъ же мыслила и чувствовала, такъ же глядѣла и говорила,какъ мы или другіе люди.

Голова у всѣхъ людей болѣе или менѣе одинаковая.

Не одна, какъ, по словамъ Фейербаха, будто бы кто-то думаетъ, а *одинаковая*, о чемъ Фейербахъ не сказалъ ни слова.

Дѣйствительное, реальное заключается здѣсь въ той *связи,* которая соединяетъ между собою всѣ родовые признаки головы. Разумѣется, мы говоримъ здѣсь о головѣ вполнѣ развитой, такъ сказать вполнѣ осуществленной. Самую прекрасную голову можно изуродовать, и трудно сказать, до какого искаженія ее можно довести, прежде чѣмъ прекратится жизнь.

Но, какъ скоро голова развилась вполнѣ и безпрепятственно, то въ ней непремѣнно будутъ извѣстныя части, въ извѣстномъ расположеніи, съ извѣстными отправленіями и пр. Вотъ почему, замѣтивъ одинъ признакъ головы, мы тотчасъ говоримъ: съ этимъ признакомъ непремѣнно должны быть соединены и всѣ другіе. Одинъ безъ другихъ явиться не можетъ.

Эта реальная внутренняя взаимная связь признаковъ вещи между собою есть непремѣнное условіе, безъ котораго намъ невозможно бы было ни мыслить, ни дѣйствовать. Мы не могли бы ступить ни шагу, еслибы эта связь не существовала въ дѣйствительности, еслибы она была только видимостію и мы не находили бы въ вещи тѣхъ свойствъ, которыя въ силу этой связи въ ней предполагаемъ. Точно также, мышленіе было бы невозможно, еслибы признаки вещей были хаотически перемѣшаны между собою.

Вотъ настоящій, притомъ весьма обыкновенный и простой смыслъ понятія о человѣческой головѣ. Спрашивается, какъ же относится къ нему Фейербахъ? Что значатъ его разсужденія въ отношеніи къ этому смыслу? Собственно говоря, Фейербахъ относится къ нему враждебно, и если его возраженія имѣли такой неловкій видъ, если они постоянно падали въ сторону, то это происходило только оттого, что они несогласны съ духомъ человѣческой рѣчи, что словами скорѣе можно намекнуть на нихъ, чѣмъ ихъ выразить.

Есть одно отправленіе человѣческой головы, противъ *одинаковости* котораго Фейербахъ выразился довольно ясно. Я отрицаю, говоритъ онъ, именно то представленіе, *по которому всѣ люди имѣютъ только одинъ разумъ.* Здѣсь дѣло достигаетъ наибольшей своей ясности.

Когда говорится, что у всѣхъ разумъ одинъ и тотъ же, то подъ разумомъ разумѣются неизмѣнные законы мысли, логическія формы, общія всѣмъ людямъ. Слѣдовательно въ этомъ самомъ смыслѣ говоритъ о разумѣ и Фейербахъ.

Совершенно подобнымъ образомъ говорится, напримѣръ, въ физикѣ, что всѣ тѣла падаютъ по одному закону, по закону Галилея. Что же хочетъ сказать Фей-

ербахъ въ отношеніи къ такимъ положеніямъ? Повидимому онъ думаетъ только утверждать, что законъ этотъ не одинъ въ ариѳметическомъ смыслѣ, что каждое тѣло падаетъ по своему собственному закону, хотя и совершенно одинаковому съ закономъ другихъ тѣлъ. Это совершенно справедливо, и даже само собою разумѣется. Но вслѣдъ за тѣмъ Фейербахъ начинаетъ утверждать, что этотъ новый взглядъ будто бы приноситъ большія выгоды. Такимъ образомъ, говоритъ онъ, у меня будетъ не одинъ законъ, а столько, сколько тѣлъ, слѣдовательно очень много законовъ. Точно также—столько разумовъ, сколько головъ, и слѣдовательно множество разумовъ. Спрашивается въ чемъ же тутъ выгода? Фейербахъ поясняетъ это такимъ примѣромъ: четыре глаза видятъ больше, чѣмъ два. Но если такъ, то значитъ одна пара глазъ видитъ одно, а другая другое. Слѣдовательно выгода получается, когда есть разница въ дѣйствіи. И такъ, если нѣсколько разумовъ лучше одного, то только потому, что они неодинаково дѣйствуютъ.

Неодинаковыя дѣйствія дѣйствительно даютъ въ совокупности различную сумму, одинаковыя же, сколько бы разъ ни были повторены, даютъ все тотъ же результатъ. Слѣдовательно, когда Фейербахъ находитъ невѣрнымъ положеніе, что у всѣхъ людей только одинъ разумъ, то онъ хочетъ этимъ сказать, что разумъ у людей бываетъ различный, неодинаково дѣйствующій и дающій различные результаты. „Разума вообще“ нѣтъ, какъ нѣтъ головы вообще; есть разумы, но не разумъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О томъ, что истина заключается въ томъ, чего нельзя сказать.

Въ началѣ „Феноменологіи Духа“ Гегель разсуждаетъ о *чувственной достовѣрности*. Разсматривая ея значеніе и опровергая неправильныя ученія о ней, Гегель указываетъ, какъ на самое ясное опроверженіе, на то явленіе, что эти ученія *не могутъ сказать* что̀ хотятъ, и если пробуютъ выражать свою мысль словами, то говорятъ прямо противное тому, что̀ думаютъ. Приведемъ эту блистательную аргументацію. Гегель вооружается противъ положенія: *реальность или бытіе внѣшнихъ вещей какъ этихъ, или какъ чувственныхъ, имѣетъ абсолютную истину для сознанія.*

„Такое утвержденіе само не знаетъ, что̀ говоритъ, „не знаетъ, что оно высказываетъ прямо противное тому, „что̀ хочетъ сказать. Истина чувственнаго этого есть „будто бы общій опытъ для сознанія; общій опытъ, „скорѣе, есть прямо противное; такую истину, какъ напр. „*здѣсь дерево, или теперь полдень*, всякое сознаніе не„премѣнно устраняетъ и высказываетъ противуположное ей: „здѣсь не дерево, а домъ; потомъ снова устраняетъ то, что̀ „въ этомъ положеніи, уничтожающемъ собою первое по„ложеніе, содержится какъ утвержденіе нѣкотораго чув-

„ственнаго *этого*, и т. д.; такъ что каждое сознаніе изъ „всей чувственной достовѣрности въ дѣйствительности „узнаётъ только *это*, какъ нѣчто *общее*, слѣдовательно „узнаётъ прямо противоположное тому, что̀, по утверж„денію, о которомъ мы говоримъ, составляетъ общій „опытъ. При этой ссылкѣ на общій опытъ позволитель„но будетъ, забѣгая впередъ, сдѣлать указаніе на прак„тику. Въ этомъ отношеніи, тѣмъ, которые признаютъ „истину и достовѣрность реальности чувственныхъ пред„метовъ, можно сказать, что они должны пройти сперва самую низшую школу мудрости, а именно древнія „элевсинскія мистеріи Цереры и Бахуса, и должны сперва „проникнуть въ таинство ѣды и питья, потому-что тотъ, „кто посвященъ въ эти тайны, нетолько начинаетъ со„мнѣваться въ бытіи чувственныхъ вещей, но даже со„вершенно отчаявается въ этомъ бытіи и съ одной сто„роны самъ производитъ въ нихъ ихъ ничтожество, съ „другой стороны умѣетъ видѣть, какъ онѣ сами его „производятъ. Впрочемъ, самыя животныя не лишены „этой премудрости; оказывается даже, что они глубо„чайшимъ образомъ посвящены въ нее, ибо они не оста„навливаются передъ бытіемъ чувственныхъ предметовъ, „но, вполнѣ сомнѣваясь въ ихъ реальности и въ пол„номъ убѣжденіи въ ихъ ничтожествѣ, безъ всякихъ „околичностей прямо хватаютъ ихъ и пожираютъ; да и „вся природа, подобно имъ, празднуетъ эти открытыя „мистеріи, научающія насъ тому, что̀ есть истиннаго „въ чувственныхъ вещахъ.

„Тѣ, которые дѣлаютъ такое утвержденіе, высказыва„ютъ однакоже, какъ мы замѣтили, непосредственно про„тивоположное тому, что̀ думаютъ; вотъ явленіе, кото„рое всего удобнѣе можетъ навести на мысль объ истин-

„ной природѣ чувственной достовѣрности. Они говорятъ „о бытіи *внѣшнихъ* предметовъ, которые могутъ быть „еще точнѣе опредѣлены, какъ *дѣйствительныя*, абсо„лютно *единичныя*, вполнѣ *личныя*, *индивидуальныя* ве„щи, изъ коихъ каждая уже не имѣетъ другой себѣ „абсолютно-равной. Они думаютъ объ листкѣ бумаги, на „которомъ я вотъ это пишу или, скорѣе, написалъ; но „то, что̀ они думаютъ, они не говорятъ. Еслибы они „дѣйствительно хотѣли *сказать* объ этомъ листкѣ бу„маги, а они о немъ хотятъ *сказать*, то это было бы „невозможно; ибо, чувственное это, о которомъ они ду„маютъ, *недостижимо* для языка, принадлежащаго лишь „сознанію, лишь общему въ себѣ. Такъ что, пока пы„тались бы сказать (выразить) его, листокъ успѣлъ бы „сгнить: тѣ, кто началъ бы его описаніе, не могли бы „его кончить и должны бы были предоставить это дру„гимъ, которые наконецъ сознались бы, что они гово„рятъ о вещи несуществующей. И такъ, они конечно „имѣютъ въ мысли *этотъ* листокъ, который лежитъ „здѣсь и совсѣмъ не то, что вонъ тотъ, который повыше; „но если они заговорятъ, то у нихъ выйдутъ: *дѣйстви„тельныя вещи*, *внѣшніе* или *чувственные предметы*, „*абсолютно единичныя* существа и т. д.; то есть, они „говорятъ о нихъ только *общее*; поэтому то, что̀ назы„вается невыразимымъ, есть ничто иное, какъ неистин„ное, неразумное, только мнимое (думаемое). Если о чемъ „нибудь ничего не сказано, кромѣ того, что оно *дѣй„ствительная вещь*, *внѣшній предметъ*, то этимъ нѣчто „обозначено только какъ самое общее, и выражено скорѣе „его *равенство* со всѣмъ другимъ, чѣмъ его различіе. Если „я говорю: *единичная вещь*, то означаю предметъ какъ „нѣчто совершенно *общее*, ибо всѣ вещи суть единичныя

„вещи; и точно также „*эта* вещь“ есть все что угодно. Въ „частности, если я говорю: *этотъ листокъ бумаги*, то оказы„вается, что *всякая* и *каждая* бумага есть *нѣкоторый этотъ* „листокъ бумаги, и я сказалъ все-таки только общее. Языкъ, „въ силу своей божественной природы, непосредственно „переворачиваетъ *мнѣніе*, дѣлаетъ изъ него нѣчто другое, „не даетъ ему даже *слова молвить*; если же я вздумаю „помочь себѣ тѣмъ, что *укажу* на этотъ листокъ бумаги, то „я на опытѣ узнаю, что̀ такое въ дѣйствительности истина „чувственной достовѣрности: я указываю на него какъ „на нѣкоторое *здѣсь*, которое есть „здѣсь“ другихъ *здѣсь*, „или въ себѣ самомъ *простая совокупность* многихъ „*здѣсь*, т. е. какъ на нѣчто общее; я принимаю его такъ, „какъ оно есть въ дѣйствительности, и вмѣсто того чтобы „знать нѣчто непосредственное, я *воспринимаю*“. *).

---

*) *Примѣчаніе*. Такъ какъ изложеніе Гегеля можетъ показаться темнымъ, то, оставляя въ текстѣ его точныя слова, попробую въ этомъ примѣчаніи изложить дѣло своими словами.

Когда передъ нами дерево, то мы можемъ засвидѣтельствовать его бытіе сказавши: здѣсь дерево; но, черезъ минуту, если мы подойдемъ къ дому, должны будемъ сказать: здѣсь домъ; еще далѣе: — здѣсь рѣка, здѣсь поле и т. д. И такъ одна достовѣрность чувственнаго познанія смѣняется другою, другая третьею, и т. д., но сознаніе при этомъ ничего не пріобрѣтаетъ, никакой мысли, никакой абсолютной истины, кромѣ только общей формы *здѣсь*, общаго представленія, что существуютъ вещи, которыя можно воспринимать, объ каждой изъ которыхъ можно бываетъ сказать: вотъ она здѣсь.

Слѣдовательно, сколько бы разъ мы такимъ образомъ ни пересматривали вещи, мы не найдемъ въ нихъ никакой большей или существеннѣйшей реальности, чѣмъ та, которая выражется опредѣленіемъ: когда онѣ на лицо, о нихъ можно сказать: вотъ онѣ, онѣ существуютъ.

Между тѣмъ, мы ищемъ не такой реальности; мы хотимъ реальности неизмѣнной, пребывающей; такъ, напримѣръ, матеріалистъ не ограничивается тѣмъ, что признаетъ существованіе предметовъ пока о нихъ ему свидѣтельствуютъ чувства; онъ признаетъ въ нихъ больше, признаетъ въ нихъ вѣчную, неисчезающую матерію. Только та-

Вотъ отрывокъ, который можетъ пояснить многое, о чемъ мы говорили выше. Здѣсь указывается на природу мысли и языка, на ихъ существенныя свойства, недопускающія уклоненій. Фейербахъ очевидно противится мысли и языку.

Вотъ отчего онъ находитъ слова двусмысленными, вотъ отчего множественное число ему кажется лучше единственнаго; вотъ отчего наконецъ онъ такъ часто говоритъ не то, что хотѣлъ сказать.

Что касается до мысли, то, упорно сопротивляясь ей, онъ все таки конечно не могъ выбиться изъ заколдованнаго круга. Онъ остановился только на самой тощей, на самой отвлеченной мысли, какая только существовала. Его истина есть самая малая, самая бѣдная, наименѣе *выгодная*, говоря его собственнымъ выраженіемъ. Побѣда и сокровище физика заключается въ томъ, что онъ на-

---

кимъ образомъ чувственныя вещи пріобрѣтаютъ въ его глазахъ дѣйствительную субстанціальность, настоящую реальность.

Такой реальности, однако же, чувственные предметы, какъ чувственные, не имѣютъ; объ такой реальности чувства намъ не свидѣтельствуютъ. Напротивъ, чувственная достовѣрность убѣждаетъ насъ, что всѣ предметы имѣютъ только преходящее бытіе. Все въ природѣ непостоянно; все сперва возникаетъ и потомъ разрушается. Гегель называетъ это открытыми мистеріями, которыя празднуетъ вся природа. Заговоривъ о пищѣ и питьѣ, онъ указываетъ этимъ на безконечныя превращенія органическаго міра, въ которомъ эти мистеріи совершаются съ наибольшею ясностію. Всего разительнѣе примѣръ животныхъ: оказывается, что чувственныя вещи пожираютъ одна другую, что одна реальность поглощаетъ другую.

Чтобы отыскать ту реальность, которая имѣетъ абсолютную истину для сознанія, матеріалистамъ ничего не остается, какъ держаться крѣпче за атомы, за эти воображаемыя неизмѣнныя тѣла. Такимъ образомъ, и эта грубая и несостоятельная фикція свидѣтельствуетъ все о томъ же свойствѣ человѣческой мысли: какъ скоро мышленіе начинаетъ дѣйствовать, какъ скоро не останавливается на одномъ воспріятіи, оно подвергаетъ сомнѣнію абсолютную истину реаль-

ходитъ *общій законъ*, напр. законъ паденія тѣлъ. А что выходитъ изъ этого по Фейербаху? Общаго закона нѣтъ. Каждое тѣло слѣдуетъ своему закону. Эти законы только тамъ существуютъ, гдѣ тѣла падаютъ, и только тогда существуютъ, пока тѣла падаютъ.

Но что же значитъ все это толкованіе?

Оно значитъ только, что каждое *паденіе совершается опредѣленнымъ образомъ, въ опредѣленномъ мѣстѣ и въ опредѣленное время*,—истина очень общая и отвлеченная, гораздо общѣе и отвлеченнѣе, чѣмъ законъ физика, ближе опредѣляющій, какъ происходитъ дѣло. Фейербахъ хочетъ сказать о каждомъ тѣлѣ въ особенности, но противъ воли и неизбѣжно говоритъ о *всѣхъ* тѣлахъ; онъ хотѣлъ бы выразить нѣчто болѣе идущее въ частность, но противъ воли и неизбѣжно впадаетъ еще въ большую общность.

ности чувственныхъ предметовъ и приписываетъ реальность и существенность чему-то другому.

Какова мысль, таковъ и языкъ, такъ какъ, въ корнѣ, природа мысли и языка одинакова. Если нельзя иначе мыслить, то нельзя иначе и говорить. Поэтому Гегель справедливо указываетъ на непреодолимую, такъ-сказать *физическую* невозможность говорить о вещахъ какъ объ этихъ, какъ о чувственныхъ, единичныхъ предметахъ. Когда я говорю: *тотъ предметъ, который я видѣлъ*, то положимъ при этомъ я имѣю въ мысли именно единичный, видѣнный мною предметъ; но слова мои все таки выражаютъ нѣчто общее и даже весьма отвлеченное. Для того, кто слышитъ меня, мой предметъ нисколько не опредѣляется; ибо я могъ видѣть *всякій* предметъ. Если я далѣе буду описывать моему слушателю форму предмета, его цвѣтъ и такъ далѣе, то онъ будетъ себѣ представлять *всякіе* предметы, имѣющіе такую форму, *всякіе* предметы, имѣющіе такой цвѣтъ и пр. Если я прибавлю, что это особый, единичный предметъ, то онъ, и будетъ думать о немъ, какъ думаетъ о *всякомъ* единичномъ, особомъ предметѣ. Такъ что, для того, чтобы онъ дѣйствительно узналъ его, остается одно средство: указать предметъ пальцемъ, или указать пальцемъ дорогу къ нему, или сдѣлать какое нибудь другое подобное указаніе.

Все это не могло ускользнуть отъ самого Фейербаха и потому онъ принялъ всѣ эти слѣдствія, вытекающія изъ его точки зрѣнія. Онъ призналъ языкъ неправильною формою мысли, вовлекающею насъ въ софизмы, и прямо высказалъ, что истина заключается въ томъ, чего *нельзя сказать.*

Замѣчательное мѣсто, въ которомъ онъ выражаетъ эти свои мысли, составляетъ опроверженіе или скорѣе поясненіе того отрывка изъ „Феноменологіи Духа", который мы только-что привели. Оно находится въ статьѣ „Философія Будущаго" (1843 г.) и составляетъ въ ней 28-й параграфъ. Въ началѣ стоитъ общее положеніе, направленное противъ Гегеля.

Во всякомъ случаѣ на словахъ дѣло обойтись не можетъ; необходимо прибѣгнуть къ *воспріятію.*

Что же это значитъ? Какъ говоритъ Гегель, это показываетъ божественную природу языка. Языкъ есть форма мысли, а мысль никогда не можетъ совпасть со воспріятіемъ. Мысль идетъ отъ воспріятія; она можетъ быть обращена къ воспріятію; но перестать быть сама собою она не можетъ. Воспріятіе многообразно и дробно; мысль представляетъ единство и сосредоточенность.

Такимъ образомъ Гегель чрезвычайно глубоко и вѣрно указалъ на то, въ какомъ отношеніи (или въ какомъ противорѣчіи) находятся мысль и слово къ такъ называемой дѣйствительности, къ бытію чувственныхъ предметовъ, къ свидѣтельству чувственной достовѣрности. Съ нѣкоторой наивной грубостью онъ отталкиваетъ отъ себя эту чувственную очевидность, ибо ясно видитъ, что мысль и слово никогда на ней не останавливаются, а постоянно выдвигаютъ изъ-за нея другой міръ,—міръ сущностей болѣе реальныхъ, чѣмъ чувственные предметы.

Фейербахъ хорошо это понимаетъ; но, ставши на эту же точку, онъ повернулъ прямо въ противоположную сторону. Гегель вѣритъ въ мысль и слово; Фейербахъ же отчаявается въ мысли и словѣ, и потому не хочетъ отойти отъ единственной достовѣрности, которая ему осталась, отъ воспріятія. Поэтому Фейербахъ всего непослѣдовательнѣе тамъ, гдѣ онъ скрываетъ свое отчаяніе и начинаетъ говорить о разумѣ, присущемъ дѣйствительности, о знаніи, о мышленіи.

„*Гегелевская философія* не возвысилась *надъ проти-*
„*ворѣчіемъ мышленія и бытія.* То *бытіе, съ котораго на-*
„*чинаетъ Феноменологія*, находится, не менѣе какъ и *то*
„*бытіе, отъ котораго отправляется Логика, въ прямѣй-*
„*шемъ противорѣчіи съ дѣйствительнымъ бытіемъ*".

„Это противорѣчіе обнаруживается въ Феноменологіи
„въ формѣ *этого* и *общаго*, ибо единичное принадлежитъ
„бытію, общее—мышленію. Въ Феноменологіи „это" съ
„„этимъ" сливается совершенно неразличимо для мысли:
„но какое страшное различіе между „этимъ", какъ объек-
„томъ отвлеченнаго мышленія, и тѣмъ-же самымъ „этимъ",
„какъ объектомъ дѣйствительности! *Эта* жена, напр., есть
„*моя* жена, *этотъ* домъ есть *мой* домъ, хотя каждый го-
„воритъ о своемъ домѣ и своей женѣ такъ-же какъ и я:
„этотъ домъ, эта жена. И такъ, равнодушіе и безразли-
„чіе логическаго „этого", разрывается и уничтожается
„здѣсь чувствомъ права".

„Еслибы мы вздумали логическому „этому" дать силу
„въ естественномъ правѣ, то мы прямо бы пришли къ
„общенію имуществъ и женъ, гдѣ нѣтъ никакого разли-
„чія между тою и этою, гдѣ каждый имѣетъ каждую,—
„или-же скорѣе прямо къ отрицанію всякаго права; ибо
„право основывается только на реальности различія „того"
„и „этого".

„Въ началѣ Феноменологіи мы имѣемъ передъ собою
„ничто иное, какъ противорѣчіе между *словомъ*, которое
„обще, и *дѣломъ*, которое всегда есть нѣкоторое единич-
„ное. И мысль, которая опирается только на слово, не
„возвышается надъ этимъ противорѣчіемъ. Но, какъ слово
„не есть дѣло, такъ-же точно—*сказанное* или *мыслимое*
„бытіе не есть дѣйствительное бытіе. Если на это возра-
„зятъ, что у Гегеля рѣчь идетъ о бытіи не съ практи-

„ческой точки зрѣнія, какъ здѣсь, а съ теоретической, „то на это слѣдуетъ отвѣтить, что здѣсь именно на мѣстѣ „практическая точка. Вопросъ о бытіи есть именно прак„тическій вопросъ, вопросъ, въ которомъ участвуетъ наше „бытіе, вопросъ о жизни и смерти. И если мы вправѣ „крѣпко держаться за наше бытіе, то мы не дадимъ и „логикѣ отнять его у насъ. Оно должно быть признано „за нами и логикою, если она не хочетъ остаться въ „противорѣчіи съ дѣйствительнымъ бытіемъ. Впрочемъ, „практическая точка зрѣнія,—точка зрѣнія ѣды и питья, „указана самою Феноменологіею для опроверженія исти„ны чувственнаго, т. е. единичнаго бытія. Но и здѣсь, я „обязанъ своимъ существованіемъ ничуть и никоимъ обра„зомъ словесному или логическому хлѣбу, хлѣбу in ab„stracto,—а всегда только *этому* хлѣбу, *„несказанному“* „(или лучше несказуемому). Бытіе, основанное чисто на „несказуемостяхъ, есть поэтому само нѣчто неска„зуемое. Именно несказуемое. Гдѣ прекращаются слова, „только тамъ начинается жизнь, раскрывается тайна бы„тія. Если поэтому несказуемость есть неразумность, то „всякое существованіе, такъ какъ оно всегда и непремѣнно „есть *это* существованіе, есть неразуміе. Но оно не есть „неразуміе. Существованіе само по себѣ, и безъ сказуе„мости, имѣетъ смыслъ и разумность“.

Конецъ параграфа. И такъ, дѣло ясное. Существованіе есть нѣчто такое, чего нельзя сказать, такъ какъ оно есть всегда *это* существованіе. Существованіе имѣетъ смыслъ и разумность, но этого смысла и разумности сказать нельзя; ибо они начинаются какъ-разъ тамъ, гдѣ прекращаются слова.

Фейербахъ говоритъ, что въ этомъ его параграфѣ, а равно въ началѣ Феноменологіи и въ началѣ Логики у

Гегеля, *дѣло идетъ о жизни и смерти*; онъ опасается, что логика *отниметъ* у него его бытіе. Онъ, очевидно, ошибается; дѣло идетъ вовсе не объ этомъ, дѣло идетъ о томъ, можно ли мыслить и говорить такъ, какъ мыслитъ и говоритъ Фейербахъ. И оказывается, что логика отнимаетъ у него не бытіе, а только право на такія рѣчи и мысли, что такъ мыслить и говорить нельзя, не слѣдуетъ.

И въ самомъ дѣлѣ, что̀ сказалъ Фейербахъ? Меня питаетъ вотъ этотъ хлѣбъ; мой домъ вотъ этотъ домъ и моя жена вотъ эта женщина; жизнь начинается тогда, когда я перестаю говорить, и таинство бытія открывается мнѣ тамъ, гдѣ прекращается мысль.

Спрашивается, можно-ли сказать что-нибудь, что бы заключало въ себѣ еще менѣе содержанія? *Не есть ли это одно отвлеченное тыканье пальцемъ?* По Фрейербаху выходитъ, что *тайна* бытія открывается очень легко; стоитъ только направить указательный палецъ на свой домъ, свою жену или свой хлѣбъ и тотчасъ можно сказать: вотъ оно! Вотъ *дѣйствительное* бытіе! Это будетъ вполнѣ справедливо; но нельзя не согласиться съ Гегелемъ, что эта тайна есть наименѣе глубокая изъ всѣхъ тайнъ, это открытіе самое маловажное изъ всѣхъ открытій и эта истина самая бѣдная изъ всѣхъ истинъ.

ГЛАВА IV.

Теорія „свирѣпой имманентности“, или то, что̀ называется матеріализмомъ Фейербаха.

Свирѣпая имманентность—выраженіе, принадлежащее Хомякову. Въ одномъ изъ частныхъ разговоровъ, о которомъ потомъ появились нѣкоторыя печатныя указанія, онъ назвалъ такъ то существенное свойство, которое должно принадлежать міру по ученію Фейербаха. Предъидущіе опыты истолкованія нѣкоторыхъ мѣстъ Фейербаха, какъ намъ кажется, уясняютъ ту оригинальную и чрезвычайно скользкую точку зрѣнія, на которой старается держаться этотъ философъ, и изъ которой возникаетъ эта теорія „свирѣпой имманентности“. Въ общихъ чертахъ это міросозерцаніе можно представить слѣдующимъ образомъ:

Нѣтъ никакого различія между явленіемъ и сущностью. Сущность вся, цѣликомъ и безъ остатка, переходитъ въ явленіе; она имманентна явленію. Такимъ образомъ, можно сказать даже наоборотъ: существенное въ явленіи есть именно то, что оно—явленіе; существенное въ каждой вещи не то, что̀ въ ней общее, а то, что̀ въ ней частное; существенное именно то, что̀ обыкновенно считается несущественнымъ, случайное, индивидуальное, единичное.

Явленія представляютъ разнообразіе и множество; та-

кова и сущность: она состоитъ въ разнообразіи и множествѣ. Нѣтъ въ мірѣ ничего единаго и цѣлаго; существуетъ только множество и части. Нѣтъ въ мірѣ никакого средоточія и никакой связи; средоточіе каждой вещи въ ней самой, каждая вещь потому только и существуетъ, что она отдѣльна, не связана съ другими. Каждая точка въ пространствѣ, каждый атомъ существуетъ отдѣльно, самъ по себѣ, и это-то и есть настоящее существованіе.

Въ отношеніи ко времени, существуетъ только то, что̀ совершается теперь, сейчасъ, въ настоящее мгновеніе. Это мгновеніе исчерпываетъ собою все, что̀ дѣйствительно существуетъ въ вещахъ. Каждая слѣдующая минута пожираетъ безъ остатка предъидущую и, въ свою очередь, пожирается слѣдующею. Пребывающаго и постояннаго нѣтъ ничего. Пока явленіе совершается, до тѣхъ поръ только существуетъ его сущность; какъ скоро явленіе прекращается, исчезаетъ и его сущность.

Вотъ общія положенія, къ которымъ пришелъ Фейербахъ. Объ нихъ можно бы много распространиться, ибо они заключаютъ въ себѣ основаніе для *безчисленныхъ отрицаній*. Въ самомъ дѣлѣ, въ концѣ концовъ взглядъ Фейербаха есть ничто иное какъ *отрицаніе мысли*, а слѣдовательно и отрицаніе безчисленныхъ ея проявленій.

Нѣкоторыя изъ этихъ отрицаній мы и привели, какъ разительные примѣры такого поворота мысли. Напримѣръ, Фейербаху кажется страннымъ изданіе полнаго собранія сочиненій, ибо для него существуютъ только тѣ мысли, которыя онъ питаетъ теперь, въ данную минуту. Онъ хочетъ быть послѣдовательнымъ, и потому желалъ бы на себѣ, на своей философіи оправдать и олицетворить свое міросозерцаніе. *Я признаю только то, что̀*

думаю теперь, въ сію минуту; все остальное поглощено и не существуетъ. Зачѣмъ же тутъ полное собраніе сочиненій?

Точно также Фейербахъ отрицаетъ существенность общихъ понятій, напр. голова, разумъ и пр. Безъ сомнѣнія каждый изъ насъ, даже думая о своей собственной головѣ и о своемъ собственномъ разумѣ, прежде всего понимаетъ ихъ какъ человѣческую голову и какъ человѣческій разумъ. Фейербахъ находитъ, что въ такомъ случаѣ мы думаемъ о томъ, чего нѣтъ; онъ желалъ бы, чтобы мы понимали каждую голову исключительно какъ частную голову, и каждый разумъ, только какъ частный, единичный разумъ. Тогда мы будемъ въ истинѣ.

Но, такъ какъ мы мыслимъ и говоримъ не иначе, какъ общими понятіями, такъ какъ частныя вещи мы только *воспринимаемъ* въ ихъ частности, но говорить и мыслить объ нихъ въ ихъ частности не можемъ, то Фейербахъ отрицаетъ самый языкъ, какъ выраженіе истины. Истина заключается въ томъ, чего нельзя сказать, что̀ недоступно слову. Слова заключаютъ въ себѣ фальшь, языкъ представляетъ постоянный обманъ. Отсюда прямое слѣдствіе: мысль есть софизмъ и истина заключается въ одномъ *воспріятіи*.

Вотъ взглядъ Фейербаха. Мы назвали его—*теоріею свирѣпой имманентности*; но обыкновенно его называютъ матеріализмомъ, и самъ Фейербахъ не прочь отъ такого названія. Можно однако же легко показать, чѣмъ отличается взглядъ Фейербаха отъ настоящаго матеріализма; это разграниченіе послужитъ вмѣстѣ еще къ большему уясненію Фейербаховой мысли.

Матеріалисты не признаютъ той имманентности, на которой держится все ученіе Фейербаха; они, подобно

всѣмъ догматикамъ, слѣдовательно, подобно обыкновенному ходу и пріему мысли людей нефилософствующихъ, полагаютъ строгое различіе между сущностью и явленіемъ. Сущность будетъ—матерія, неизмѣнная, вѣчная и проч. Все остальное будутъ только явленія. Вся мудрость состоитъ въ томъ, чтобы вещи несущественныя, т. е. явленія, вывести и объяснить изъ сущности, т. е. изъ матеріи.

Очевидно, по взгляду Фейербаха то, что̀ называется матеріей, существуетъ меньше, чѣмъ что бы то ни было другое. Существуютъ тѣла, но не матерія. И даже тѣла не существуютъ; существуютъ одни процессы, явленія, превращенія. Все течетъ, какъ говорилъ Гераклитъ, и кромѣ теченія ничего нѣтъ.

Чтобы пояснить дѣло, мы возьмемъ частный примѣръ, который наглядно изобразитъ намъ эти отвлеченныя различія. Въ § 42 той-же статьи, „Философіи будущаго", Фейербахъ, между прочимъ, говоритъ:

„Мы чувствуемъ не только камни и дерево, не только плоть и кости, когда жмемъ руки или губы чувствующаго существа; мы воспринимаемъ ушами не только журчаніе воды и шелестъ листьевъ, но и полный души голосъ любви и мудрости; мы видимъ не одни отражающія поверхности и цвѣтные спектры, мы смотримъ также во взглядъ человѣка. И такъ, предметъ (внѣшнихъ), чувствъ есть не только внѣшнее, но и *внутреннее*, не только плоть, но и *духъ*, нетолько вещь, но и *я*".

Вотъ слова, которыя могъ сказать только одинъ Фейербахъ, которыя рѣзко противорѣчатъ и матеріализму и всякому другому взгляду не доходящему до *свирѣпости* фейербаховой теоріи.

Нашими ушами мы слышимъ голосъ мудрости. Вотъ

явленіе; попробуемъ опредѣлить, въ чемъ заключается его сущность.

Во первыхъ, мы воспринимаемъ физическіе *звуки*, точно такіе звуки, какіе образуются журчаніемъ воды или шелестомъ листьевъ. Очевидно, не въ нихъ заключается сущность.

Эти звуки въ извѣстномъ совокупленіи составляютъ *слова*, но и не въ словахъ еще сущность.

Слова эти имѣютъ извѣстное *значеніе*; но и не въ этомъ значеніи сущность.

Сочетанія словъ и слѣдовательно сочетанія ихъ значеній образуютъ наконецъ *смыслъ*, который можетъ быть глубокимъ смысломъ, можетъ быть мудростью. И вотъ гдѣ настоящая сущность.

Очевидно, явленіе здѣсь совершенно ясно распадается на свои существенныя, центральныя точки и на то, что составляетъ ихъ проявленіе. Слушая рѣчь мудраго человѣка, мы знаемъ, въ чемъ сущность, и прямо къ ней стремимся. Насъ занимаютъ не движеніе губъ и языка, не дрожаніе гортанныхъ тяжей, не слова,—а смыслъ рѣчи. Это различіе между сущностью и явленіемъ необходимо признаетъ и матеріалистъ. И для матеріалиста сущность заключается здѣсь не въ звуковыхъ дрожаніяхъ, а въ тѣхъ процессахъ мозга, которые, по его предположенію, составляютъ мудрость.

Но такъ какъ Фейербахъ считаетъ сущность имманентною явленію, то онъ никакъ не хочетъ ихъ раздѣлить другъ отъ друга. Онъ сливаетъ всѣ части явленія, сдвигаетъ все его пространство въ одну линію. Онъ взялъ явленіе на самомъ его внѣшнемъ краю, на звукѣ, и увѣряетъ, что въ этомъ звукѣ уже все есть, и смыслъ, и душа, и мудрость, что и смыслъ, и душу, и мудрость

говорящаго человѣка мы воспринимаемъ *точно* такъ же, какъ журчаніе воды и шелестъ листьевъ.

Вотъ гдѣ несомнѣннымъ образомъ открывается несостоятельность фейербаховой теоріи. Человѣкъ и его явленія—вотъ пробный камень всякаго взгляда.

Въ человѣкѣ сущность и явленіе не совпадаютъ, хотя и находятся въ удивительно-строгой гармоніи между собою. Отсюда выходитъ, что важность или существенность явленій человѣческаго міра весьма различна: она опредѣляется тою мѣрою и степенью, въ которой въ явленіи выражается сущность.

Въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ есть нѣчто строго единое и цѣлое. Онъ есть существо глубоко сосредоточенное. Поэтому нельзя сказать, что въ немъ части существуютъ каждая сама по себѣ; напротивъ, части имѣютъ значеніе только въ цѣломъ. Вслѣдствіе этого объединенія, вслѣдствіе того, что части не только тѣсно связаны, но и правильно соподчинены, мы можемъ различать въ человѣкѣ части болѣе существенныя и части менѣе существенныя; мы можемъ, такъ сказать, измѣрять разстояніе каждой части отъ ихъ общаго центра.

Въ отношеніи ко времени, человѣкъ представляетъ точно также строгое сосредоточеніе. Нѣтъ такой минуты, когда бы человѣкъ могъ сказать: теперь я все, чѣмъ могу быть, теперь я вполнѣ выражаю собою свою сущность. Поэтому минуты человѣческаго бытія различаютъ-тя по своей важности и существенности, и ни одна изъ нихъ не содержитъ всего человѣка.

ГЛАВА V.

Мнѣніе Хомякова о происхожденіи современнаго матеріализма.

Хомяковъ производитъ современный нѣмецкій матеріализмъ отъ Фейербаха, а черезъ Фейербаха отъ Гегеля. Въ своей статьѣ о *современныхъ явленіяхъ въ области философіи* (см. Собр. Соч. Хомякова, Т. 1) онъ объясняетъ, что школа Гегеля перешла въ современный матеріализмъ и что блистательнѣйшее средоточіе этой школы составляетъ Фейербахъ.

И такъ, вообще Хомяковъ видитъ въ современномъ матеріализмѣ, во первыхъ, *нѣчто новое*, а во вторыхъ, *нѣчто логически вытекающее* изъ предъидущаго состоянія философіи, когда господствовало гегельянство. Чтобы оправдать такое объясненіе, онъ прибѣгаетъ къ той самой методѣ, которую ввелъ Гегель въ исторію философіи, къ тому *закону полярности*, помощію котораго Гегель выводилъ каждую философскую систему изъ системы ей предшествовавшей. Очень страннымъ можетъ казаться то, говоритъ Хомяковъ, что ученіе, правда рацiоналистическое, но въ высшей степени отвлеченное (ученіе Гегеля), перешло прямо въ противоположную крайность матеріализма. Но, замѣчаетъ онъ, это—явленіе, постоянно возвращающееся въ исторіи философіи и въ исторіи религій.

„Крайность самоубійственнаго Йогизма истекаетъ изъ „тѣхъ же началъ шиваизма, изъ которыхъ истекаетъ и „крайнее развитіе физическаго разврата. Отвлеченнѣйшее „изъ всѣхъ вѣроученій, буддаизмъ, съ одной стороны „разрѣшается въ созерцательный нигилизмъ, а съ другой—переходитъ въ самый грубый фетишизмъ. Словомъ, „односторонняя мысль, или, лучше сказать, односторонняя ложь мысли, заключаетъ въ себѣ или поставляетъ „по необходимости ложь противоположной односторонности, по закону полярности, точно такъ, какъ римскій „католицизмъ не могъ не разрѣшиться въ протестантство (Т. 1, стр. 303)“.

Еслибы такое мнѣніе было справедливо, т. е. еслибы современный матеріализмъ дѣйствительно логически вытекалъ изъ великой системы Гегеля, то этотъ матеріализмъ имѣлъ-бы великую важность. Но за нимъ невозможно признать такой почетной генеалогіи. *Теорія свирѣпой имманентности*—вотъ взглядъ, который дѣйствительно имѣетъ корни въ гегельянствѣ, составляетъ, какъ мы отчасти видѣли, извѣстнаго рода отрицаніе гегельянства и, потому, можетъ быть производимъ изъ него по закону полярности. Но Хомяковъ неправильно смѣшалъ эту скользкую и трудно уловимую точку зрѣнія съ грубымъ матеріализмомъ, получившимъ ходъ въ Германіи. Свой матеріализмъ матеріалисты понимаютъ очень хорошо; въ этой *понятности* заключается даже главная причина заразительности матеріализма; Фейербаха-же они вовсе не понимаютъ, какъ вообще не понимаютъ никакой философіи.

Чтобы убѣдиться въ этомъ различіи, посмотримъ на самый выводъ, которымъ Хомяковъ производитъ матеріализмъ изъ Гегеля.

„Критика“, говоритъ онъ, „сознала одно,—полную не-„состоятельность гегельянства, силившагося создать міръ „безъ субстрата. Ученики его не поняли того, что въ „этомъ-то состояла задача учителя, и очень просто-„душно вообразили себѣ, что только стоитъ ввести въ „систему этотъ недостающій субстратъ, и дѣло будетъ „слажено. Но откуда взять субстратъ? Духъ очевидно „негодился, вопервыхъ потому, что самая задача Гегеля „прямо выражала себя какъ исканіе процесса, созидаю-„щаго духъ; а вовторыхъ и потому, что самый харак-„теръ Гегелева раціонализма, въ высшей степени идеали-„стическій, вовсе не былъ спиритуалистическимъ. И вотъ, „самое отвлеченное изъ человѣческихъ отвлеченностей,— „гегельянство—прямо хватилось за вещество и перешло „въ чистѣйшій и грубѣйшій матеріализмъ. Вещество „будетъ субстратомъ, а затѣмъ *система Гегеля сохра-„нится, т. е. сохранится терминологія, бо́льшая часть „опредѣленій, мысленныхъ переходовъ, логическихъ пріе-„мовъ* и т. д., сохранится, однимъ словомъ, то, что можно „назвать фабричнымъ процессомъ гегелева ума. Не до-„жилъ великій мыслитель до такого посрамленія, но „можетъ быть и не осмѣлились бы его ученики рѣшиться „на такое посрамленіе учителя, еслибы гробъ не скрылъ „его грознаго лица“.

Здѣсь ясно, что попасть на правду Хомякову помѣшало только предвзятое убѣжденіе, что Фейербахъ въ извѣстной точкѣ вполнѣ совпадаетъ съ грубымъ матеріализмомъ. Какъ мы видѣли, вещество вообще — еще меньше существуетъ для Фейербаха, чѣмъ голова вообще. Нетолько не беретъ Фейербахъ вещества за субстратъ, скорѣе можно сказать, что онъ вовсе не ищетъ и не хочетъ никакого субстрата. Онъ какъ будто хочетъ ска-

зать: субстрата не нашли и не создали, да онъ и не нуженъ; всякое его исканіе и созиданіе есть ложь и софизмъ.

Матеріалисты же напротивъ легко поддаются этому софизму, столь свойственному человѣческому уму; они прямо хватаются за первое, что̀ можетъ играть роль субстрата и признаютъ истиннымъ субстратомъ міра вещество.

Еще больше подтверждаютъ нашу мысль тѣ слова въ отрывкѣ Хомякова, которыя мы подчеркнули. Онъ увѣряетъ, что въ этомъ матеріализмѣ *сохраняется терминологія Гегеля, бо́льшая часть опредѣленій* и пр. Это вполнѣ справедливо относительно Фейербаха, но совершенно невѣрно относительно матеріализма. Фейербахъ дѣйствительно—гегельянецъ въ каждомъ своемъ словѣ; пріемы его мысли, его логическіе переходы—чисто гегелевскіе. Онъ самъ ни разу даже не пробовалъ объяснить, чѣмъ разнится его діалектика отъ гегелевской, гдѣ тотъ поворотъ въ методѣ, на которомъ онъ разошелся съ Гегелемъ. Мысль его очевидно движется по той же линіи, какую описываетъ мысль Гегеля; но, между тѣмъ какъ Гегель свободно направляется и въ ту, и въ другую сторону, Фейербахъ упорно пятится къ одному концу.

Совершенно другое дѣло матеріалисты. Если судить по ихъ *терминологіи, опредѣленіямъ, логическимъ пріемамъ* о происхожденіи матеріализма, то обмануться здѣсь нѣтъ никакой возможности. Гегелевскаго здѣсь ничего нѣтъ. Весь логическій строй современныхъ матеріалистовъ получилъ свое начало вполнѣ и несомнѣнно отъ Декарта, отъ того самого Декарта, который сказалъ: „дайте мнѣ вещество и движеніе, и я построю вамъ міръ“. Вотъ генеалогія матеріализма, которую можно подтвердить безчисленными доказательствами.

Какъ натуралисты нашего времени идутъ все по тому

же пути, по которому шла эпоха возрожденія, по пути Коперника и Галилея, такъ точно современные матеріалисты въ логическомъ отношеніи ничѣмъ не отличаются отъ матеріалистовъ, порожденныхъ когда-то школою Декарта. Фактъ этотъ такъ ясенъ, что не допускаетъ никакого сомнѣнія.

И такъ въ нѣмецкомъ матеріализмѣ нѣтъ ничего новаго, а если такъ, то и нельзя его выводить изъ предъидущаго философскаго настроенія. Онъ не слѣдуетъ логически изъ гегельянства, не порожденъ изъ него по закону полярности, а объясняется въ своемъ историческомъ появленіи другимъ закономъ, именно той боязнью пустоты, horror vacui, которая свойственна человѣческому духу и на которую сводятся многія явленія человѣческой исторіи. Все равно, какъ и почему, но только философія утратила свою власть надъ умами въ Германіи; она оставила послѣ себя пустое, незанятое мѣсто, и вотъ матеріализмъ, который никогда не исчезалъ со временъ Декарта, занялъ собою это свободное пространство. Его распространеніе есть ничто иное, какъ отрицательный знакъ, мѣра недостатка силы истинной философіи.

Явленія умственнаго міра несравненно живучѣе, чѣмъ обыкновенно полагаютъ. Въ настоящее время можно слышать множество толковъ о матеріализмѣ и его противоположности—спиритуализмѣ; всѣ эти толки, за весьма малыми исключеніями, ведутся въ томъ же духѣ, съ тѣми же пріемами мысли и понятія, какіе свойственны Декартовой философіи. Между тѣмъ и этотъ матеріализмъ и этотъ спиритуализмъ давно уже не существуютъ въ философіи, давно уже записаны ею въ свою исторію.

ГЛАВА VI.

Значеніе Фейербаха.

Нѣкоторыя черты въ складѣ мышленія Фейербаха, приведенныя выше, могутъ показаться смѣшными и странными. Наше отношеніе къ нимъ будетъ правильнѣе, если мы посмотримъ на нихъ серьезно; тогда онѣ скорѣе покажутся намъ страшными, чѣмъ смѣшными. Въ самомъ дѣлѣ, неизгладимая болѣзненность слышится въ этихъ отчаянныхъ попыткахъ вырваться изъ какого-то заколдованнаго круга. Быть можетъ эта черта всего лучше наведетъ насъ на мысль объ истинномъ значеніи Фейербаха. Фейербахъ—сынъ своего времени, сынъ нашего вѣка,—а нашъ вѣкъ есть вѣкъ пессимизма, вѣкъ, страдающій глубокимъ недовольствомъ. Само собою разумѣется, что мы говоримъ здѣсь не объ Россіи, еще таящей свои умственныя силы, а объ Европѣ, о Западѣ, настроеніе котораго вполнѣ выражается и обнаруживается въ его философахъ и писателяхъ.

Чтобы убѣдиться въ пессимизмѣ нашего вѣка, стоитъ только сравнить съ нимъ вѣкъ оптимизма—прошлое столѣтіе. Казалось бы, и въ этомъ столѣтіи было столько недовольства, столько страданій, столько стремленій къ разрушенію; а между тѣмъ, по умственному настроенію, по пониманію міра и людей, это была эпоха радости, эпоха величайшихъ и свѣтлыхъ надеждъ, минута небы-

валаго восторга, овладѣвшаго человѣчествомъ. Критика того времени была бодра и самонадѣянна. Все нужно было преобразовать, но всѣ были увѣрены, что преобразовать было возможно; все нужно было исправить, но никто не сомнѣвался въ возможности и близости исправленія. Было множество желаній, множество страданій; но всякій думалъ, что эти желанія исполнятся и страданія устранятся.

Мыслители того времени твердо вѣрили въ разумъ и говорили: нужно изгнать суевѣрія и заблужденія, пусть всюду царствуетъ та истинная философія, которую мы нашли. Точно также они были полны надеждъ и въ сферѣ матеріальной. Всѣ матеріальныя страданія, говорили они, происходятъ отъ неправильнаго устройства общества: стоитъ дать обществу правильное устройство, и страданія исчезнутъ. Современное имъ устройство они отвергали, но они знали, чѣмъ замѣнить его, какое новое устройство поставить на его мѣсто.

Такимъ образомъ люди прошлаго вѣка твердо вѣрили въ свои идеалы, въ свою философію и свои политическіе планы; поэтому они были счастливы. Это было время, когда, въ силу такой вѣры, умъ человѣческій вздумалъ распоряжаться жизнью; онъ былъ отуманенъ своими надеждами, былъ гордъ своими будущими успѣхами.

Въ нашъ вѣкъ—какое разочарованіе! Розовыя мечты исчезли, и гордость человѣческая, кажется, сломлена въ самомъ своемъ корнѣ. Западная критика нашего времени получила характеръ неслыханной мрачности и безнадежности. Представители ея ведутъ рѣчи, составляющія величайшій контрастъ съ рѣчами прошлаго вѣка.

Въ самомъ дѣлѣ, является одинъ (именно Фейербахъ) и говоритъ: моя философія состоитъ въ томъ, что я от-

рицаю всякую философію; ибо всякая философія *теологична.*

Является другой критикъ (Прудонъ) и говоритъ: матеріальное благосостояніе людей невозможно; его обѣщаютъ вамъ съ одной стороны соціалисты, съ другой политическая экономія; но легко убѣдиться въ тщетѣ этихъ надеждъ. Я докажу вамъ, что соціализмъ невозможенъ, но что въ то же время и политическая экономія несостоятельна.

Является третій (Герценъ) и говоритъ: никакое счастіе въ настоящее время невозможно. Никакой прогресъ—нравственный, умственный, политическій не ведетъ насъ къ лучшему, потому что вся наша цивилизація падаетъ, весь строй жизни оказывается несостоятельнымѣ и долженъ погибнуть, какъ погибла древняя жизнь во времена появленія христіанства.

Послѣ этихъ глубокихъ отрицаній, не замѣняющихъ отрицаемаго ничѣмъ положительнымъ, какъ замѣняли его отрицанія прошлаго вѣка, оставалось сдѣлать еще одно послѣднее отрицаніе; и оно дѣйствительно приходило на языкъ западныхъ мыслителей. Именно, остается только *отрицать человѣка.* Пусть цивилизація гибнетъ, пусть не спасаетъ насъ политическая экономія, пусть нужно отвергнуть и философію, и религію; можно все-таки думать, что послѣ всей этой гибели останется человѣчество, которое пойдетъ къ новымъ идеаламъ, къ новымъ формамъ жизни и мысли. Отрицать это—вотъ конецъ отрицанія. И до него дошелъ Западъ въ силу неизбѣжной логики. Не разъ было сказано, что человѣкъ есть неудавшееся созданіе, попытка природы, въ родѣ тѣхъ странныхъ ископаемыхъ твореній, которыя были переходными ступенями къ формамъ нынѣшнихъ земныхъ

тварей. Если такъ, то нужно ждать новаго геологическаго переворота, въ которомъ погибнетъ человѣчество. Тогда новое созданіе, которое займетъ мѣсто человѣка, можетъ быть представитъ ту красоту и то достоинство жизни, которое для насъ, людей, невозможно.

Такимъ образомъ западная критика, какъ намъ кажется, вполнѣ раскрылась; она дошла до конца, обнаружила всѣ свои тайны, проявила все свое содержаніе. По этому самому, кажется нѣтъ ничего легче, какъ опровергать эту критику. Мысль такъ выяснилась, что сама указываетъ на свое противорѣчіе. Новые критики повидимому дошли до крайнихъ нелѣпостей, до опроверженія самихъ себя.

Въ самомъ дѣлѣ, что̀ говоритъ, напримѣръ, Фейербахъ, этотъ послѣдній философъ? Онъ отвергаетъ религію, *потому что* отвергаетъ философію. Если онъ дѣйствительно вооруженъ на религію, то очевидно онъ оказываетъ такимъ пріемомъ плохую услугу своему дѣлу. Прежде думали, что это дѣло гораздо проще, что можно отвергать религію на основаніи философіи; теперь же оказывается другое: чтобы вполнѣ отвергнуть религію, нужно непремѣнно отвергнуть всякую философію. Одно безъ другаго невозможно. Очевидно дѣло усложняется. Отвергать религію—дѣло понятное; мы уже привыкли къ нему и освоились съ нимъ; но отвергать философію —это не всякій и сообразитъ, или покрайней мѣрѣ мы не очень уважаемъ тѣхъ, которые ужь очень легко это соображаютъ. Очевидно на насъ налагаются болѣе трудныя условія, чѣмъ прежде; намъ говорятъ: если отвергаешь религію, то непремѣнно отвергай уже и философію, а иначе ты будешь непослѣдователенъ. Какое же отсюда прямое слѣдствіе? Очевидно Фейербахъ от-

крылъ болѣе тѣсную связь между религіею и философіею, чѣмъ какую признавали прежде очень многіе. Онъ нашелъ, что одна необходимо требуетъ другой, что, отрицая одну, нужно отрицать и другую. Слѣдовательно, онъ показалъ, что отрицаніе гораздо *труднѣе*, чѣмъ мы думали прежде, доказалъ, что явленія человѣческой души имѣютъ болѣе тѣсную связь, чѣмъ мы прежде легкомысленно полагали. Какъ жизненное явленіе, религія сильнѣе и распространеннѣе философіи; но, если дѣло идетъ о доказательствахъ, то очевидно *доказывать*, что нужна и возможна философія, гораздо легче, чѣмъ доказывать, что нужна и возможна религія. А по Фейербаху, какъ скоро доказана философія, то доказана и религія. Итакъ, вся аргументація Фейербаха только усиливаетъ то дѣло, противъ котораго она направлена.

То же самое можно сказать и о другихъ критикахъ нашего времени. Прудонъ доказываетъ (возьмемъ одну сторону) невозможность матеріальнаго благосостоянія на основаніи несостоятельности политической экономіи. Это значитъ, что матеріальныя бѣдствія являются не потому, что не соблюдаются извѣстныя правила, а потому, что вовсе нѣтъ правилъ, соблюденіе которыхъ ручалось бы за матеріальное благосостояніе. Но если такъ, то бѣдствія, порождаемыя существующимъ экономическимъ порядкомъ, можетъ быть, суть *неизбѣжное зло*, такое же зло, какъ голодъ, болѣзнь, смерть и подобныя неотвратимыя слѣдствія самой природы человѣка. Если такъ, то законы политической экономіи тѣснѣе связаны съ сущностію вещей, *необходимѣе*, чѣмъ мы до сихъ поръ полагали. Аргументація Прудона идетъ въ пользу той науки, противъ которой онъ вооружился.

Точно также, тотъ, кто видитъ источникъ бѣдствій не

въ частныхъ какихъ нибудь явленіяхъ, не въ суевѣріи, не въ философіи, или экономическомъ порядкѣ, а въ цѣломъ строѣ современной западной цивилизаціи,—что онъ доказываетъ своими доводами, какъ не то, что эта цивилизація есть нѣчто *цѣлое*, тѣсно связанное во всѣхъ своихъ частяхъ и проявленіяхъ, такъ что ее нужно или разомъ признать, или разомъ отвергнуть? Изъ отрицанія цивилизаціи выходитъ, что она есть стройный организмъ и потому неизбѣжно должна умереть цѣликомъ, а не такъ, что однѣ части ея умрутъ, а другія останутся живыми и здоровыми. Значитъ, различныя стороны цивилизаціи гораздо глубже и тверже связаны, чѣмъ мы думали.

Мы видѣли наконецъ, что дѣло дошло до отрицанія человѣка. Очевидно, оно можетъ имѣть только такой смыслъ: для человѣка по самой сущности вещей возможна только одна, только эта западная цивилизація. И слѣдовательно, если она не удалась, если она больна и умираетъ, то нѣтъ болѣе надежды на человѣка.

Итакъ, вотъ отвѣтъ современной критикѣ, который она сама вызываетъ своими сужденіями. Оказывается, что стоитъ только повѣрить въ человѣка и мы повѣримъ во всю эту блистательную цивилизацію; мы принуждены будемъ повѣрить во всѣ ея проявленія, какъ въ необходимыя проявленія самой природы человѣка; слѣдовательно мы повѣримъ и въ ея политическую экономію, и въ ея философію, и въ ея религію.

Все это конечно справедливо, но нельзя не видѣть, что все это еще ни мало не рѣшаетъ дѣла, не распутываетъ загадки. А именно: представители этой безнадежной критики суть конечно сыны своего времени, дѣти той самой цивилизаціи, о которой они говорятъ. Этого мало: они суть люди, въ высокой степени замѣ-

чательные по своему чуткому сочувствію къ жизни и потому самому невольно привлекаютъ къ себѣ и возбуждаютъ вниманіе. Спрашивается, откуда же явилось ихъ болѣзненное настроеніе? Спрашивается, откуда эта неловкость, которую они чувствуютъ на самомъ лонѣ матери, ихъ вспоившей и вскормившей,—западной цивилизаціи? Очевидно, нѣтъ мира ихъ душѣ, они потеряли свѣтъ, который бы ихъ руководилъ и согрѣвалъ.

А если такъ, то это дурной признакъ для западной цивилизаціи. Если въ ея организмѣ являются такіе страшные симптомы, то ее трудно считать вполнѣ здоровою и крѣпкою. Если въ ней такъ часто не находятъ себѣ спасенія и успокоенія души алчущія и жаждущія правды, то значитъ есть какое-то глубокое, можетъ быть коренное зло, которымъ страдаетъ эта цивилизація.

Итакъ, вотъ разрядъ явленій, къ которому мы, кажется, имѣемъ полное право причислить Фейербаха, и гдѣ заключается его истинное значеніе. Онъ относится къ той безнадежной пессимистической критикѣ, которая разъѣдаетъ собою въ настоящее время духовный строй Европы. Въ этой критикѣ онъ составляетъ замѣчательное явленіе, всего яснѣе обнаруживающее самую тайну критики. Западныхъ людей нынѣ тѣснитъ ихъ цивилизація, тѣснитъ все, что̀ они у себя имѣютъ. Имъ тѣсно и неловко среди ихъ нравовъ и привычекъ, политическихъ, экономическихъ и всякихъ формъ. Возьмите самое естественное, самое правильное, самое мирное отношеніе, напримѣръ, отношеніе матери къ сыну, или отношеніе человѣка умственно развитаго и свѣдующаго къ человѣку неразвитому и несвѣдующему—и эти отношенія кажутся стѣснительными для западныхъ людей. Они декламируютъ противъ деспотизма ума и противъ деспо-

тизма материнской любви. Таково странно-безпокойное настроеніе ихъ умовъ. Фейербахъ явно принадлежитъ къ этому настроенію. Онъ чувствуетъ себя тѣсно и неловко *среди понятій* и декламируетъ противъ деспотизма мысли. Явленіе въ высшей степени поразительное, потому что власть мысли есть самая законная и ясная изъ всѣхъ властей и, хотя она всесильна и непреклонна, никогда не была чувствуема и понимаема людьми какъ деспотизмъ.

Вотъ нѣкоторые факты изъ современной жизни Запада, факты, обнаружившіе себя съ большою силою и записанные нами по нашему крайнему разумѣнію.

1864 г.
12 Іюня.

III.

ДАРВИНЪ

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Переворотъ въ наукѣ *).

Неожиданный успѣхъ.—Ученый ареопагъ.—Авторитетъ Кювье.—Движеніемъ ума заправляетъ сердце.—Ходъ философскихъ ученій.—Сила фантастическихъ понятій. — Ученье Кювье о постоянствѣ видовъ. — Теорія Дарвина.—Отрицаніе явленій. — Главное возраженіе противъ Дарвина.—Естественная смерть.—Европейскій нигилизмъ.

I.

Въ первыхъ строкахъ этого сочиненія Дарвинъ удивляется успѣху, который имѣли его взгляды на измѣненіе видовъ и ихъ происхожденіе однихъ отъ другихъ; онъ никакъ не ожидалъ, что его теорія одержитъ такую легкую побѣду надъ противоположными воззрѣніями, которыя господствовали прежде.

„Въ продолженіе многихъ лѣтъ", говоритъ онъ, „я собиралъ замѣтки о происхожденіи человѣка безъ всякаго „намѣренія печатать что-либо объ этомъ предметѣ,—скорѣе „*съ положительнымъ намѣреніемъ не выпускать моихъ*

*) Происхожденіе человѣка и подборъ по отношенію къ полу. *Чарльза Дарвина.* Въ двухъ томахъ. Переводъ съ англійскаго подъ редакціею И. М. Сѣченова. Съ рисунками. Спб. 1871.

„*замѣтокъ въ свѣтъ*, такъ какъ я полагалъ, что онѣ „могли-бы только усилить *предубѣжденія, существовавшія „противъ моихъ взглядовъ*“ (стр. VII).

Эти предубѣжденія не состояли изъ однихъ предразсудковъ и мнѣній людей, чуждыхъ наукѣ и по чему либо питавшихъ извѣстныя понятія о происхожденіи видовъ; главное препятствіе для Дарвина, какъ мы сейчасъ увидимъ, состояло въ ученіи, господствовавшемъ у самихъ натуралистовъ. Сама наука сознательно, твердо и ясно исповѣдывала ученіе, прямо противоположное тому, которое выставилъ Дарвинъ.

„Теперь“, замѣчаетъ Дарвинъ, „дѣло приняло совершен„но другой видъ. Если такой естествоиспытатель, какъ „Карлъ Фогтъ, рѣшается сказать въ своей рѣчи, въ качествѣ „президента Національнаго Института въ Женевѣ (1869): „personne, en Europe au moins, n'ose plus soutenir la créatiou „independante et de toutes pièces, des espèces“, (никто, въ „Европѣ по крайней мѣрѣ, не осмѣливается уже поддер„живать, что виды созданы независимо и цѣликомъ), то „ясно, что, по крайней мѣрѣ, значительное число нату„ралистовъ должно уже признавать въ существующихъ „видахъ видоизмѣненныхъ потомковъ другихъ видовъ „(стр. VIII)“.

Слова знаменитаго Карла Фогта кажется всегда бываютъ таковы, что ихъ приходится немножко поправлять. И Дарвинъ исправляетъ, замѣчая, что *никто въ Европѣ* значитъ собственно не никто, а только меньшинство европейскихъ натуралистовъ. Чрезъ нѣсколько строкъ Дарвинъ положительно говоритъ, что *многіе изъ старыхъ и уважаемыхъ авторитетовъ науки* остаются противниками всякаго измѣненія видовъ. Но самое преувеличеніе словъ Фогта конечно показываетъ, что распространеніе

взглядовъ Дарвина очень велико, такъ что пламенный послѣдователь ихъ имѣлъ нѣкоторый поводъ счесть за *никого* нѣкоторые старые и уважаемые авторитеты. И вотъ Дарвинъ пишетъ:

„Вслѣдствіе воззрѣній, которыя приняты въ настоящее „время *большинствомъ натуралистовъ*, и къ которымъ „вскорѣ, *какъ это обыкновенно бываетъ, примкнетъ публика* (other men), я рѣшился собрать мои замѣтки въ „одно цѣлое, чтобы имѣть возможность прослѣдить, на„сколько общіе выводы, изложенные въ моихъ прежнихъ „сочиненіяхъ, могутъ быть примѣнены къ человѣку“ (стр. „VIII).

Переворотъ, значитъ, совершился, и совершился такъ быстро, какъ Дарвинъ и не ожидалъ. Онъ можетъ теперь напечатать сочиненіе, котораго положительно намѣревался не выпускать въ свѣтъ. Оппозиція, которой онъ боялся, оказалась очень слабою.

II.

Вотъ намъ примѣръ того, какъ дѣлаются дѣла въ наукахъ. Дарвинъ въ этомъ случаѣ судитъ и поступаетъ какъ настоящій ученый. Мы видимъ, что для него выше всего авторитетъ его науки, то есть естествознанія. Онъ и теперь, и во всѣхъ другихъ своихъ сочиненіяхъ, ни мало не заботится о томъ, что̀ говорятъ или говорили *другіе люди*, о тѣхъ взглядахъ, которые существуютъ въ другихъ областяхъ человѣческаго ума. Сила науки такова, что ей нѣтъ нужды принимать въ соображеніе что-нибудь постороннее. Если наука рѣшила, то *обыкновенно бываетъ*, что вскорѣ ея рѣшеніе принимается всѣми.

Но какъ же подслушать рѣшеніе науки? Какъ мы узнаемъ, что рѣшилъ этотъ верховный авторитетъ? Изъ словъ Дарвина ясно, что представительство этого авторитета принадлежитъ *общему мнѣнію* натуралистовъ. Такъ какъ нынче большинство натуралистовъ на сторонѣ Дарвина, то онъ и считаетъ дѣло выиграннымъ. Онъ не говоритъ о требованіяхъ науки, о ея внутреннихъ законахъ, о методахъ и т. п.; предполагается, что все это наилучшимъ образомъ опредѣляется большинствомъ голосовъ. Каждый натуралистъ какъ-бы обладаетъ частицею авторитета науки, а вся совокупность натуралистовъ есть трибуналъ, всецѣло обладающій властью и силою науки.

Такимъ образомъ, Дарвинъ, хотя создалъ новую и смѣлую теорію, однако ни мало не думаетъ быть вполнѣ самостоятельнымъ, а скромно подчиняется тому авторитету, подъ которымъ живутъ всѣ ученые, подъ которымъ живетъ и самъ Карлъ Фогтъ, все отрицающій, кромѣ общаго мнѣнія ученыхъ. Дарвинъ какъ-бы внесъ свою теорію на разсмотрѣніе ученаго парламента и теперь радуется, что получилъ одобреніе, что съ нимъ очень быстро согласилось большинство. Съ замѣтнымъ удовольствіемъ онъ перечисляетъ свои авторитеты, не брезгая никѣмъ и возводя ихъ въ знаменитости. Такъ, въ частности, по вопросу о происхожденіи человѣка отъ животныхъ, онъ говоритъ:

„Ламаркъ, много времени тому назадъ, пришелъ къ „этому заключенію, которое поддерживается теперь многими „*знаменитыми натуралистами и философами*; таковы „Уоллесъ, Гёксли, Ляйэлль, Фогтъ, Леббокъ, Бюхнеръ, „Ролле и др., и въ особенности Геккель“ (стр. XI).

Бюхнеръ и Ролле фигурируютъ здѣсь конечно въ ка-

чествѣ знаменитыхъ (по англійски eminent, отличный) философовъ.

Вотъ небольшой, но ясный образчикъ тѣхъ предразсудковъ, которые господствуютъ въ ученомъ мірѣ. Каждый ученый воображаетъ, что его частная наука обладаетъ верховнымъ авторитетомъ, и ему въ голову не приходитъ небходимость согласовать добытые имъ результаты съ нѣкоторою общею системою, съ цѣльнымъ взглядомъ на міръ. Этотъ предразсудокъ очень силенъ у Дарвина, который на сколько-нибудь отвлеченные и трудные философскіе взгляды смотритъ съ такимъ невѣріемъ и отчужденіемъ, что даже не считаетъ нужнымъ говорить объ нихъ и опровергать ихъ.

Второй предразсудокъ еще хуже. Ученые суевѣрно преклоняются предъ общимъ мнѣніемъ своихъ собратій. Казалось-бы, какое дѣло изслѣдователю, кто какъ думаетъ, кто съ нимъ согласенъ и кто нѣтъ? Если онъ твердо увѣренъ въ своей методѣ и убѣжденъ въ научной прочности добытой истины, то какой вѣсъ могутъ имѣть въ сравненіи съ этимъ убѣжденіемъ чьи бы то ни было мнѣнія? какой смыслъ — большинство или меньшинство?

Въ настоящемъ же случаѣ, дѣло имѣетъ видъ весьма подозрительный и странный. Ученый ареопагъ, на который ссылается Дарвинъ, обнаружилъ чрезвычайную быстроту въ переходѣ отъ одного мнѣнія къ мнѣнію прямо противоположному, быстроту, которая внушаетъ скорѣе всего величайшее недовѣріе къ основательности и обдуманности ареопага. Авторитетъ всякаго собранія подрывается, если сегодня оно рѣшаетъ такъ, а завтра прямо напротивъ. И чѣмъ горячѣе идетъ дѣло, тѣмъ подозрительнѣе. А въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ именно такъ. Начавши съ оговорокъ и со ссылокъ на всякія

имена, Дарвинъ уже первую главу заключаетъ такими рѣшительными словами:

„Только наши предразсудки и высокомѣріе, побудив-„шее нашихъ предковъ объявить, что они произошли отъ „полубоговъ, заставляютъ насъ останавливаться въ нерѣ-„шительности передъ этимъ выводомъ. Но скоро прійдетъ „время, когда *всѣмъ покажется непостижимымъ, какъ „натуралисты, знакомые съ сравнительной анатоміей и „эмбріологіей человѣка и другихъ млекопитающихъ, могли „допустить мысль, что каждое животное было произве-„деніемъ отдѣльнаго акта творенія*“ (стр. 30).

Вотъ въ какомъ положеніи дѣло. Въ исторіи наукъ случился фактъ *непостижимый* (по англійски стоитъ впрочемъ wonderful, удивительный); именно, натуралисты, хорошо знавшіе сравнительную анатомію и эмбріологію, сегодня утверждали постоянство видовъ, а завтра, на основаніи той же самой сравнительной анатоміи и эмбріологіи, стали утверждать, что виды перераждаются. Что̀ же случилось? Отчего произошла перемѣна? Изъ словъ Дарвина ясно, что нѣкоторый срамъ долженъ пасть или на старыхъ, или на новыхъ натуралистовъ. Или старые натуралисты въ теченіе долгихъ лѣтъ не видѣли очевиднаго вывода, или новые натуралисты забыли и дурно понимаютъ тѣ начала, которыя руководили старыхъ и воздержали ихъ отъ этого вывода. Намъ кажется, что срамъ долженъ быть раздѣленъ, если и не поровну, то на двѣ части: одна падаетъ на старыхъ, другая на новыхъ. Дарвинъ не постигаетъ того, что̀ думалъ Кювье; тутъ нѣтъ ничего похвальнаго ни для Кювье, ни для Дарвина, хотя, по общему правилу, непонимающій болѣе виноватъ.

III.

Распутать эту исторію будетъ очень любопытно и поучительно. Старые натуралисты виноваты потому, что они исповѣдывали догматъ постоянства видовъ не вслѣдствіе ясно сознанныхъ началъ, а только вслѣдствіе великаго авторитета, стоявшаго за этотъ догматъ, именно авторитета *Кювье*. Такъ идутъ дѣла въ наукахъ. По какимъ-нибудь причинамъ одни мнѣнія начинаютъ считаться ортодоксальными, а другія еретическими; тогда за правовѣрныя мнѣнія стоитъ упорно и съ жаромъ вся масса ученыхъ, еретическія же едва смѣютъ высказываться и бываютъ встрѣчаемы общимъ презрѣніемъ.

Въ настоящемъ случаѣ ученые обнаружили величайшее рабство передъ научнымъ преданіемъ. Цѣлыя поколѣнія ученыхъ проповѣдывали постоянство видовъ, не потому, чтобы ясно видѣли основательность этого ученія, не потому, чтобы имъ не приходили въ голову противоположныя мнѣнія, а потому, что такъ сказалъ Кювье, и что нельзя было *смѣть* говорить другое.

Мнѣнія объ измѣнчивости видовъ такъ легко приходятъ въ голову, составляютъ такое естественное предположеніе, что существовали, можно сказать, всегда. Кювье въ этомъ отношеніи долженъ былъ бороться съ ученіями Ламарка и Жоффруа Сентъ-Илера. Если мы вспомнимъ, что всякій матеріалистъ, всякій пантеистъ, всякій человѣкъ, отвергающій сверхъестественное вмѣшательство въ порядокъ природы, долженъ былъ прійти такъ, или иначе, къ ученію объ измѣнчивости; если вспомнимъ, что такихъ людей между натуралистами всегда было множество, большинство, то нельзя не удивляться, какъ

они могли покориться ученію, противорѣчившему всѣмъ ихъ стремленіямъ, всѣмъ поползновеніямъ ихъ мысли.

Но если такъ было, то мы понимаемъ, почему реакція должна была наступить вдругъ, внезапно. Ученіе Кювье не было разрушено постепенными изысканіями, новыми фактами, новыми открытіями, уяснившими его несостоятельность. Оно пало вдругъ, какъ падаетъ мнѣніе, которое держалось вѣрою, а не научными основаніями. Факты не измѣнились, свѣдѣнія наши не расширились; но появилось новое мнѣніе, новая вѣра, и старое ученіе должно было уступить мѣсто. Быстрота, съ которою теорія Дарвина набрала себѣ послѣдователей, вовсе не соотвѣтствуетъ ея внутреннему достоинству. Главная ея сила состоитъ въ нѣкоторыхъ остроумныхъ гипотезахъ относительно самаго процесса измѣненія видовъ; но вовсе нельзя сказать ни того, чтобы она доказала это измѣненіе, ни того, чтобы она его объяснила. Слѣдовательно, приверженность новыхъ натуралистовъ къ этой теоріи зависитъ вовсе не отъ научной ея силы; она точно такъ же зависитъ отъ постороннихъ причинъ, какъ и прежнее общее убѣжденіе натуралистовъ въ неизмѣнности видовъ. Вотъ фактъ, какъ намъ кажется, очень ясный и очень любопытный. Движеніе наукъ и перевороты, которые въ нихъ происходятъ, зависятъ не отъ внутренняго ихъ развитія, а опредѣляются вліяніями изъ какой-то другой области. Ученія господствуютъ и изчезаютъ, управляемыя силою болѣе могущественною, чѣмъ наука.

Если постоянство видовъ есть мысль *непостижимая*, противорѣчащая всему духу естественныхъ наукъ, не требуемая никакими ихъ началами, то подумайте—кто впалъ въ такое заблужденіе? Впалъ Кювье, натуралистъ, которому подобнаго не найти, геніальный изслѣдователь

природы, который одинъ создалъ три науки: естественную систему Зоологіи, Сравнительную Анатомію и Палеонтологію. Если такой ученый въ существенномъ пунктѣ подчинился постороннему вліянію и отступилъ отъ прямаго пути науки, то на какомъ основаніи мы станемъ довѣрять свободѣ и безпристрастію ума Дарвина, Фогта, Геккеля?

Если измѣнчивость видовъ есть истина (какъ это мы и думаемъ), то почему же она не уяснилась постепенно, почему была упорно отвергаема, хотя провозглашалась безпрестанно? Почему прежде не принималась нисколько, а теперь принялась слишкомъ легко?

Не наука сдѣлала этотъ шагъ, а помимо естествознанія измѣнились нравственныя и философскія понятія людей: вотъ причина успѣха Дарвина.

IV.

Движеніе идей вообще вовсе не совершается по самобытнымъ логическимъ правиламъ, какъ это постоянно утверждаютъ нѣмцы, а получаетъ направленіе отъ нравственной стороны человѣка. Умъ есть сила чисто формальная, безсодержательная, и потому способная двигаться по всевозможнымъ направленіямъ, образовывать безчисленныя понятія, безконечныя сочетанія мыслей. Какъ въ пространствѣ возможны всякія фигуры, такъ и въ умѣ возможны всякія мысли. Логика и психологія, подобно чистой математикѣ, изучаютъ формы и законы этихъ фигуръ, но не могутъ ничего сказать о дѣйствительномъ содержаніи человѣческихъ умовъ, точно такъ, какъ чистая математика ничего не знаетъ о настоящихъ, вещественныхъ тѣлахъ и явленіяхъ.

Пусть передъ нами какой-нибудь предметъ, какое-нибудь зрѣлище. Мысли, которыя онъ въ насъ возбудитъ, не опредѣляются ни свойствомъ самого предмета, ни какими либо общими законами движенія мыслей. Эти мысли опредѣляются нашими внутренними свойствами. Въ человѣкѣ печальномъ самая веселая картина возбуждаетъ рядъ печальныхъ мыслей; одинъ и тотъ же предметъ возбуждаетъ и злобу и радость, и высокую мысль и низкое желаніе. Психологія, опредѣляющая законы, по которымъ сочетаются представленія, допускаетъ возможность безчисленныхъ сочетаній и не можетъ опредѣлить, которое изъ нихъ случится въ дѣйствительности.

То, что думаетъ человѣкъ, не есть объективная истина, независимая отъ его натуры, а есть именно то, что ему *хочется думать*. Вотъ законъ, объясняющій образованіе человѣческихъ убѣжденій и исторію человѣческаго ума. Мы часто удивляемся узости и односторонности иныхъ взглядовъ и не понимаемъ, какъ не дѣйствуютъ на людей самые очевидные и многочисленные факты. Въ этомъ случаѣ мы ошибаемся въ нашемъ понятіи объ умѣ, приписываемъ ему такой способъ дѣйствія, котораго онъ не имѣетъ. Умъ никогда не видитъ и не обнимаетъ всего, что ему представляется, а всегда *избираетъ*, руководимый чувствомъ. Поэтому, какъ бы ни были разнообразны и значительны факты, которые видитъ человѣкъ, онъ замѣчаетъ изъ нихъ только тѣ, которые питаютъ его любимую мысль. Все противорѣчащее или упускается изъ виду, или только раздражаетъ и усиливаетъ чувство, заправляющее дѣломъ. И такимъ образомъ иногда случается, что чѣмъ долѣе и живѣе дѣйствуетъ умъ, тѣмъ односторонніе и уже становятся мнѣнія человѣка.

Умомъ заправляетъ сердце. Мы вѣримъ въ то, чего хотимъ, что любимъ, что удовлетворяетъ нашимъ нравственнымъ потребностямъ. Вотъ гдѣ истинный корень и смыслъ человѣческихъ мнѣній. Иногда насъ поражаютъ удивленіемъ тѣ безобразныя и явныя нелѣпости, которыя человѣчество на своемъ долгомъ пути признавало за свои святѣйшія и драгоцѣннѣйшія истины. Высокоумные историки послѣдняго времени, воображающіе, что сами они ходятъ въ истинѣ, часто представляютъ всю исторію людей, какъ блужданіе въ ошибкахъ, и весь прогрессъ этой исторіи, какъ постепенное освобожденіе отъ заблужденій. Но если мы убѣдимся, что сверхъ объективной истины мнѣнія людей имѣютъ другое значеніе, то можетъ быть не будемъ такъ высокомѣрно смотрѣть на прошлыя времена и не будемъ преждевременно хвалиться настоящимъ. И прежде были свѣтлые и крѣпкіе умы, можетъ быть свѣтлѣе и крѣпче нашихъ; если они упорно держались самыхъ повидимому очевидныхъ заблужденій, то на это были причины, имѣющія свой смыслъ, достойныя уваженія и изслѣдованія. Именно, фантазіи, въ которыя вѣрило человѣчество, часто не имѣли въ себѣ ничего похожаго на дѣйствительность, но за то всегда почти имѣли высокій и ясный нравственный смыслъ. А это прежде всего и нужно человѣку. Ему нужны крайне, неизбѣжно, не отвѣты на вопросы знанія, а отвѣты на вопросы сердца. Ему нужно рѣшать, *что онъ долженъ дѣлать*. Незнаніе не есть наибольшее зло. Самое важное дѣло для человѣка—умѣнье различать добро отъ зла, умѣнье понимать нравственный смыслъ явленій. Поэтому люди упорно держатся за самыя явныя нелѣпости, какъ скоро чувствуютъ, что съ отнятіемъ у нихъ этихъ понятій отнимается вмѣстѣ

возможность нѣкоторыхъ нравственныхъ сужденій. Физическая природа человѣка устроена такъ, что онъ (напр. плывя по рѣкѣ, вращаясь на планетѣ) считаетъ неподвижною ту точку, на которую опирается, и принимаетъ все другое за движущееся. Точно таково же и требованіе нравственной природы: нужно, чтобы человѣкъ что-нибудь принималъ за твердую нравственную опору; иначе у него голова закружится и онъ упадетъ, погибнетъ.

Соображая все это, мы поймемъ, почему ходъ наукъ имѣетъ неправильность и шаткость, которыя были-бы необъяснимы, если-бы имъ заправляла одна логика. Каждый народъ и каждая эпоха *предпочитаетъ* извѣстныя ученія не въ силу ихъ логическаго развитія, а вслѣдствіе нѣкотораго нравственнаго расположенія къ нимъ. Такъ, англичане до сего дня остаются скептиками и эмпириками; но то же самое ученіе, которое въ Англіи имѣло свойство спектицизма и эмпиризма, будучи перенесено во Францію становится матеріализмомъ и сенсуализмомъ, а въ Германіи обращается въ идеализмъ.

Тема о національности въ наукѣ блистательно развита Н. Я. Данилевскимъ въ шестой главѣ его книги *). Тамъ онъ указываетъ между прочимъ и на то, что теорія Дарвина, точно такъ, какъ взглядъ Гоббза на государство и Адама Смита на политическую экономію носятъ на себѣ печать нравственнаго склада Англичанъ.

Тотъ же взглядъ очевидно можетъ быть распространенъ и на разныя эпохи народа, или цѣлой группы народовъ. Глубокая нравственная исторія (самая существенная изъ всѣхъ исторій) совершается въ народѣ; онъ

*) *Россія и Европа*, Спб. 1871 г.

переживаетъ періоды утомленія, энтузіазма, религіозныхъ и политическихъ волненій. Все это отражается на ходѣ мысли, окрашиваетъ ее въ извѣстные цвѣта. Поэтому, намъ кажется не совсѣмъ справедливымъ, когда философскія ученія выводятся прямо изъ другихъ предшествующихъ. Развитіе не имѣетъ здѣсь такой строгости. Такъ, напримѣръ, намъ кажется очень несправедливымъ выводъ теперешняго нѣмецкаго матеріализма изъ гегельянства. Матеріализмъ есть слѣдствіе упадка высшихъ духовныхъ интересовъ, есть *пониженіе ума*, а пониженіе есть отрицательное явленіе, которое, какъ всѣ такія явленія, не требуетъ необходимо положительныхъ причинъ для объясненія. Причина этихъ низшихъ явленій есть только *отсутствіе* высшихъ. Человѣкъ утомленный засыпаетъ, все равно чѣмъ бы онъ ни былъ утомленъ. Такъ и умъ постоянно впадаетъ въ матеріализмъ, когда начинаетъ слабо дѣйствовать. Такъ было послѣ Декарта, потомъ послѣ Локка, и точно тоже случилось послѣ Гегеля.

Такимъ образомъ, если мы обратимся къ тому перевороту въ наукахъ, о которомъ повели рѣчь, то будемъ имѣть нѣкоторое основаніе предполагать въ немъ участіе тѣхъ нравственныхъ и философскихъ перемѣнъ, которыя случились въ Европѣ со временъ Кювье. Тогда намъ объяснится, почему этотъ переворотъ случился такъ быстро, и почему такъ долго держались прежнія мнѣнія, *по видимому ни на чемъ не опиравшіяся*.

V.

Чтобы уяснить нравственную силу и состоятельность, которую могутъ имѣть понятія совершенно фантастическія, возьмемъ небольшой примѣръ.

Положимъ какого нибудь человѣка убило громомъ. Во времена суевѣрій благочестивые люди подумали бы, что за этимъ человѣкомъ вѣроятно есть какая нибудь тяжкая вина, можетъ быть никому невѣдомая, что эта вина однакоже не укрылась отъ всевидящаго божества и что оно въ гнѣвѣ направило своею рукою громовую стрѣлу на виноватаго и такимъ образомъ покарало его. Теперь мы знаемъ, что все это невѣрно, что невинный можетъ быть убитъ громомъ, какъ и виноватый, что не божество бросаетъ стрѣлы молніи, а направляются они слѣпою силою электричества, и что смерть человѣка, слѣдовательно, есть простая, чистая случайность. Этими открытіями, какъ извѣстно, чрезвычайно гордился XVIII вѣкъ; подобную гордость возбуждало развѣ только доказательство вращенія земли около солнца.

Между тѣмъ, если мы будемъ разсматривать фактъ,— смерть человѣка отъ грома,—во всей его цѣлости, то увидимъ, что наше новое о немъ понятіе не заключаетъ въ себѣ ничего радостнаго. Старое понятіе есть полное рѣшеніе дѣла, а новое — только возбуждаетъ вопросъ. Старое невѣрно, но совершенно ясно; новое вѣрно, но приводитъ насъ въ совершенное недоумѣніе, обдаетъ насъ тьмою. Ибо старое утверждаетъ, что въ этой смерти есть смыслъ; новое же доказываетъ, что она есть совершенная безсмыслица.

Въ самомъ дѣлѣ, мы невольно спрашиваемъ: за что и для чего убитъ человѣкъ? Если цѣль и смыслъ жизни, какъ нынче говорятъ, есть наслажденіе ея благами, то почему эта цѣль не достигнута и этотъ смыслъ уничтоженъ? Этотъ человѣкъ имѣлъ, говоря нынѣшнимъ языкомъ, всѣ *права* на жизнь, не былъ ни въ чемъ виноватъ, могъ быть полезенъ для общества, нуженъ для

семейства,—спрашивается, за чѣмъ же совершилась такая жестокая безсмыслица? Если мы подумаемъ, что жизнь величайшаго генія точно такъ же виситъ на волоскѣ, какъ и жизнь всякаго человѣка, что игра случайностей дѣйствуетъ ежедневно, ежеминутно, что противъ нея нѣтъ никакихъ силъ и средствъ, то мы вмѣсто радости объ открытіи электричества можемъ впасть въ самый мрачный пессимизмъ. (Читайте на эту тему Паскаля). Всего не откроешь и ото всего не оградишься. Вѣчный обманъ, въ которомъ мы живемъ, не думая о завтрашнемъ днѣ, не чуя грядущихъ бѣдъ, покажется противнымъ, если въ него вдуматься серьезно.

Между тѣмъ, въ старомъ понятіи какое чудесное сочетаніе оптимизма съ пессимизмомъ въ самой надлежащей мѣрѣ! Грозное божество постоянно видитъ человѣка и можетъ его убить. Но если убьетъ, то въ этомъ будетъ смыслъ, то это будетъ совершено съ строжайшею справедливостью. Смыслъ явленію данъ полный — вотъ что важно для человѣка.

Можетъ быть читатели, привыкшіе къ мысли объ общихъ законахъ природы, найдутъ, что смерть отдѣльнаго человѣка не требуетъ особаго объясненія, что раздавить человѣка природа имѣетъ такое же право, съ какимъ мы давимъ муравья, ползущаго по дорожкѣ; но замѣтимъ, что когда число гибнущихъ людей увеличивается, то мы неудержимо стремимся къ тому самому объясненію, которое отвергается нашими физическими познаніями. Когда цѣлая страна, какъ напримѣръ Франція, покрыта кровью и пламенемъ, то мы непремѣнно хотимъ видѣть здѣсь кару за что-то, не за плохія знанія или неудачныя распоряженія, а именно за нѣкоторую нравственную вину. Между тѣмъ, что доказываетъ

такую вину? Почему не предположить, что бѣдствія Франціи зависятъ отъ случайнаго сочетанія нѣкоторыхъ элементовъ, не имѣющихъ ничего общаго съ нравственностію? Но мы во что-бы то ни стало желаемъ думать, что жизнь народовъ управляется нравственными началами. А если такъ, то почему этими началами не можетъ управляться жизнь отдѣльнаго человѣка? Или наоборотъ, почему не предположить, что гибель всего человѣчества могла бы произойти такъ же случайно, такъ же безсмысленно, какъ отдѣльная смерть? (Читайте Герцена).

И такъ мы можемъ назвать легкомысленнымъ физика, который, давъ свое объясненіе, не замѣчаетъ вытекающихъ изъ него трудныхъ вопросовъ, и можемъ понять, почему составилось и долго держалось фантастическое объясненіе, которое эти вопросы разрѣшаетъ.

VI.

Подобное разсужденіе можно сдѣлать и при сравненіи мнѣній Кювье и Дарвина о видахъ.

Взглядъ Кювье на постоянство видовъ и на ихъ отдѣльное созданіе можно формулировать такимъ образомъ:

Прежде всего существовало и выше всего существуетъ верховное существо, совмѣщающее въ себѣ всѣ совершенства—Богъ. Организмы созданы этимъ существомъ, именно такъ, что каждый видъ получилъ отъ начала всѣ свои существенныя свойства, сохраняемыя имъ потомъ неизмѣнно. „Видовъ, говорилъ Линней, „столько, сколько Богъ создалъ различныхъ формъ“. Каждый видъ организмовъ представляетъ строгую гармонію между органами, составляющими его тѣло; каждый видъ имѣетъ кромѣ того гармонію съ окружающею

его природою. Безъ той и другой гармоніи видъ не могъ бы существовать, и обѣ онѣ—предуставлены, устроены божественнымъ творчествомъ.

Вотъ понятія, которыя можно считать невѣрными, но которыя никто не назоветъ неясными, или неудовлетворительно отвѣчающими на вопросъ. Если мы признаемъ ихъ, то намъ останется только изучать и понимать свойства организмовъ, а вопросъ о томъ, какъ они могли явиться, уже не будетъ затруднять насъ. Органическій міръ есть высшая часть природы; онъ исполненъ такого разнообразія, такой красоты, такого глубокаго смысла, какъ ничто другое; во главѣ его стоитъ человѣкъ, чудеснѣйшее изъ всѣхъ созданій, величайшая загадка, воплощенный духъ. Но какія бы чудеса мы ни находили во всемъ этомъ, насъ не будетъ приводить въ недоумѣніе вопросъ, какъ и откуда они могли возникнуть. Ибо источникъ ихъ есть существо, въ которомъ нѣтъ мѣры всякому совершенству, всему, что̀ можно назвать хорошимъ и высокимъ. То, что̀ мы видимъ въ организмахъ, есть лишь частица, даже очень малая, этихъ совершенствъ.

Понятія Кювье составляютъ лишь частное приложеніе того взгляда, который содержится вообще въ вѣрованіи въ Бога. Взглядъ этотъ предполагаетъ, что всѣ достоинства, какія мы находимъ въ мірѣ и его вещахъ, существовали прежде міра и вещей, что источникъ міра уже заключалъ ихъ въ себѣ.

А если мы сдѣлаемъ еще шагъ въ обобщеніи, то получимъ уже несомнѣнную аксіому, именно: причины должны содержать въ себѣ то, что̀ является въ ихъ слѣдствіяхъ. Изъ ничего ничего не бываетъ; міръ, который мы знаемъ, едва ли исчерпываетъ ту сущность, которой онъ есть проявленіе.

Взамѣнъ этихъ понятій, что же намъ предлагаетъ Дарвинъ? Внутреннее стремленіе его теоріи очевидно состоитъ въ томъ, чтобы объяснить устройство и разнообразіе организмовъ—*случайностями*, то есть не предполагать въ этомъ дѣлѣ никакого предустановленнаго плана, никакой причины, предшествующей явленіямъ и заключающей въ себѣ ихъ смыслъ. Такъ точно, греческіе атомисты пытались объяснять весь міръ, какъ порожденіе случайнаго столкновенія и скопленія атомовъ въ пространствѣ.

По Дарвину, появились сперва простѣйшіе организмы; откуда? — на этомъ вопросѣ онъ не останавливается и даже положительно отвергаетъ произвольное зарожденіе, которое по видимому подходило бы къ складу его теоріи. Немногіе первоначальные организмы стали измѣняться и разнообразиться; ибо измѣнчивость, по Дарвину, есть общее свойство организмовъ. Причины и законы, по которымъ измѣняются организмы, намъ мало извѣстны, и Дарвинъ неоднократно настаиваетъ, что это область весьма темная, почти вовсе невѣдомая. Но вотъ что ясно и что составляетъ сущность теоріи. Измѣненія, которымъ подвергаются организмы въ силу многочисленныхъ и неизвѣстныхъ причинъ, бываютъ *выгодныя* и *невыгодныя* для организмовъ. Эта выгодность и невыгодность есть дѣло совершенно случайное для каждаго существа; она зависитъ отъ сочетанія внѣшнихъ обстоятельствъ, среди которыхъ живетъ организмъ, и отъ сочетанія другихъ организмовъ, которыя живутъ вмѣстѣ съ нимъ. И вотъ отъ этой-то, совершенно случайной для организма, выгодности или невыгодности измѣненія, въ немъ происшедшаго, зависитъ все разнообразіе животной и растительной жизни. Выгодныя измѣненія остаются, укрѣпляются,

образуютъ новые виды; невыгодныя истребляются. Этотъ процессъ называется борьбою за существованіе.

Такъ дѣло продолжается милліоны лѣтъ; разнообразіе и осложненіе растетъ по мѣрѣ того, какъ новыя и новыя сочетанія случайностей оказываются благопріятными для постоянно измѣняющихся организмовъ. Организмы, такъ сказать, формируются, вылѣпливаются по тѣмъ впадинамъ, которыя случайно представляетъ окружающая ихъ природа. Дарвинъ весьма сильно настаиваетъ на томъ, что организмы подаются, такъ сказать, во всѣ стороны; но форма, которую они могутъ принять и удержать, опредѣляется не какими-либо ихъ внутренними законами, не общимъ планомъ и т. п., а только и единственно тѣми свободными мѣстами, которыя окажутся въ тѣсно обнимающемъ ихъ и постоянно ихъ давящемъ мірѣ существъ, какъ однородныхъ съ ними, такъ и совершенно отъ нихъ отличныхъ.

Вся прелесть, вся привлекательность этой теоріи заключается, какъ это прямо говорятъ ея приверженцы, именно въ томъ, что не нужно предполагать никакой внутренней причины, по которой та или другая черта устройства существуетъ въ организмѣ: основаніе для этого было внѣшнее, постороннее,—случайное стеченіе обстоятельствъ.

Такъ произошелъ наконецъ и человѣкъ; его устройство и все, что мы въ немъ называемъ красотою, благородствомъ, духовностію, есть лишь отраженіе нѣкоторыхъ, не слѣдующихъ никакому закону, не образующихъ никакого цѣлаго, случайностей, среди которыхъ развивалось животное царство.

VII.

Теперь мы можемъ видѣть, въ чемъ заключается главная сила Дарвиновой теоріи, и въ чемъ ея главная слабость. Сила ея въ томъ, что она обращаетъ явленія въ *случайныя*, и слѣдовательно дѣлаетъ ненужнымъ объясненіе ихъ изъ болѣе высокаго источника, *отрицаетъ* такой источникъ. При всякомъ вопросѣ ничего не бываетъ яснѣе и проще, какъ отрицаніе самого основанія вопроса; тогда умъ успокоивается, не видя передъ собой задачи. Такъ вопросъ о философіи очень упрощается, если мы убѣдимся, что всякая философія есть вздоръ, безсодержательныя хитросплетенія; вопросъ о Пушкинѣ ни мало не затруднитъ насъ, если признаемъ, что поэзія—пустыя побрякушки, нестоющія вниманія; вообще, вопросъ о всякомъ великомъ человѣкѣ получитъ самое удовлетворительное разрѣшеніе, если мы повѣримъ, что это былъ обыкновенный человѣкъ, лишь случайно попавшій въ необыкновенное стеченіе обстоятельствъ.

Есть люди, которымъ подобныя объясненія очень нравятся; они съ жадностію ищутъ ихъ повсюду и схватываютъ именно эту сторону во всѣхъ фактахъ. И нѣтъ сомнѣнія, что дѣйствіе ума здѣсь очень правильное, строго логическое. Въ естественныхъ наукахъ оно выразилось въ знаменитомъ правилѣ: *безъ необходимости не должно увеличивать число силъ, число началъ для объясненія.*

Слабость же теоріи Дарвина заключается въ томъ, что она, какъ и всѣ теоріи, гдѣ главная роль дана случайности, не можетъ обнять предмета во всемъ его объемѣ, и не объясняетъ самой существенной его стороны. Подобныя теоріи всегда только *отодвигаютъ* вопросы, но

не разрѣшаютъ ихъ, и въ этомъ отношеніи ихъ нужно причислить вполнѣ къ той *отрицательной* работѣ ума, которая разрушаетъ скороспѣлыя обобщенія и построенія, но не замѣняетъ собою и не можетъ замѣнить положительной работы.

Главное возраженіе, которое нужно сдѣлать противъ Дарвина, будетъ такое:

Объяснить происхожденіе организмовъ значитъ объяснить всѣ ихъ свойства, всю сущность. Каждая вещь потому имѣетъ извѣстныя свойства, что извѣстнымъ образомъ произошла, и обратно, она потому не могла произойти иначе, что имѣетъ такую, а не другую природу. И такъ нужно взять природу организмовъ, ея существенныя черты, и потомъ уже искать способа, какимъ могла возникнуть именно такая природа, именно эти черты. Какія же существенныя черты представляютъ намъ организмы? Размноженіе, наслѣдственность, развитіе, смерть; постоянное взаимодѣйствіе органовъ между собою и съ внѣшнимъ міромъ; половое различіе, различіе животныхъ и растеній, разные типы и группы, отличающіеся рѣзкимъ своеобразіемъ; въ животныхъ—являются чувствительность и произволъ и принимаютъ тысячи болѣе и болѣе совершенныхъ формъ; чувствительность достигаетъ разнообразія и совершенства пяти чувствъ; являются инстинкты, страсти, умъ; наконецъ высшій организмъ, человѣкъ, представляетъ явленія столь высокія и трудныя, что глубже и существеннѣе мы ничего и не можемъ полагать; для человѣка онъ самъ—конецъ и источникъ всѣхъ вопросовъ.

Вотъ что, въ той или другой мѣрѣ, въ полномъ или частномъ объемѣ, долженъ объяснить намъ тотъ, кто берется говорить о происхожденіи организмовъ. Дарвинъ

отчасти видѣлъ такую постановку задачи, предчувствовалъ ея обширность. Въ самомъ началѣ своей книги *О происхожденіи видовъ* онъ говоритъ:

„Натуралисту, размышляющему о происхожденіи видовъ и соображающему взаимное сродство органическихъ „существъ, ихъ эмбріологическія отношенія, ихъ географическое распредѣленіе, геологическую послѣдовательность ихъ появленія, и другіе подобные факты, легко „прійти къ заключенію, что каждый видъ не былъ созданъ отдѣльно, но что всѣ они произошли какъ разновидности отъ другихъ видовъ. Тѣмъ не менѣе, такое заключеніе, *даже если оно и основательно, не можетъ „удовлетворить насъ*, пока мы не объяснимъ себѣ, какимъ способомъ безчисленные виды, населяющіе землю, „были видоизмѣнены до *того совершенства* въ строеніи „и въ взаимныхъ приспособленіяхъ, которое такъ справедливо *восхищаетъ насъ*" *).

Совершенно вѣрно; то именно, что̀ всего больше *восхищаетъ* насъ, то и составляетъ главную сторону задачи, существенный предметъ нашего любопытства. А что же сдѣлалъ самъ Дарвинъ? Примѣняя къ его теоріи его же слова, мы можемъ сказать такъ:

„Натуралисту, принявшему всѣ гипотезы и объясненія Дарвина, конечно легко будетъ признать, что всѣ виды подвергались *какимъ-нибудь* измѣненіямъ, что должно было происходить *какое-нибудь* дифференцированіе, и что тѣ приспособленія, которыя *случились*, должны были укрѣпляться и господствовать въ силу борьбы за существованіе; но такое заключеніе, даже если бы оно было вполнѣ основательно, не можетъ удовлетворить насъ,

*) *О происхожденіи видовъ*, стр. 2.

пока теорія не объяснитъ намъ, *какія именно* измѣненія были претерпѣваемы видами, *по какимъ законамъ* совершалось дифференцированіе, и какимъ образомъ получились именно тѣ удивительныя приспособленія и удивительныя свойства организмовъ, которыя мы знаемъ, а не какія-нибудь другія".

Въ самомъ дѣлѣ, теорія Дарвина не рисуетъ намъ никакой картины растительнаго и животнаго царства, не даетъ даже ни единой изъ главныхъ чертъ этой картины; она не объясняетъ ни наслѣдственности, ни половаго различія, ни чувствительности, ни типовъ растеній и животныхъ, словомъ ничего частнаго и опредѣленнаго, заключающагося въ организмахъ. Какъ-же можно сказать, что она объясняетъ происхожденіе видовъ?

Намъ говорятъ, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны; положимъ. Изъ глины, или отъ обезьяны,—намъ все равно, если объясненіе будетъ совершенно удовлетворительно. Но по книжкѣ Дарвина вѣдь выходитъ, что человѣкъ произошелъ отъ обезьяны точно такъ, какъ одинъ видъ инфузорій отъ другаго вида инфузорій, или, пожалуй, какъ одна обезьяна отъ другой: вотъ съ чѣмъ согласиться невозможно, такъ какъ для насъ ясно, что человѣкъ есть совершенно особое существо въ природѣ, имѣетъ зачатки свойствъ, кореннымъ образомъ расходящихся съ животностію, и слѣдовательно, его происхожденіе, каково бы оно ни было, есть величайшее чудо, такой скачекъ, такой переворотъ, которому равнаго и подобнаго не представляетъ вся остальная исторія земной природы. Уловить всю особенность, всю индивидуальность этого переворота,—вотъ настоящая, правильная задача. А если мы этого не понимаемъ, если для

насъ совершенно неизвѣстно и незанимательно, чѣмъ человѣкъ отличается отъ обезьяны, то конечно намъ не будетъ затруднительно признать и твердить, что онъ отъ обезьяны происходитъ; да только что же толку въ подобномъ заключеніи, когда оно дѣла ни мало не поясняетъ и не исчерпываетъ?

Такъ точно и вообще, Дарвинова теорія не уясняетъ вполнѣ и не исчерпываетъ содержанія и разнообразія животной и растительной жизни. Она основывается на нѣкоторыхъ дѣйствительно *органическихъ явленіяхъ*, каковы—размноженіе, борьба за существованіе и смерть; но и эти черты едва ли поняты въ ихъ настоящемъ, живомъ смыслѣ. Такъ, напримѣръ, смерть всегда играетъ у Дарвина роль событія случайнаго для самого организма. Невыгодныя измѣненія, по его теоріи, изгоняются съ лица земли насильственно; виды исчезаютъ отъ голода, или отъ преслѣдованія хищныхъ враговъ, зловредныхъ паразитовъ и т. п. Между тѣмъ, судя по аналогіи, нельзя допустить этого. Конечно, всякій организмъ можетъ быть умерщвленъ насильственно, и вѣроятно большая часть ихъ именно такъ умираетъ. Но такая смерть есть *случайность*, не вытекающая изъ устройства и развитія организма, и слѣдовательно, если бы всѣ организмы такъ умирали, то физіологія имѣла бы одною задачею меньше,—именно, вовсе не нужно было бы объяснять, почему организмъ послѣ извѣстнаго времени умираетъ безъ всякаго внѣшняго повода, безъ всякой перемѣны во внѣшнихъ обстоятельствахъ? Дарвинъ, чтобы избѣжать необходимости органическаго объясненія вымиранія видовъ, принимаетъ для нихъ вездѣ механическую смерть. Но, такъ какъ для насъ несомнѣнно существованіе такъ называемой *естественной смерти* от-

дѣльныхъ организмовъ, то мы должны предположить, что и при развитіи видовъ происходило естественное вымираніе. Нѣкоторые фазисы жизни, такъ сказать, *отживали;* они исчезали не чѣмъ либо тѣснимые, а сами собою.

Мы ограничимся этими общими замѣчаніями, въ которыхъ старались показать, что начала, принимаемыя Дарвиномъ недостаточны для предмета, теорію котораго онъ задумалъ построить. Не странно-ли, что новые натуралисты обратили такъ мало вниманія на эту очевидную скудость началъ, что они такъ обрадовались, такъ заторопились и провозгласили побѣду, не имѣя на то достаточныхъ основаній? Имъ нужно было не объясненіе дѣла, а *какая-нибудь* теорія, поскорѣе нуженъ былъ новый авторитетъ, новое имя, новое знамя. Слѣдовательно *переворотъ въ наукѣ* произошелъ не въ строгомъ соотвѣтствіи съ развитіемъ науки, а подгоняемый посторонними вліяніями. Не наука внезапно повернула въ другую сторону, а натуралисты.

И мы знаемъ, какое главное вліяніе содѣйствовало перевороту: это былъ матеріализмъ, или, если взять дѣло общѣе, это было то направленіе мыслей, которое можно назвать *европейскимъ нигилизмомъ*, и котораго нашъ нигилизмъ есть частное отраженіе, очень своеобразное и можетъ быть наиболѣе рѣзкое изъ всѣхъ. Нигилизмъ же есть явленіе преимущественно нравственное, отнюдь не голое умственное заблужденіе. И слѣдовательно міръ ума и науки оказался въ настоящемъ случаѣ подчиненнымъ міру нравственному,—что и доказать надлежало.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Послѣдователи и противники. *)

Путаница въ умахъ.—Геккель.—Механическое объясненіе происхожденія видовъ.—Роста и наслѣдственности не объясняетъ Дарвинъ.—Цѣлесообразность.—Слова Гельмгольца.—Агасизъ.—Бэръ.—Замѣтка о переводахъ.

I.

Русскій переводъ главнаго сочиненія Дарвина вышелъ уже третьимъ изданіемъ. Другое его сочиненіе, *О происхожденіи человѣка*, появилось у насъ, какъ извѣстно, въ трехъ переводахъ разомъ. И такъ, Дарвинъ у насъ популярный писатель; онъ читается не только спеціалистами, а массою публики, людьми питающими притязаніе на образованность и просвѣщеніе. Къ сожалѣнію, никакъ нельзя радоваться подобному распространенію *любви къ серьозному чтенію*; нынѣшняя страсть къ Дарвину есть явленіе глубоко-фальшивое, чрезвычайно уродливое. Дарвинъ по видимому пишетъ ясно и отличается большою точностію и простотою выраженій; но нельзя сказать, чтобы онъ писалъ толково; онъ не указываетъ

---

*) **О происхожденіи видовъ**, сочиненіе *Чарльса Дарвина*. Перевелъ съ англійскаго *С. А. Рачинскій*. Изданіе третье, исправленное. Москва 1873.

Zum Streit über den Darwinismus. Von *K. E. von-Baer* (aus der „Augsburger Allgemeinen Zeitung“). Dorpat 1873. (*Къ спору о дарвинизмѣ*. К. Э. Бэра [изъ „Всеобщей Аугсбургской Газеты“]. Дерптъ, 1873).

хода своихъ мыслей, ихъ отношенія къ существующимъ понятіямъ, ихъ точнаго объема. Два его сочиненія *О происхожденіи видовъ* и *О происхожденіи человѣка* имѣютъ совершенно неправильное заглавіе; они никакого *происхожденія* не объясняютъ; первое приличнѣе было бы назвать трактатомъ о *вымираніи видовъ*, а второе *о чертахъ сходства*, существующаго между человѣкомъ и животными.

Какъ бы то ни было, путаница въ умахъ читателей, возбужденная Дарвиномъ, невѣроятно велика; это одинъ изъ самыхъ жалкихъ примѣровъ уродливостей, порождаемыхъ наукою, когда она перестаетъ быть дѣломъ строгаго изслѣдованія. Естественно, что въ массѣ публики вопросы ставятся грубо, рѣзко, господствуютъ предразсудки, дѣйствуетъ авторитетъ, и вотъ, ученіе нетвердое и одностороннее возводится на степень доказанной истины и набираетъ множество приверженцевъ, которые вѣрятъ не тому, что̀ имъ доказано, даже не тому, что̀ заключается въ словахъ ихъ авторитета, а собственнымъ своимъ выдумкамъ.

Относительно Дарвина можно сказать, что его не знаютъ и не понимаютъ не только обыкновенные читатели, но и сами ученые, ставшіе его послѣдователями. Въ Германіи самый извѣстный изъ дарвинистовъ есть нѣкто *Геккель*, авторъ многихъ объемистыхъ ученыхъ сочиненій. Между тѣмъ, его пониманіе Дарвиновой теоріи ужасно по своей грубости. Вотъ, напримѣръ, какъ онъ излагаетъ сущность дѣла:

„Необыкновенная заслуга *Дарвина*, котораго сочине-„ніе *О происхожденіи видовъ* вдругъ возбудило къ но-„вой сильной жизни совершенно замолкшую *теорію пе-„рерожденія*, состоитъ не только въ томъ, что онъ из-

„ложилъ ее обширнѣе и полнѣе своихъ предшественни-„ковъ и вооружилъ ее всѣми собранными до сихъ поръ „доказательствами разныхъ отраслей зоологической и бо-„танической науки *). Еще бо́льшая заслуга великаго „англійскаго натуралиста состоитъ въ томъ, что онъ въ „первый разъ создалъ теорію, которая *объясняетъ меха-„нически процессъ происхожденія видовъ*, т. е. сводитъ „его на физическія и химическія причины, на такъ на-„зываемыя слѣпыя, безсознательныя и безъ плана дѣй-„ствующія силы природы. Эта теорія, составляющая вѣ-„нецъ и довершеніе всего зданія механическаго понима-„нія природы, есть ученіе о естественномъ подборѣ".

„Слѣпыя, безсознательно и безцѣльно дѣйствующія „силы природы, которыя, какъ доказываетъ Дарвинъ, со-„ставляютъ естественныя дѣйствующія причины всѣхъ „сложныхъ и повидимому столь цѣлесообразно устроен-„ныхъ формъ въ животномъ и растительномъ царствѣ, „суть жизненныя свойства *наслѣдственности* и приспо-„собленія или *измѣнчивости*. Оба эти жизненныя свой-„ства принадлежатъ всѣмъ организмамъ безъ исключенія, „и составляютъ лишь особыя обнаруженія или частныя „явленія двухъ другихъ, болѣе общихъ жизненныхъ дѣя-„тельностей, отправленій *размноженія* и *питанія*, и имен-„но — приспособленіе тѣсно связано съ питаніемъ, а „наслѣдственность съ размноженіемъ. Но, такъ какъ *всѣ „явленія питанія и размноженія суть чисто механиче-„скіе процессы природы и производятся только одними „физическими и химическими причинами*, то тоже нужно „сказать и объ ихъ частныхъ явленіяхъ, объ отправленіяхъ „приспособленія и наслѣдственности. Исключительно толь-

*) Похвала, какъ мы увидимъ, несправедливая.

„ко взаимодѣйствіе этихъ отправленій и тѣ внѣшнія об-„стоятельства, подъ вліяніемъ которыхъ совершается это „взаимодѣйствіе,—суть причины органическихъ образова-„ній и преобразованій.“ (Ueber die Entstehung und den „Stammbaum des Menschengeschlechts. *Dr. Ernst Haeckel*, „Berl. 1868. S. 23, 24).

Вотъ изложеніе, противъ котораго долженъ бы жестоко вооружиться самъ Дарвинъ, если бы заботился о точномъ смыслѣ своей теоріи, а не объ одной извѣстности, не объ одномъ пріобрѣтеніи поклонниковъ, каковы бы они ни были. Но противъ словъ Геккеля вооружится и всякій физикъ, всякій физіологъ. Какъ? — наслѣдственность и измѣнчивость суть *силы природы*! Бо́льшей безсмыслицы въ употребленіи слова *сила* еще не бывало. „Питаніе и размноженіе суть чисто механическіе процессы“; но кто же и когда это доказалъ? Какой физіологъ не скажетъ, что не сдѣлано ни шагу для этого доказательства? И Дарвинъ, выдумавшій для объясненія роста и размноженія организмовъ особую гипотезу *панганезиса*, не долженъ ли прямо сказать, что онъ понимаетъ питаніе и размноженіе никакъ не механически, а скорѣе чисто органически?

Мысль Дарвина очевидно получила у Геккеля самый превратный смыслъ. Но мы видимъ отсюда, чего бы хотѣлось Геккелю, и почему, какъ онъ, такъ и множество другихъ, стали такими ревностными приверженцами Дарвина. Дарвинъ сдѣлалъ только шагъ къ устраненію понятія *цѣлесообразности* въ организмахъ; онъ вовсе не проповѣдывалъ *слѣпыхъ, механически-дѣйствующихъ силъ измѣнчивости и наслѣдственности*, а только попытался свести чудесное устройство организмовъ на *случайное приспособленіе*. Но его послѣдователи уже трубятъ,

что зданіе механическаго взгляда на природу закончено и увѣнчано, что найдены силы, объясняющія всѣ формы организмовъ.

Ничего не найдено, и ничего не объяснено. Въ томъ главномъ сочиненіи Дарвина, заглавіе котораго стоитъ въ началѣ нашей статьи, онъ не говоритъ ни единаго слова, которое имѣло бы цѣлью объясненіе роста и наслѣдственности. И вообще этого объясненія нѣтъ нигдѣ въ его сочиненіяхъ, кромѣ предпослѣдней, XXVII главы его сочиненія „The variation of animals and plants"; а въ этой главѣ онъ объясняетъ ростъ и наслѣдственность не механически, а посредствомъ гипотезы, состоящей изъ очень хитраго и невѣроятнаго усложненія *органическихъ* процессовъ. Такъ что Дарвинъ и не думалъ и не могъ говорить такой глупости, что ростъ и наслѣдственность суть механическія силы природы, не думалъ и не могъ говорить, что онъ объяснилъ эти явленія какъ механическій процессъ.

Но если такъ, то что̀ же сдѣлалъ Дарвинъ? Оказывается, что это гораздо труднѣе понять, чѣмъ обыкновенно думаютъ. И въ самомъ дѣлѣ, его послѣдователи большею частію защищаютъ не его мнѣнія, а свои собственныя, и его противники нападаютъ на то, чего онъ вовсе не думалъ. Чтобы кратко указать въ чемъ состоитъ дѣйствительная мысль Дарвина, мы приведемъ слова Гельмгольца, старавшагося, въ одной изъ своихъ рѣчей, объяснить, что̀ новаго внесъ въ науку Дарвинъ.

„Теорія Дарвина", говоритъ Гельмгольцъ, „сдѣлала „возможнымъ совершенно новое объясненіе *органической „цѣлесообразности*".

„Эта замѣчательная и съ развитіемъ науки все болѣе „и болѣе раскрывавшаяся цѣлесообразность въ строеніи

„и отправленіяхъ живыхъ существъ была главною причи-„ною, побудившею сравнивать жизненные процессы съ дѣй-„ствіями сознательнаго и разумнаго принципа. Мы зна-„емъ во всемъ окружающемъ насъ мірѣ только одинъ „рядъ явленій, имѣющихъ подобный характеръ,—именно „дѣйствія и созданія разумнаго человѣка; и мы должны „признать, что, во множествѣ случаевъ, цѣлесообразность „органическаго міра на столько превосходитъ способности „человѣческаго разума, что ей можно приписать скорѣе „высшія, чѣмъ низшія свойства".

„До Дарвина извѣстны были только два объясненія „органической цѣлесообразности, которыя оба предпола-„гали вмѣшательство свободнаго разума въ ходъ естест-„венныхъ процессовъ. Первое объясненіе, совпадающее съ „виталистическою теоріей, предполагаетъ, что всѣ жизнен-„ные процессы управляются постоянно *жизненною душою*; „другое же объясненіе прибѣгаетъ къ сверхъестественному „разумному существу, творческій актъ котораго произвелъ „въ отдѣльности каждый существующій видъ организмовъ. „Послѣднее воззрѣніе, хотя и принимаетъ болѣе рѣдкія „нарушенія законной связи естественныхъ явленій и поз-„воляетъ относиться строго-научнымъ образомъ къ тѣмъ „процессамъ, которые наблюдаются въ живущихъ теперь „органическихъ видахъ, но и оно не могло вполнѣ устра-„нить всякое нарушеніе естественной закономѣрности, и „поэтому едвали имѣетъ значительное преимущество срав-„нительно съ виталистическимъ воззрѣніемъ, которое, съ „другой стороны, имѣетъ сильную поддержку въ есте-„ственномъ стремленіи человѣка—за одинаковыми явле-„ніями искать одинаковыхъ причинъ".

„Теорія Дарвина заключаетъ въ себѣ существенно „новую плодотворную идею. Она показываетъ, какъ цѣле-

„сообразность въ строеніи организмовъ *можетъ произойти* „безо всякаго вмѣшательства внѣшняго разума, единственно „черезъ необходимое дѣйствіе закона природы,—именно за„кона наслѣдственности индивидуальныхъ особенностей,— „закона давно извѣстнаго и признаннаго, но нуждавшагося „въ болѣе опредѣленномъ формулированіи". („Бесѣда", 1871, іюнь, стр. 265, 266).

И такъ вотъ въ чемъ дѣло, вотъ узелъ вопроса. Главный вѣсъ и смыслъ Дарвиновой теоріи заключаются въ отрицаніи *цѣлесообразности* организмовъ, въ предположеніи, что эта цѣлесообразность произошла отъ накопленія *случайныхъ* измѣненій, оказавшихся невыгодными для существъ, въ которыхъ эти измѣненія случились. Ростъ и наслѣдственность не объясняются въ этой теоріи, а *предполагаются*, какъ данныя явленія, *изъ которыхъ* нужно объяснить остальныя. Дарвинъ собственно стремится свести сложныя и частныя органическія явленія на болѣе простыя и общія, на измѣнчивость и наслѣдственность. Но, такъ какъ онъ не знаетъ, въ чемъ состоитъ сущность этихъ простѣйшихъ явленій, и даже не знаетъ какихъ-нибудь точныхъ и общихъ законовъ, по которымъ они совершаются, то онъ и не могъ сдѣлать этого сведенія надлежащимъ образомъ, а прибѣгнулъ къ уловкѣ, состоящей въ *отрицаніи* того, что̀ требуется для объясненія. Дарвинъ предполагаетъ собственно, что наслѣдственность и измѣнчивость не слѣдуютъ *никакимъ законамъ*, движутся по *всевозможнымъ* направленіямъ, и что правильность и цѣлесообразность получаются только отъ исчезанія формъ, не могущихъ выдержать *борьбы за существованіе*. Вотъ почему, всякій законъ, открываемый въ явленіяхъ измѣнчивости и наслѣдственности, ведетъ къ опроверженію теоріи Дарвина. Сила этой теоріи, вся

ея привлекательность для умовъ заключается именно въ предположеніи *отсутствія законовъ*, въ сведеніи явленій на игру случайностей.

Простодушные читатели часто думаютъ и говорятъ, что Дарвинъ что-то *доказалъ* или *открылъ* или *опровергъ*; между тѣмъ ничего подобнаго объ немъ сказать нельзя; онъ только внесъ въ эту область естественныхъ наукъ свой взглядъ, *идею случайности*, идею совершенно несостоятельную, но которая увлекла умы своимъ отрицательнымъ характеромъ, освобожденіемъ отъ другихъ идей. Что же касается до фактовъ, то они остались тѣ-же, какъ и были,—загадочные, безконечно-таинственные и сложные; объяснить ихъ смыслъ еще никому не дано; можно только отрицать его—что и сдѣлалъ Дарвинъ.

II.

Въ маленькой брошюркѣ знаменитаго Бэра, отца научной эмбріологіи, приводится отзывъ Агасиза, что дарвинизмъ есть *цѣлое болото голословныхъ утвержденій*. „Конечно, говоритъ Бэръ, это очень жестко; но бѣда „въ томъ, что эта жесткость высказана натуралистомъ, „котораго никто не можетъ упрекнуть въ неспособности „къ общимъ идеямъ, и который сверхъ того обладаетъ „основательнѣйшими свѣдѣніями въ палеонтологіи, въ „исторіи развитія и въ сравнительной анатоміи, то есть „именно въ областяхъ науки наиболѣе нужныхъ при рѣ„шеніи вопроса о филогенетическомъ развитіи животныхъ „формъ“ (стр. 5).

Самъ Бэръ очень хорошо видитъ, въ чемъ заключается узелъ Дарвиновой теоріи, зерно ея силы, и весьма остроумно разсуждаетъ объ этомъ.

„Въ чемъ состоятъ“, спрашиваетъ онъ, „тѣ условія, „которыя, по теоріи Дарвина, должны намъ объяснить „цѣлесообразность устройства органическихъ тѣлъ? Ко„нечно въ томъ, что все менѣе цѣлесообразное въ фор„махъ, происшедшихъ отъ безконечно продолжающейся „измѣнчивости, уничтожается въ *борьбѣ за существованіе?* „Смутно припоминается мнѣ при этомъ, что я уже когда„то читалъ или слышалъ о попыткѣ достигнуть цѣлесооб„разнаго, и даже глубокомысленнаго, посредствомъ исклю„ченія всего негоднаго, производимаго случайною измѣн„чивостію. Это смутное воспоминаніе я стараюсь пере„тянуть за *порогъ сознанія,*—и вотъ оно встаетъ передо „мной живо и ясно! Въ Академіи города Лагадо, нѣко„торый философъ, основываясь на вѣрной мысли, что „всякая достижимая для людей истина можетъ быть вы„ражена только словами, написалъ всѣ слова своего языка „во всѣхъ ихъ грамматическихъ формахъ на сторонахъ „кубиковъ, и выдумалъ машину, которая не только пе„реворачивала эти кубики, но и ставила ихъ въ рядъ. „Послѣ каждаго поворота машины, слова, показывавшіяся „рядомъ, прочитывались, и если три или четыре слова имѣли „вмѣстѣ какой-нибудь смыслъ, они заносились въ книгу, „чтобы такимъ образомъ достигнуть всевозможной муд„рости, которая вѣдь ни въ чемъ иномъ не могла выра„зиться кромѣ словъ. Такимъ образомъ, исключеніе не„годнаго было тоже механическое и совершалось несрав„ненно быстрѣе, чѣмъ въ борьбѣ за существованіе. Но „чего же этимъ достигли съ теченіемъ временъ? Къ со„жалѣнію извѣстій объ этомъ у насъ нѣтъ. Единствен„ный историкъ Академіи Лагадо есть Гулливеръ въ сво„ихъ путешествіяхъ къ отдаленнымъ народамъ, именно „въ третьемъ путешествіи. Въ то время, какъ онъ былъ

„тамъ, уже было наполнено отдѣльными изрѣченіями „нѣсколько фоліантовъ, но предполагалось, въ интересѣ „общества и ради его просвѣщенія, построить и привести „въ дѣйствіе 500 такихъ машинъ на казенный счетъ! „Долго принимали этого разсказчика за шутника, такъ „какъ само собою разумѣется, что цѣлесообразное и глу„бокомысленное никакъ и никогда не можетъ возникнуть „изъ случайныхъ частностей, но уже съ самаго начала „должно быть мыслимо какъ нѣчто цѣлое, хотя и спо„собное къ усовершенствованію. А вотъ теперь мы должны „признать, что этотъ философъ былъ глубокій мыслитель, „что онъ предвидѣлъ нынѣшніе тріумфы науки"! (стр. 6, 7).

Такъ говоритъ геніальный старецъ, который—удивительно подумать—*пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ* основалъ научную эмбріологію. Не безъ горькаго чувства онъ видитъ, что то великое движеніе идей, которое воодушевляло его юность и привело его къ созданію новой науки,—теперь изсякло, что прежде чѣмъ оно принесло плоды, которыхъ отъ него ждали, произошелъ наплывъ новыхъ идей, въ борьбѣ съ которыми широкія и величавыя идеи былаго времени обнаружили странное, поражающее безсиліе. Зрѣлище чрезвычайно поучительное для того, кого интересуетъ исторія идей и развитіе наукъ. Изъ брошюрки мы узнаемъ, что Бэръ пишетъ противъ дарвинизма и что всѣ его статьи относящіяся къ этой полемикѣ, и уже явившіяся, и еще приготовляемыя, будутъ напечатаны во второмъ томѣ Reden und Aufsätze (рѣчи и статьи), — сборника, котораго первый и третій томъ уже вышли.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о русскихъ переводахъ Дарвина. Дарвинъ у насъ переводится и издается съ такою небрежностію, которая странно противорѣчитъ великому уваженію, повидимому питаемому къ нему и переводчиками и публикой. Изъ всѣхъ переводовъ и изданій, мы не знаемъ ни одной книги Дарвина, которую можно бы было удобно читать по русски. Лучшимъ еще можно считать переводъ о *происхожденіи видовъ*, хотя и тутъ читатель на каждой страницѣ спотыкается о такіе обороты:

„Весьма сожалѣю, что недостатокъ мѣста лишаетъ меня „*удовлетворенія выразить* мою признательность" и пр. (стр. 2).

„Не могу удержаться отъ того, *чтобы привести* еще „примѣръ" и пр. (стр. 57).

„Одинъ полновѣсный авторитетъ, сэръ Чарльсъ Лейелль, „*по дальнѣйшему размышленію* впалъ на этотъ счетъ въ сильныя сомнѣнія" (стр. 233).

Это совсѣмъ не по русски. Но есть и такія мѣста, гдѣ нескладица происходитъ отъ слишкомъ большаго усердія переводчика къ русскому языку. Напримѣръ:

„Нѣтъ непогрѣшимаго *вѣдала* для распознаванія вида „отъ рѣзкой разновидности" (стр. 44).

Имя существительное *вѣдало* встрѣтилось намъ въ первый разъ въ этой книгѣ; оно, очевидно, должно замѣнять слово *критерій*, которое переводчикъ нашелъ помѣхою для ясности и красоты русской рѣчи. Точно такъ, изъ новаго третьяго изданія онъ изгналъ даже слово *натуралистъ* и замѣнилъ его будто-бы болѣе благозвучнымъ и понятнымъ словомъ *естествоиспытатель*. Вотъ труды по истинѣ напрасные! Ужъ если вы такъ любите русскій языкъ, то прежде всего и больше

всего старайтесь сохранить его строй, русскій синтаксисъ, позаботьтесь о томъ, чтобы согласованіе словъ и теченіе рѣчи было точно, живо и ясно; а отдѣльныя иностранныя слова есть самое меньшее изъ золъ, возможныхъ въ русской книгѣ. Притомъ *натуралистъ*, *критерій* не суть англійскія слова, а слова *всемірныя*, которыя поэтому должны употребляться въ каждомъ образованномъ языкѣ. Напротивъ, если вы англійское слово satisfaction переведете буквально *удовлетвореніе*, то вы сдѣлаете англицизмъ, который ни въ русскомъ и ни въ какомъ другомъ языкѣ терпимъ быть не долженъ.

Въ новомъ изданіи, хотя оно именуется *исправленнымъ*, кажется не сдѣлано никакого исправленія, кромѣ изгнанія слова *натуралистъ:* ошибки, которыя мы привели, повторены въ третьемъ изданіи въ томъ самомъ видѣ, какъ онѣ явились въ первомъ. Опечатками новое изданіе кишитъ гораздо болѣе перваго.

Мы боимся утомлять читателей указаніемъ замѣченныхъ нами сверхъ того неточностей, пропущенныхъ словъ, неправильной передачи терминовъ и т. д. Но упомянуть объ этихъ неисправностяхъ считаемъ своимъ долгомъ. Горькій опытъ убѣдилъ насъ, что вообще изучать Дарвина по русскимъ переводамъ невозможно, что очень часто встрѣчается надобность обращаться къ подлиннику. Мы знаемъ, что хорошіе переводы вообще большая рѣдкость и всегда были рѣдкостію не въ одной нашей, но и во всякой другой литературѣ; все-таки нельзя не пожалѣть, что Дарвину не болѣе посчастливилось въ русской литературѣ.

(1872—73 гг.).

IV.

ЦЕЛЛЕРЪ *).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Вопросъ объ исторіи философіи.

Умственное владычество Германіи. — Ренанъ объ Маколеѣ. — Вопросъ о задачѣ исторіи философіи.—Льюисъ.—*Исторія наукъ въ Германіи.*—Какъ Целлеръ излагаетъ содержаніе философскихъ книгъ.— Что такое философъ?—Лессингъ.

Нѣмецкія книги — суть лучшія книги на свѣтѣ. Въ сферѣ мысли и науки Германія, какъ извѣстно, имѣетъ авторитетъ, высоко стоящій надъ авторитетомъ другихъ просвѣщенныхъ народовъ. Это умственное владычество тѣмъ поразительнѣе, что Германія пріобрѣла его очень поздно; чтобы завоевать его, она должна была выйти изъ того презрѣнія и умственнаго подчиненія, въ которомъ нѣкогда находилась, и должна была взять верхъ надъ странами, уже давно обладавшими высокою умственною жизнью. „Въ серединѣ XVII столѣтія“, разсказываетъ Целлеръ, „другіе народы (Италія, Англія, Франція, „Голландія) высокомѣрно смотрѣли на нѣмцевъ, считая

*) **Geschichte der Wissenschaften in Deutschland.** Neuere Zeit. Bd. XIII. **Geschichte der deutchen Philosophie**, von Dr. Eduard *Zeller*. München, 1873. (**Исторія наукъ въ Германіи.** Новое Время. Томъ XIII. **Исторія нѣмецкой философіи**, Эдуарда *Целлера*. Мюнхенъ, 1873).

„ихъ мало способными къ наукамъ, и всего меньше „готовы были признать способность къ философіи за „тѣмъ самымъ народомъ, который впослѣдствіи былъ „преувеличенно названъ *народомъ мыслителей*“ (стр. 1).

Какъ мы знаемъ, это высокомѣріе къ нѣмцамъ продолжалось и въ XVIII столѣтіи и уступило только блестящимъ подвигамъ германскаго генія, который къ концу этого столѣтія создалъ свою литературу и философію. Съ тѣхъ поръ, побѣда слѣдовала за побѣдой, и умственное владычество Германіи получило силу, которой никогда не имѣли другія страны. Германія стала въ полномъ смыслѣ слова учительницею Европы, а слѣдовательно и всего міра. Франція и Англія, тѣ двѣ страны, которыя повидимому могли бы соперничать съ Германіею, покорно преклонились передъ нею. Послушайте Ренана, когда онъ говоритъ о нѣмецкой культурѣ и о своемъ первомъ знакомствѣ съ нею; для него это— новый высшій міръ, какой-то храмъ, въ который онъ вошелъ съ восторгомъ и благоговѣніемъ изъ мелкаго міра французской мысли и науки. Точно такъ и у Карлейля, посвященнаго въ тайны нѣмецкой философіи, его родная англійская философія и наука вызываютъ величайшее презрѣніе. Блестящій и всесвѣтно знаменитый писатель Маколей вызвалъ какъ-то у Ренана отзывъ, который мы приведемъ для примѣра, чтобы показать, какъ далеко взглядъ человѣка, знакомаго съ германской наукою, отступаетъ отъ обыкновенныхъ сужденій. „Разъ „какъ-то я сталъ читать Маколея“, разсказываетъ Ре„нанъ. „Эти рѣзкіе приговоры, эта враждебность къ „своимъ противникамъ, эти явно признаваемые пред„разсудки, это отсутствіе безпристрастія и способности „понимать противоположные взгляды, этотъ либерализмъ

„безъ всякой широты пониманія, это христіанство вовсе „не христіанское,—все это возмутило меня. Таковъ бѣд„ный родъ человѣческій, что для него нужны узкіе „умы“.

Но Англія и Франція—страны слишкомъ своеобразныя, имѣющія слишкомъ давнюю, уже крѣпко сложившуюся и сильно разросшуюся культуру; поэтому онѣ не могли подпасть слишкомъ глубокому вліянію Германіи; онѣ продолжали жить своею умственною жизнью, хотя и чувствовали, что у нихъ отнято первенство, что власть ихъ потеряна. Но мы, русскіе, — другое дѣло. Не имѣя своей науки и философіи, неудерживаемые никакими преданіями и обладая хотя безплодною, но на все способною подвижностью, мы постоянно усвоивали себѣ направленіе нѣмецкой науки, такъ что все наше просвѣщеніе главнымъ образомъ есть плодъ германскаго просвѣщенія. До послѣднихъ дней Германія есть наша учительница, и различные фазисы нашей умственной жизни непремѣнно содержатъ въ себѣ отраженіе философскаго и научнаго движенія Германіи.

И такъ, новая нѣмецкая книга, трактующая о важномъ предметѣ и излагающая намъ современное состояніе науки, представляетъ для насъ очень важное и интересное явленіе. Въ настоящемъ случаѣ дѣло идетъ объ *исторіи философіи*. Спрашивается, чему же насъ учатъ нѣмцы относительно этого предмета? Знаменитый ученый написалъ исторію нѣмецкой философіи; мы съ жадностію беремся за книгу; но, разумѣется, не съ тѣмъ чтобы изучать ученія Лейбница, Канта, Гегеля—мы и прежде были съ ними знакомы,—а съ тѣмъ, чтобы найти для себя высшее руководство, получить наставленіе, какъ научнымъ образомъ понимать и обработывать исторію

философіи вообще. Въ чемъ главная задача этой науки и какъ мы можемъ достигать ея?

Къ удивленію и сожалѣнію, мы не находимъ въ новой книгѣ никакого отвѣта на эти вопросы, на вопросы вполнѣ законные, которымъ насъ научила сама же Германія. Вотъ фактъ, на который мы желаемъ обратить вниманіе читателей. Наша великая учительница очевидно въ величайшемъ смущеніи; она умалчиваетъ о самыхъ существенныхъ пунктахъ науки, а о другихъ говоритъ съ странной осторожностію, съ безпрерывными и неясными оговорками.

Для того чтобы писать исторію философіи, нужно самому философствовать, непремѣнно нужно исповѣдывать какое-нибудь философское ученіе. Иначе ничего нельзя будетъ понять въ исторіи философіи. Для человѣка, который вовсе чуждъ философскаго мышленія, философскихъ убѣжденій, вся эта исторія явится какимъ-то неинтереснымъ вздоромъ. И нынѣшнее настроеніе умовъ очень близко къ такому взгляду на дѣло. Для нынѣшняго времени, когда нѣкоторую силу имѣютъ только эмпиризмъ, матеріализмъ и позитивизмъ, самый логическій взглядъ на исторію философіи будетъ такой, что философія есть печальное заблужденіе, отъ котораго по немногу освобождалось и освобождается человѣчество. Въ такомъ духѣ написалъ свою исторію Льюисъ, позитивистъ. Онъ писалъ исторію философіи такъ точно, какъ физикъ можетъ написать исторію магіи, химикъ— исторію алхиміи, астрономъ—исторію астрологіи. Если занятіе подобными предметами и нельзя считать очень важнымъ дѣломъ, то все-таки это дѣло возможное, имѣющее опредѣленный смыслъ. Но Целлеръ находится въ гораздо болѣе затруднительномъ положеніи, чѣмъ Льюисъ.

Онъ не держится *никакого* взгляда, а между тѣмъ долженъ былъ написать исторію философіи.

Дѣло происходило такъ. Отецъ нынѣшняго баварскаго короля, Максимиліанъ II, задумалъ, для славы Германіи и въ поученіе міру, дать намъ исторію того, чѣмъ всего больше можетъ гордиться Германія, *исторію наукъ въ Германіи*. Исполненіе этого плана онъ поручилъ состоящей при мюнхенской академіи наукъ „исторической коммиссіи", которая разослала приглашенія знаменитѣйшимъ изъ современныхъ нѣмецкихъ ученыхъ. Эти знаменитости почти исключительно оказались профессорами; двадцать четыре такихъ знаменитости взялись за дѣло, и оно исполнено уже больше чѣмъ на половину.

Вотъ какъ случилось, что Целлеру, знаменитому своимъ трудомъ: *Философія Грековъ въ ея историческомъ развитіи*, досталось писать исторію философіи въ Германіи. Между тѣмъ, что̀ такое философія и въ чемъ заключается ея исторія, онъ не знаетъ. То есть, онъ знаетъ разные *чужіе* отвѣты на эти вопросы, но ни одинъ отвѣтъ имъ не усвоенъ, не принимается за неизмѣнное руководство. Очень странно сказать, а между тѣмъ весьма похоже по виду, что въ настоящемъ случаѣ онъ даже вовсе забылъ объ этихъ вопросахъ. Въ предисловіи онъ объ нихъ не упоминаетъ, но настоятельно жалуется на совершенно другія затрудненія, именно на то, что отъ него требовали, чтобы все сочиненіе было въ одномъ томѣ и чтобы оно было написано по возможности популярно. Въ его книгѣ почти тысяча страницъ, но и этого ему было мало. „Въ самомъ изложеніи философскихъ взглядовъ", пишетъ онъ, „я принужденъ былъ говорить мимохо„домъ о многомъ, что заслуживало бы само по себѣ бо„лѣе подробнаго изложенія; *внутреннюю связь и научное*

„*обоснованіе ихъ* я часто могъ указать только немно-„гими чертами и долженъ былъ опустить или бѣгло „упомянуть о многихъ цѣнныхъ частныхъ изслѣдова-„ніяхъ и замѣчаніяхъ“ (Vorrede, S. VII).

Не странный-ли пріемъ—въ исторіи философіи излагать разные философскіе взгляды, но опускать, за недостаткомъ мѣста, *ихъ внутреннюю связь и научное ихъ обоснованіе?* Для Целлера какъ будто самое важное не философія и ея развитіе, а та литература, та масса книгъ, которая написана о философіи и которая вѣроятно украшаетъ стѣны его кабинета. Изъ-за изложенія содержанія этихъ книгъ онъ забываетъ излагать значеніе и связь тѣхъ идей, которыя ихъ породили. Книга Целлера есть сочиненіе не философа, а филолога, и даже филолога въ дурномъ смыслѣ—такого, для котораго буква, текстъ — важнѣе духа, идеи. Не знаемъ, какъ бы онъ изложилъ внутреннюю связь и научное обоснованіе философскихъ ученій, если бы вмѣсто одного тома въ тысячу страницъ написалъ десять такихъ томовъ; но теперь мы не находимъ въ его книгѣ не только внутренней связи явленій философіи, но не находимъ и яснаго пониманія того, что̀ такое философія.

Отъ научныхъ требованій вѣдь невозможно уклониться. Какъ бы мы ни хитрили, уклоняясь отъ прямаго отвѣта на существенные вопросы, а прійдется же гдѣ-нибудь дать косвенное указаніе па то, какъ мы ихъ понимаемъ. Когда, напримѣръ, пишемъ исторію философіи, то хотя бы у насъ эта исторія была похожа на библіографію, и тогда намъ прійдется отвѣчать на такой вопросъ: какого писателя слѣдуетъ занести въ эту исторію и какого нѣтъ? Кого нужно считать философомъ и кого нѣтъ? И слѣдовательно,—*что такое философъ?*

Послѣ всего, что̀ было писано и толковано о философіи, Целлеръ конечно не могъ, да и не былъ расположенъ пропустить кого-нибудь изъ замѣтныхъ философовъ; но по своей жадности къ философской литературѣ, къ книгамъ, онъ непремѣнно долженъ былъ впасть въ противоположную ошибку и занести въ свою исторію тѣхъ писателей, которые лишь слабо связаны съ философіею. Такъ, не имѣя мѣста для изложенія внутренней связи и научнаго обоснованія системъ, онъ однако же внесъ въ свою исторію Лессинга и посвятилъ ему 40 страницъ, то-есть вдвое больше, чѣмъ Шопенгауэру и только въ полтора раза меньше, чѣмъ Гегелю.

Философъ ли Лессингъ, или нѣтъ? Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, очевидно нужно знать, что̀ такое философія. И вотъ Целлеръ, который какъ будто избѣгалъ всякаго изложенія своихъ мнѣній о философіи, принужденъ высказаться.

„Когда мы слышимъ имя Лессинга, то прежде всего „конечно вспоминаемъ о заслугахъ, которыя оказалъ „этотъ рѣдкій человѣкъ всей нашей литературѣ и нашей „духовной жизни. Его величіе основывается не на успѣш„ной разработкѣ отдѣльной спеціальности, а на томъ „дѣйствіи, которое онъ производилъ во всѣ стороны, на „тѣхъ зажигающихъ и озаряющихъ искрахъ, которыя „неустанно разсыпалъ этотъ пламенный духъ, чѣмъ бы „онъ ни занимался. Прежде всего, онъ для насъ—неза„висимый, самъ на себя опирающійся характеръ, кото„рый безъ отдыха и страха боролся за дѣло умствен„ной свободы; геніальный, никѣмъ не превзойденный „критикъ, который безпощадно преслѣдовалъ ложный „вкусъ и надувающуюся посредственность, который съ „образцовой ясностію опредѣлилъ задачу поэзіи и теат-

„ральнаго искусства, который, очистивъ и ограничивъ „каждую область, разъяснилъ отношеніе искусства къ „наукѣ, различныхъ искусствъ и видовъ искусства другъ „къ другу, философіи къ теологіи и теологіи къ религіи; „классическій писатель, который занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между основателями нѣмецкаго театра и нѣмецкой прозы. Только одинъ листикъ его вѣнца, и не „тотъ, который всего больше бросается въ глаза, принадлежитъ исторіи философіи. Его натура и ходъ его жизни „одинаково содѣйствовали тому, чтобы образовать изъ „него перворазряднаго критика, но никакъ не систематика. Какъ мало онъ имѣлъ расположенія и признанія „стать систематикомъ, видно уже изъ знаменитыхъ словъ, „характеризующихъ всего человѣка: „если бы Богъ въ „своей правой рукѣ держалъ всю истину, а въ лѣвой „только вѣчно-живое стремленіе къ истинѣ, хотя бы съ „условіемъ—вѣчно заблуждаться, и если бы мнѣ дано „было выбирать, я выбралъ бы лѣвую руку; чистая „истина вѣдь хороша для одного лишь Бога“. Лессингъ „былъ слишкомъ критическая натура, чтобы не подвергать сомнѣнію своихъ собственныхъ выводовъ, слишкомъ безустанный изслѣдователь, чтобы успокоиться на „какомъ-нибудь положеніи, какъ на незыблемомъ основаніи для дальнѣйшаго созиданія; онъ былъ слишкомъ „низкаго мнѣнія о человѣческой познавательной способности, чтобы нашимъ представленіямъ, какъ скоро они „выходятъ за предѣлы самыхъ общихъ нравственныхъ „и религіозныхъ убѣжденій, приписать бо́льшее значеніе, „чѣмъ лишь простую вѣроятность; то, что̀ ему предлагалось какъ несомнѣнное, уже по этому самому было для „него подозрительно; но, какъ этого нельзя не видѣть „и какъ это совершенно понятно при такой необыкно-

„венной умственной возбудительности, у него, при всей „логической остротѣ, не доставало той степени терпѣнія „и привычки къ методическому, идущему шагъ за шагомъ, „не пропускающему ни единаго посредствующаго члена „мышленію, которая необходима для систематическаго „философа. И такъ, если исторія философіи должна бы „была повѣствовать только о тѣхъ, которые были осно- „вателями или послѣдователями опредѣленной системы, „то ей слѣдовало бы пройти Лессинга молчаніемъ. Но „если она напротивъ должна *говорить о всѣхъ, которые „тѣмъ или другимъ способомъ содѣйствовали развитію „и проясненію философскихъ понятій*, то она не только „приметъ Лессинга во вниманіе, но и должна будетъ на- „звать его (за исключеніемъ Канта) величайшимъ изъ „философовъ просвѣтительнаго періода“ (стр. 349, 350).

Вотъ и разберите, кто философъ и кто нѣтъ. Развѣ не всякій поэтъ, развѣ не всякій крупный писатель или ученый способствуетъ *тѣмъ или другимъ способомъ* развитію философскихъ понятій? По Целлеру выходитъ, что всѣ они должны быть зачислены въ философы, и многіе конечно въ величайшіе философы своего времени. Какъ бы посмѣялся Лессингъ, прочитавъ себѣ такую похвалу,— онъ, такъ строго разграничивавшій различныя области умственной и художественной дѣятельности! Если есть научная задача для исторіи философіи, то она, конечно, прежде всего заключается въ томъ, чтобы въ различныхъ видахъ и формахъ, въ которыхъ проявлялось философское мышленіе, найти его всегдашнія отличительныя черты, показать его отношеніе къ другимъ явленіямъ умственной жизни, найти его *спеціальное* значеніе въ жизни человѣчества. Философы, почти такъ же, какъ поэты, суть люди особенные, обладающіе особыми талантами и имѣю-

щіе особую область творчества. Не только творить поэзію могутъ лишь немногіе, лишь дѣйствительные поэты, но и пониманіе поэзіи бываетъ доступно людямъ въ различной степени. Тоже самое нужно сказать о философіи. Лессингъ могъ обладать великими умственными силами, могъ быть даже очень способенъ понимать философскія ученія, и въ тоже время вовсе не имѣть настоящаго философскаго таланта.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Отношеніе философіи къ другимъ наукамъ.

Философія какъ лишняя наука.—Философія какъ наука подчиненная.—Главенство философіи.—Естественныя науки, ихъ успѣхи и значеніе для философіи.—Гельмгольцъ.—Механическая теорія теплоты.—Полный упадокъ философіи. — Радостныя надежды Целлера. —Заключеніе.

Когда потеряна идея философіи, тогда эта наука не выдѣляется изъ массы другихъ наукъ, сливается со всякими областями умственной дѣятельности. Но тогда она непремѣнно окажется *излишнею* наукою. Самое обыкновенное возраженіе противъ философіи, на которое справедливо ссылаются даже мало способные къ мышленію люди, будетъ слѣдующее: частныя науки обнимаютъ собою всѣ предметы познанія; зачѣмъ же еще нужна общая наука? Если философія хочетъ говорить о душѣ, о познаніи, то на это есть психологія; если о веществѣ, то на это есть физика и химія; если о развитіи человѣчества, то на это есть исторія, и т. д. Философія имѣетъ притязаніе на какое-то главенство надъ науками; но науки повидимому не нуждаются ни въ какомъ руководствѣ; онѣ работаютъ и развиваются вполнѣ самостоятельно, и слѣдовательно философія есть вещь излишняя.

Но бываютъ времена, когда идея философіи еще болѣе страдаетъ, когда она не отрицается, а извращается.

Очень часто на философію смотрятъ какъ на подчиненную науку,—именно, считаютъ ея принадлежностію самыя общія научныя положенія и думаютъ, что эти положенія могутъ быть только выводомъ, результатомъ частныхъ наукъ. При такомъ пониманіи, философія не только лишается своего настоящаго мѣста, но и прямо становится на другое мѣсто, весьма низкое и на которомъ нѣтъ даже возможности для какихъ нибудь притязаній.

Вообще, отношеніе философіи къ наукамъ есть существенная черта, когда вопросъ идетъ о состояніи философіи. Конечно, развитіе наукъ и развитіе философіи имѣютъ нѣкоторый общій корень во внутренней жизни человѣчества; но научный духъ извѣстнаго времени ни въ чемъ не выражается такъ ясно и сильно, какъ въ философіи этого времени. Поэтому, если философія сильна, она неотразимо и плодотворно дѣйствуетъ на науки, слѣды ея вліянія часто простираются на огромное протяженіе; такъ, мы до сихъ поръ въ литературномъ и ученомъ языкѣ употребляемъ категоріи Декарта и Локка; и эти категоріи составляютъ едва ли не бо̀льшую часть понятій, употребляемыхъ образованными людьми, когда они вздумаютъ пофилософствовать. Если же науки не хотятъ знать философіи, или даже враждуютъ противъ нея и сами заявляютъ право на рѣшеніе всякихъ вопросовъ, то это вѣрный признакъ упадка не только философіи, но и истинно-научнаго духа въ наукахъ. Отчего зависятъ подобныя колебанія? Не имѣютъ ли науки и философія еще болѣе глубокой основы, движеніе которой составляетъ причину ихъ движеній? Что̀ свидѣтельствуетъ объ этомъ исторія? На всѣ эти вопросы мы напрасно стали бы искать хоть намека въ книгѣ Целлера.

По обычаю, однако же, онъ признаетъ, что прогрессъ

идетъ впередъ твердо и неуклонно, и потому разсказываетъ всю исторію такимъ тономъ, какъ будто она представляетъ рядъ какихъ-то успѣховъ, хотя и не видно точной связи между ними и того пути, по которому всѣ они движутся. Но въ концѣ книги онъ изображаетъ нынѣшнее положеніе дѣлъ, и тутъ, не смотря на всю уклончивость его отъ прямыхъ сужденій, очень ясно видно, что прогрессъ ни къ чему не пришелъ. Современное положеніе дѣлъ разсказывается такъ:

„Быстрый полетъ естествознанія въ послѣднія десяти-„лѣтія, огромная масса добытыхъ имъ свѣдѣній, блес-„тящія открытія, къ которымъ оно пришло, были таковы, „что вполнѣ могли дать ему въ общемъ мнѣніи перевѣсъ „надъ всѣми другими науками, и именно надъ философіею. „По плодотворности своихъ пріемовъ, по твердости и „пользѣ своихъ результатовъ, оно тѣмъ болѣе отодвигало „философію на задній планъ, чѣмъ менѣе большинство „имѣло ясныхъ понятій объ ихъ взаимномъ отношеніи, „чѣмъ исключительнѣе подъ философіею, когда ее при-„ходилось сравнивать съ естествознаніемъ, разумѣлась „обыкновенно шеллинговская или пожалуй гегелевская „натурфилософія, чѣмъ неизвѣстнѣе было большинству, „какъ много само естествознаніе обязано философіи, „сколько разныхъ метафизическихъ предположеній и по-„нятій оно само употребляетъ, сколько у него съ другой „стороны результатовъ составляющихъ лишь гипотезы, „неимѣющія полной научной достовѣрности; чѣмъ легче, „наконецъ, былъ упускаемъ изъ виду вопросъ, дѣйстви-„тельно ли и въ какой мѣрѣ собственные задачи и пред-„меты философіи допускаютъ естественно-научный пріемъ „обработки. Такимъ образомъ составилось подъ конецъ „предубѣжденіе, что философія въ наше время съиграла

„свою роль и ей ничего больше не остается, какъ вполнѣ „распуститься въ физику и физіологію. Самое рѣшитель„ное выраженіе этого мнѣнія можетъ быть найдено въ „матеріализмѣ, который былъ провозглашенъ и исповѣ„дуется *Молешоттомъ*, *Бюхнеромъ*, *К. Фохтомъ* и многими „другими, большею частію физіологами и врачами, между „тѣмъ какъ *Чолбе* все больше и больше колебался въ „этомъ исповѣданіи“ (стр. 913).

Попробуемъ отдать себѣ отчетъ въ томъ, что̀ здѣсь разсказывается. Какъ ни объясняетъ Целлеръ *перевѣсъ* естественныхъ наукъ надъ философіею, онъ очевидно не даетъ полнаго объясненія. Какимъ образомъ философія могла пострадать отъ того, что одна изъ отраслей знанія сдѣлала большіе успѣхи? Какъ случилось, что физіологи и врачи смѣютъ возставать противъ философіи, тогда какъ (по словамъ Целлера) они сами не знаютъ, противъ чего возстаютъ? Целлеръ очень справедливо не приписываетъ матеріализму никакого философскаго значенія и видитъ источникъ его философской роли только въ невѣжествѣ тѣхъ, кто его исповѣдуетъ. Но какъ же случилось, что невѣжество взяло верхъ надъ знаніями? На эти вопросы нельзя иначе отвѣчать, какъ признавъ, что причина всего явленія не въ силѣ естественныхъ наукъ, а въ безсиліи философіи, и что естественныя науки въ этомъ случаѣ обнаруживаютъ въ себѣ самихъ очевидный упадокъ научнаго духа, а не какое-нибудь блестящее его развитіе. Развѣ хорошо состояніе той науки, которая выходитъ за свои предѣлы, не различаетъ своихъ основаній, принимаетъ гипотезы за достовѣрные результаты? И дѣйствительно, нынѣшнее движеніе естественныхъ наукъ по силѣ мысли далеко уступаетъ бле-

стящей эпохѣ развитія, которую онѣ пережили отъ конца прошлаго столѣтія до сороковыхъ годовъ нынѣшняго.

Но Целлеръ, незыблемо вѣруя въ прогрессъ, далекъ отъ этихъ мыслей. Онъ не замѣчаетъ жалкаго состоянія философіи, къ которому она пришла въ заключеніе своей исторіи, и думаетъ, что все идетъ прекрасно. Онъ продолжаетъ такъ:

„Этотъ новый матеріализмъ едва ли породилъ какую „нибудь научную мысль, которой бы нельзя было найти „уже у Дидерота и Гольбаха; однако же, онъ не лишенъ „вовсе значенія. Ибо, съ одной стороны въ немъ за„ключается настоятельное требованіе отъ философіи, „чтобы она согласовала физіологическіе факты со сво„ими предположеніями; а съ другой стороны, въ немъ, „хотя не прямо, выразилась потребность связать есте„ствознаніе съ нѣкоторымъ болѣе всеобъемлющимъ міро„воззрѣніемъ, т. е. съ философіею. Въ самое послѣднее „время эта потребность, со стороны естественныхъ наукъ „вообще, чувствуется повидимому въ большей мѣрѣ, чѣмъ „нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Именно, тотъ изъ нѣмец„кихъ натуралистовъ, который больше другихъ соеди„няетъ въ себѣ стремленіе обозрѣвать природу въ цѣ„ломъ и въ крупныхъ чертахъ съ многостороннимъ и „основательнымъ изученіемъ частностей, *Г. Гельмгольцъ*, „обязанъ своимъ выдающимся положеніемъ не въ малой „мѣрѣ философскому духу своихъ изслѣдованій; и дѣй„ствительно, исходя отъ физіологіи, онъ пришелъ къ „изысканіямъ и выводамъ по теоріи познанія, въ силу „которыхъ онъ во многихъ случаяхъ соприкасается съ „Кантомъ, и представилъ весьма цѣнный вкладъ въ его „теорію познанія. *Физіологія нашего времени вообще ока„зала значительныя услуги философіи, ближайшимъ обра-*

„*зомъ психологіи, и обѣщаетъ оказать еще большія*; съ „другой стороны, *физика находится въ тѣсномъ отно-„шеніи съ метафизикою*, и такое открытіе, какъ напри-„мѣръ *механическая теорія теплоты*, въ силу которой „только и стало возможно точнѣе формулировать, научно „обосновать и сдѣлать приложимымъ законъ сохраненія „силы, установленный уже Лейбницемъ,—такое открытіе „едва-ли не *столько же важно для метафизики, сколько „для физики*. Это значеніе естественныхъ наукъ не оста-„лось непризнаннымъ и въ нашей философіи; въ послѣд-„нія 25 лѣтъ едва ли явилось сколько нибудь значи-„тельное сочиненіе въ области психологіи и метафизики, „которое не старалось бы поставить себя въ правильное „отношеніе къ этимъ наукамъ и употребить ихъ резуль-„таты для поправки и пополненія своихъ положеній. „Эти стремленія однакоже *еще не привели ни къ какому „коренному преобразованію философской науки*, ни къ „какой новой общепризнанной системѣ; настоящее время, „напротивъ, представляетъ такое расхожденіе научныхъ „взглядовъ и столько ощупью дѣлаемыхъ попытокъ, что „*на основаніи историческаго разсмотрѣнія невозможно „опредѣлить, скоро ли и какимъ образомъ мы прійдемъ „снова къ какой нибудь философской системѣ*, которая „бы господствовала нѣкоторый, короткій или долгій пе-„ріодъ времени“. (ст. 914).

Вотъ страница, которая останется памятникомъ великаго упадка философскихъ понятій въ нынѣшней Германіи. Целлеръ придаетъ здѣсь естественнымъ наукамъ такой авторитетъ, такую силу, что онъ очевидно находится въ рабскомъ страхѣ передъ ними; иначе невозможно объяснить такого чрезвычайнаго превознесенія ихъ. Гельмгольца онъ записываетъ въ философы; при-

писываетъ естественнымъ наукамъ большія заслуги въ разсужденіи философіи, и даже ожидаетъ отъ нихъ новой системы. Все это совершенно невѣрно, не имѣетъ никакого основанія съ настоящей, съ философской точки зрѣнія. Гельмгольцъ есть ученый удивительно остроумный и отлично работающій, но, увы! безъ всякой оригинальности, безъ всякой способности къ новому взгляду. Это большой силачъ, но умѣющій идти только по пробитымъ дорогамъ. Естественныя науки именно въ послѣднія 25 лѣтъ и не оказали никакой услуги философіи, не разработали никакой методы, не пояснили ни одной мысли. Целлеръ ссылается на *механическую теорію теплоты.* Вѣроятно онъ видитъ въ ней какую нибудь ужасную мудрость; но всякій знающій дѣло не долженъ ли признать за вопіющую несообразность мысль, что эта теорія имѣетъ какую-нибудь важность для метафизики? Она есть не болѣе, какъ распространеніе механическаго взгляда, то есть Декартовыхъ категорій, на предметъ, на который ихъ и слѣдовало распространить. Отъ этого ничего не перемѣнилось не только въ метафизикѣ, а и въ физикѣ; научные пріемы и общія основанія остались тѣ-же.

Да и вообще, исторія, которую разсказываетъ Целлеръ, невозможна по самой сущности дѣла. Философія не можетъ подчиняться въ своемъ развитіи какой нибудь частной наукѣ. Ставить философію на одну доску съ другими науками, воображать, что результаты ея и другихъ наукъ имѣютъ одинаковую природу и могутъ замѣнять и пополнять другъ друга, значитъ утратить всякую идею философіи, что̀ безъ сомнѣнія и случилось съ Целлеромъ. Но ему, очевидно, не можетъ прійти и въ голову, что нынѣшнее время есть періодъ упадка; по-

слѣ недавнихъ побѣдъ, такая мысль по видимому невозможна ни для одного нѣмца. И вотъ онъ, не имѣя возможности отрицать, что теперь состояніе философіи весьма сомнительно, оканчиваетъ однакоже свою книгу радостнымъ пророчествомъ.

„Однако", пишетъ онъ, „изъ того хода, который до „сихъ поръ имѣла философія, можно хотя въ общихъ чер„тахъ заключить о направленіи, которое она приметъ „въ ближайшемъ будущемъ".

„Нѣмецкая философія отъ Лейбница до Гегеля, если „брать ее въ цѣломъ, была *идеализмомъ*".

„Въ Гегелевскомъ апріорическомъ построеніи міро„зданія этотъ идеализмъ достигъ своего систематическаго „завершенія... Когда же, на ряду съ упадкомъ философ„ской производительности послѣ смерти Гегеля, стала „происходить многостороннѣйшая и плодотворнѣйшая ра„бота въ области опытныхъ наукъ и преимущественно „естествознанія, то этимъ ясно указывалось, что новая „философія должна вступить въ болѣе тѣсную связь съ „этими науками, что она должна употребить въ свою „пользу ихъ результаты и пріемы, и свой прежній слиш„комъ исключительный идеализмъ пополнить здравымъ „реализмомъ. Да и вся жизнь нашего народа, начиная „съ двухъ третей нынѣшняго столѣтія, вступила въ но„вый фазисъ, въ которомъ политическая и хозяйствен„ная работа получила неожиданный объемъ, нашла себѣ „новыя задачи и достигла результатовъ, о которыхъ пре„жде нельзя было и мечтать. Но, какъ въ этой области „все дѣло въ томъ, чтобы Германія изъ-за внѣшнихъ „успѣховъ не забывала своихъ духовныхъ и нравствен„ныхъ условій, изъ-за новыхъ задачъ—своихъ преж„нихъ идеаловъ; такъ точно и будущее нѣмецкой фи-

„лософіи прежде всего будетъ зависѣть отъ того, въ ка-„кой степени ей удастся сохранить одинаковую зоркость „какъ для фактическаго свойства вещей, такъ и для „глубже лежащей ихъ связи, какъ для субъективныхъ, „такъ и для объективныхъ элементовъ представленій, „какъ для естественныхъ причинъ, такъ и для идеаль-„ныхъ основъ явленій“ (стр. 915 и 917).

Другими словами—въ настоящее время нѣмцы отказались отъ того идеализма, въ которомъ состояла ихъ философія; они нынче увлечены естественными науками и своими неожиданными политическими успѣхами. Но Целлеръ не хочетъ видѣть здѣсь упадка философіи, а признаетъ тутъ новый шагъ къ ея дальнѣйшему и лучшему развитію. Незаконный авторитетъ, который пріобрѣли естественныя науки, для него есть правильное явленіе, хорошій прогрессъ; и политическіе успѣхи для него, какъ и для всякаго нынѣшняго нѣмца, составляютъ предметъ восторга. Поэтому, онъ ни мало не жалѣетъ о погибели той философіи, исторію которой написалъ, нимало не замѣчаетъ, что умственная жизнь Германіи ослабѣла; ему кажется даже, что теперь дѣло идетъ лучше прежняго. Такія мнѣнія, какъ и вся его книга, доказываютъ только, что намъ уже нечему учиться у нѣмцевъ, когда дѣло идетъ о философіи и ея исторіи.

V

ТРИ ПИСЬМА О СПИРИТИЗМѢ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Идолы.

Интересъ спиритизма.—Равнодушіе.—Оживленіе проповѣди.—Университетъ, натуралисты, журналы. — *Наука.* — *Авторитетъ ученыхъ.*— *Прогрессъ.*—*Эмпиризмъ.*—*Свобода.*—*Позитивизмъ.* — Эти знамена имѣютъ существенное значеніе для спиритизма.

Позвольте предложить вамъ на этотъ разъ небольшое разсужденіе о спиритизмѣ. Между предметами, не касающимися прямо „интереса минуты", по моему мнѣнію это—одинъ изъ самыхъ занимательныхъ и важныхъ. Меня, признаюсь, глубоко удивляетъ то равнодушіе къ вопросу о спиритизмѣ, которое такъ часто встрѣчается. И вѣрящіе, и отрицающіе, и совершенно незнающіе, что̀ имъ думать и говорить,—всѣ относятся къ дѣлу слишкомъ легко, не давая настоящей цѣны ни своей вѣрѣ, ни своему отрицанію, или недоумѣнію. Какъ-то я вошелъ въ полутемную комнату и засталъ нѣсколько человѣкъ своихъ знакомыхъ вокругъ стола, терпѣливо выжидающихъ спиритическихъ явленій. „И вамъ не стыдно!" воскликнулъ я.—Нѣтъ, отвѣчали мнѣ, столъ уже начиналъ двигаться. „И вамъ не страшно?" спросилъ я.—Нѣтъ, отвѣчаютъ, чего же бояться?—„И вамъ не

скучно?“ сказалъ я наконецъ.—Нѣтъ, говорятъ, это любопытно.

Таково вялое, легкое, спокойное отношеніе, которое установилось къ этимъ новѣйшимъ чудесамъ и откровеніямъ. Конечно, въ этомъ равнодушіи таится нѣкоторое предчувствіе истины, слышится справедливый приговоръ всему дѣлу. Не стали-бы такъ играть этими явленіями, если-бы чувствовали, что въ нихъ дѣйствительно задѣваются существенныя основы нашей жизни. Люди вообще живутъ легкомысленно, безъ большихъ запросовъ и отчетовъ; но то легкомысліе, съ которымъ относятся къ спиритизму, выходитъ изъ ряда, превышаетъ обыкновенную мѣру, и потому его можно выводить изъ свойствъ самаго спиритизма.

Отсюда объясняю я себѣ и то, почему такъ мало интересуются теоретическимъ разсмотрѣніемъ дѣла; если дѣло не имѣетъ практической важности, если чувствуется, что оно въ сущности какой-то вздоръ, то всякія разсужденія кажутся обыкновенно лишними и скучными Недоумѣніе, сомнѣніе, неясность—сами по себѣ переносятся легко, если съ ними не связано никакого существеннаго интереса. И тутъ я рѣшительно расхожусь съ равнодушными и спокойными. Практически спиритизмъ дѣло не важное—съ этимъ я согласенъ; но теоретически онъ имѣетъ величайшую занимательность. Когда вы не знаете, что̀ думать и говорить, когда не умѣете дать себѣ никакого отчета въ томъ, что̀ видите собственными глазами, когда всѣ ваши понятія спутаны и вы вполнѣ сбиты съ толку, то конечно вы можете однакоже продолжать ваши дѣла, службу, удовольствія. Эти духи, какъ вы очень хорошо чувствуете, ничему этому не помѣшаютъ. Но оставаться спокойными вы все-таки не

имѣете права. Въ васъ должно быть, если не мученіе отъ неразгаданнаго вопроса, то хотя нѣкоторое желаніе прояснить свои мысли, такъ или иначе согласить то, что̀ вы видѣли, съ вашими понятіями. Вотъ тотъ интересъ, который для меня главный въ этомъ дѣлѣ и ради котораго я пишу.

Съ чего же мы начнемъ? Вопросъ о спиритизмѣ, какъ вы согласитесь, вполнѣ подходитъ подъ то, что̀ я только-что сказалъ; это вопросъ нерѣшенный, темный, трудный; въ немъ никто еще не добрался никакого толку, кромѣ развѣ правовѣрныхъ спиритовъ, которыхъ теоріи однако же не хочетъ признать ни одинъ изслѣдователь. Итакъ, для начала позвольте мнѣ взять дѣло нѣсколько со стороны, сдѣлать нѣсколько соображеній, повидимому побочныхъ, но, какъ я убѣжденъ и постараюсь убѣдить васъ, въ сущности прямо касающихся вопроса. Въ такомъ смутномъ дѣлѣ пріятно и полезно отыскать мѣсто, гдѣ почва не колеблется подъ ногами, гдѣ возможно разсуждать ясно и отчетливо и откуда можно спокойно разсматривать явленія.

Спиритизмъ у насъ давно извѣстенъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ я сиживалъ за столиками, шляпами и тому подобными предметами, и ожидалъ вращенія. Съ тѣхъ поръ спиритизмъ сдѣлался обыкновеннымъ явленіемъ петербургской жизни, не возбуждая однако же общаго и серіознаго вниманія. Но въ прошломъ году (1875) проповѣдь спиритизма вдругъ получила необыкновенную силу, вдругъ стала вопросомъ литературы, предметомъ общихъ и живыхъ толковъ. Вотъ фактъ, который заслуживаетъ по крайней мѣрѣ столько же вниманія, какъ стукъ стола, происходящій отъ загадочной причины. Отчего произошла такая огромная перемѣна въ судьбѣ спиритизма? Судьба

каждаго явленія зависитъ въ извѣстной мѣрѣ отъ его сущности, и потому мы можемъ найти здѣсь какую-нибудь важную черту спиритизма.

Въ прошломъ году проповѣдь спиритизма раздалась къ намъ изъ *университета*; это вопервыхъ. Во вторыхъ, проповѣдь исходила отъ двухъ профессоровъ не заурядныхъ или плохихъ, а такихъ, которые имѣютъ извѣстность отличныхъ *ученыхъ*, не простыхъ преподавателей, а изслѣдователей, двигателей науки. Въ третьихъ, оба профессора, проповѣдующіе спиритизмъ,—*натуралисты*, то есть принадлежатъ къ разряду ученыхъ, имѣющихъ наибольшій авторитетъ, какъ во всей просвѣщенной Европѣ, такъ и у насъ.

Вотъ та сила, которая пришла на помощь спиритизму и вдругъ вызвала его изъ той полутьмы, въ которой онъ прозябалъ (въ Россіи по крайней мѣрѣ). Эта сила имѣетъ для меня совершенно опредѣленный характеръ, который потомъ я успѣю можетъ быть уяснить и вамъ. Для меня очень характерны и всѣ другія обстоятельства этой исторіи, напримѣръ то, что спиритизмъ явился именно въ петербургскомъ, а не въ другомъ университетѣ, что онъ встрѣтилъ въ самомъ же университетѣ оппозицію, что подобную же оппозицію онъ встрѣтилъ и въ петербургской печати, что два профессора вслѣдствіе этого не могли даже найти для своихъ статей мѣста въ петербургскихъ изданіяхъ, что эти статьи пріютила московская печать, имѣющая однако на спиритизмъ совершенно другіе взгляды, чѣмъ у авторовъ статей,—и такъ далѣе. Друзья и единомышленники раздѣлились, люди враждебные по принципамъ сошлись—вотъ одно изъ чудесъ, которое призвелъ спиритизмъ, и на которое кажется мало обратили вниманія.

Но подойдемъ ближе, и мы увидимъ еще болѣе характеристическія черты. Защитники спиритизма въ своихъ статьяхъ постарались какъ можно яснѣе указать знамена, подъ которыми они идутъ, принципы, на которые они опираются. Сила и законность ихъ проповѣди зависитъ отъ твердости этихъ опоръ. Постараемся указать на главнѣйшія изъ этихъ началъ, руководящихъ нашими авторами*).

1) *Наука.* За наукою признается верховный и всеобщій авторитетъ, то есть не только всякое рѣшеніе науки есть высшее, на которое не можетъ быть аппелляціи, но и нѣтъ такого вопроса, который не подлежалъ бы суду науки.

2) *Авторитетъ ученыхъ.* Особенный вѣсъ, особенная сила принадлежитъ сужденіямъ людей, дѣйствительно посвященныхъ въ науку, ея истинныхъ жрецовъ, истинныхъ служителей. Поэтому профессоръ Вагнеръ ссылается на то, что онъ не просто только знакомъ съ наукой, но сдѣлалъ въ ней открытіе, именно *педогенезисъ*; профессоръ Бутлеровъ, хотя могъ бы сослаться на несравненно большія заслуги, по скромности не говоритъ о себѣ, но за то приводитъ цѣлый рядъ авторитетовъ, подобно ему, признающихъ спиритизмъ, *семнадцать* именъ, за которыя говоритъ ихъ извѣстность въ наукѣ и самое ихъ званіе профессоровъ, академиковъ и членовъ ученыхъ обществъ (стр. 323).

3) *Прогрессъ человѣческаго знанія.* Науки дѣлаютъ непрерывные успѣхи, открывая новыя явленія, новые

---

*) *Русскій Вѣстникъ*, 1875, № 10, статья *Н. Вагнера:* „Медіумизмъ"; тамъ же, № 11, статья *А. Бутлерова:* „Медіумическія явленія".

міры предметовъ и свойствъ. Области темныя и загадочныя, вопросы, не поддававшіеся не только разрѣшенію, а даже ясной постановкѣ, понемногу завоевываются наукою, проливающею на нихъ свой свѣтъ. Къ числу такихъ новыхъ областей и будущихъ завоеваній науки принадлежитъ и спиритизмъ.

4) *Эмпирическій методъ*, изученіе фактовъ, какъ единый правильный пріемъ изслѣдованія. Фактъ есть единственно вѣрная точка опоры и стоитъ выше всякихъ разсужденій. Мы имѣемъ право говорить только о томъ, что̀ дано намъ фактами, и должны признавать всякій фактъ, какъ бы онъ ни противорѣчилъ нашимъ понятіямъ и разсужденіямъ.

5) *Свобода изслѣдованія*. Приведу прямо воодушевленныя слова профессора Вагнера:

„Свобода изслѣдованія, свобода мысли—вотъ желанный „лозунгъ, который съ такимъ усердіемъ, съ такою любовью „вырабатывали послѣдніе вѣка! Неужели же этотъ лозунгъ „—пустой звукъ, и мы снова подчинены тѣмъ же дог„матическимъ запрещеніямъ, которыя такъ упорно тяго„тѣли надъ невѣжественнымъ человѣчествомъ въ средніе „вѣка!

„Позволю себѣ еще разъ указать на тѣ слова, которыя „я избралъ эпиграфомъ къ моей статьѣ и которыя прошли „незамѣченными моими критиками:

„„Единственная надежда на улучшеніе міра лежитъ „„*въ свободной мысли* и *въ безграничномъ изслѣдованіи*, „„и все, что̀ мѣшаетъ или противодѣйствуетъ этому вели„„кому возвышенному принципу—несправедливо!““ *).

*) Davis. „Der Zauberstab“, 1867. S. 260. Такъ подписанъ эпиграфъ въ „Русскомъ Вѣстникѣ“.

(„Моск. Вѣд.“ 1875, № 322, перепечатано изъ „Голоса“).

„6) *Позитивизмъ.* „Для насъ уже кончились“, восклицаетъ тотъ же профессоръ, „времена апріористическихъ „убѣжденій; метафизика спѣла свою лебединую пѣсню, и „принципы Бакона Веруламскаго возродились въ *позити-„визмѣ, который стоитъ непоколебимо* на почвѣ опыт-„ныхъ фактическихъ доказательствъ. Въ настоящее вре-„мя толковать о религіозномъ *чувствѣ*—значитъ тол-„ковать о чисто субъективной потребности, которая не „имѣетъ ничего общаго съ позитивизмомъ, тогда какъ „сила медіумизма заключается именно въ томъ, что онъ „*стоитъ на почвѣ положительнаго знанія*, что къ из-„слѣдованію его явленій могутъ и должны быть приложе-„ны научные методы“ („Спб. Вѣдомости„ 1875, № 303).

Вотъ тѣ лозунги, тѣ громкіе принципы, тѣ блестящія знамена, подъ которыми выступаетъ передъ нами спиритизмъ. Если я и пропустилъ какой-нибудь изъ менѣе значительныхъ лозунговъ, то я смѣло увѣряю, что выше тѣхъ, которые я перечислилъ, нѣтъ у нашихъ ученыхъ, что у нихъ невозможно найти другихъ руководящихъ началъ. Что же касается до указанныхъ началъ, то они попались въ рѣчь не случайно, а были выставлены нашими учеными по существенной необходимости; вопервыхъ, для того, чтобы дать своей проповѣди возможно бо́льшую прочность и убѣдительность; во вторыхъ, чтобы положить ясную и рѣзкую границу между собою и разными другими мыслителями и проповѣдниками; въ третьихъ, чтобы оправдать свою проповѣдь, показать ея совершенную невинность и законность. Наши ученые какъ-будто чувствуютъ, что что-то неладно, что они можетъ быть и не совсѣмъ не виноваты; и вотъ они твердятъ:

„мы эмпирики, мы позитивисты, мы работаемъ во имя науки, ради ея прогресса; за насъ авторитетъ европейскихъ ученыхъ и право на свободное изслѣдованіе; возможно ли винить насъ?“ Но это чувство нѣкоторой робости у нашихъ ученыхъ часто смѣняется, какъ и естественно, противоположнымъ чувствомъ отваги, ученой смѣлости. По временамъ кажется, какъ будто они, поднявши всѣ свои знамена, идутъ на своихъ читателей и говорятъ: „Кто противъ насъ? Вы видите эти знамена? Вы ихъ знаете, вы всегда преклонялись передъ ними; такъ преклонитесь же и передъ тѣмъ, что̀ мы теперь несемъ вамъ!“

Въ такомъ видѣ иногда представляется мнѣ эта картина, и наводитъ на меня немалое смущеніе. Идутъ на меня знакомые призраки, которыхъ ничтожество я давно уразумѣлъ и которыхъ обманъ давно считаю великимъ зломъ. Но они укрѣпились въ глазахъ публики, разрослися, и вижу я, какъ, собравшись всею толпою, они создали еще новый призракъ, чудовищный, нелѣпый,—какъ они выводятъ своего новаго товарища передъ своими поклонниками и говорятъ имъ: „вы поклоняетесь намъ,—поклонитесь и ему!“

Простите, что я впадаю въ шутку; нато вѣдь это и *письмо*, а не диссертація. Возвращаюсь однако же къ серіозному тону.

Знамена или лозунги, выставленные нашими натуралистами, я считаю фантастическими понятіями, не соотвѣтствующими тѣмъ предметамъ, которыхъ имена они носятъ, или даже вовсе ничему не соотвѣтствующими. Для обозначенія ихъ я принимаю терминологію Бакона Веруламскаго и называю ихъ *идолами*, то есть ложными образами, кумирами боговъ, не существующихъ въ дѣйствительности. Это— предразсудки новаго времени, это—

миѳическія созданія нашего вѣка, въ которыя онъ вѣритъ часто такъ же слѣпо, какъ вѣрили другіе вѣка въ свои миѳы и свои предразсудки.

Чтобы объяснить, въ какомъ смыслѣ я отрицаю силу и существенность этихъ понятій, я скажу о каждомъ изъ нихъ хоть нѣсколько словъ. О каждомъ такомъ понятіи можно бы, и даже нужно бы, написать цѣлую книгу; но можетъ быть и немногими словами мнѣ удастся предотвратить хотя нѣкоторыя возможныя здѣсь недоразумѣнія.

1) *Наука* есть дѣло великое, хотя и не наилучшее и не наивысшее изъ человѣческихъ дѣлъ. Но та *наука вообще*, на которую такъ любятъ ссылаться, есть истинный *идолъ*, фантастическое понятіе ученыхъ. Каждый спеціалистъ, математикъ, физикъ, физіологъ, думаетъ, что имѣетъ право говорить во имя *науки*, тогда какъ *наукою вообще* могла и можетъ быть, стремилась и стремится стать только философія, о которой такіе спеціалисты обыкновенно и слышать не хотятъ. Философія рѣшаетъ вопросы о границахъ и свойствахъ познанія, она старается указать точную мѣру его авторитета, тогда какъ спеціалистъ, покланяющійся своему кумиру, обыкновенно приписываетъ ему безпредѣльное могущество.

2) *Ученые*, такъ называемые жрецы науки, не имѣютъ права на какой-нибудь особенный, высокій авторитетъ. Наука не есть еще мудрость, и вообще говоря, ученые нисколько не мудрѣе, чѣмъ остальные смертные. Они суть такіе же люди, какъ и всѣ мы; они точно также подвержены слабостямъ, ошибкамъ, заблужденіямъ и предразсудкамъ. Конечно, занятія науками способствуютъ облагороженію характера и изощренію ума: но съ другой стороны, при этихъ занятіяхъ, какъ при всякой трудной и выходящей изъ ряду дѣятельности, люди часто стано-

вятся въ фальшивое положеніе. Притязанія ученыхъ обыкновенно выше ихъ силъ, а предразсудки тѣмъ упорнѣе, чѣмъ выше притязанія. Каждая спеціальность ограничиваетъ кругозоръ человѣка и внушаетъ ему особыя предубѣжденія, такъ что едва ли не легче представить себѣ простаго человѣка безъ предразсудковъ, чѣмъ ученаго.

3) *Прогрессъ* есть одинъ изъ самыхъ обманчивыхъ и опасныхъ идоловъ. Фантастическое понятіе о прогрессѣ ведетъ къ тому, что люди перестаютъ признавать постоянство и неизмѣнность чего бы то ни было, и думаютъ, что все можно передѣлать и усовершить. Безпрестанно являются новаторы, которые пытаются радикально измѣнить самую природу тѣхъ или другихъ вещей; такъ и спириты уже предлагаютъ намъ отказаться отъ нашей физики и механики, и скоро дѣло кажется дойдетъ до отрицанія логики и до реформы таблицы умноженія.

4) *Эмпиризмъ*—великій и слѣпой идолъ. Намъ проповѣдуютъ силу голыхъ фактовъ, какъ будто голые факты возможны. Всякій фактъ зависитъ отъ нѣкоторой причины и имѣетъ нѣкоторыя послѣдствія; вотъ онъ уже и не голый, уже такъ или иначе находится въ связи съ другими фактами. Впрочемъ, знаете ли вы и знаютъ ли наши натуралисты, что послѣдовательные эмпирики утверждаютъ, что *возможны факты безъ всякой причины?* Возьмите русскій переводъ логики Милля, томъ 2-й, и прочитайте тамъ страницу 105 и 106. Если же такъ, если возможны факты безъ причины, то спрашивается, почему же гг. Вагнеръ и Бутлеровъ приходятъ въ такое недоумѣніе отъ фактовъ спиритизма? Если они послѣдовательные эмпирики, то не согласятся ли они на такое рѣшеніе: это—факты безъ причины?

5) *Свобода мысли, свобода изслѣдованія.* Свобода — слово неопредѣленное, которое само по себѣ ничего не значитъ. Всегда нужно спросить: какой вы свободы ищете? то есть: отъ какого стѣсненія желаете избавиться? Нашимъ натурилистамъ, повидимому, ничто не препятствуетъ ни въ ихъ изысканіяхъ, ни въ выраженіи мыслей. Почему же они такъ громко требуютъ свободы? Если ихъ стѣсняютъ не люди, а какіе-нибудь принципы, если, напримѣръ, имъ мѣшаетъ логика, или математика, или здравый смыслъ, то ихъ взыванія къ идолу свободы—напрасныя мольбы.

6) *Позитивизмъ* есть идолъ довольно мудреный. Имя его большею частью призывается всуе, безъ яснаго понятія объ истинныхъ его свойствахъ. Ему приписываютъ величайшую силу противъ метафизики, и за эту-то силу, главнымъ образомъ, ему поклоняются. Въ самомъ дѣлѣ, позитивизмъ заключаетъ въ себѣ ту интересную мысль, что науки (то, что у французовъ называется les sciences) не даютъ метафизическаго познанія; мысль эта содержитъ много правды и во всякомъ случаѣ достойна вниманія; но изъ нея еще не слѣдуетъ, что невозможны метафизика, логика, психологія, какъ это заключаетъ позитивизмъ, заключаетъ потому, что отрицаетъ все, кромѣ наукъ въ тѣсномъ смыслѣ (sciences).

Итакъ, по моему мнѣнію, ни одно изъ знаменъ, подъ которыми выводится спиритизмъ, не способно защитить его, не можетъ служить за него ручательствомъ. Пусть спиритизмъ будетъ что вамъ угодно, пусть онъ есть откровеніе высочайшихъ истинъ и спасеніе рода человѣческаго, но онъ явился къ намъ подъ покровомъ самыхъ характеристическихъ предразсудковъ нашего времени. Это не даромъ, это имѣетъ свои причины. Натуралисты,—

эти пророки нашего времени, стали пророками спиритизма. Это очень важно. Тѣ способы разсужденія, тѣ пріемы мысли, тѣ руководящіе принципы, которые употребляются защитниками спиритизма, не представляютъ ни одной черты правильнаго метода, а состоятъ сплошь только изъ заблужденій, свойственныхъ ученымъ натуралистамъ, и именно современнымъ. Это поразительно. Мало того: чтобы спасти спиритизмъ, натуралисты принуждены доводить эти свои заблужденія до послѣдней ихъ крайности и изо всей силы держаться за эту крайность. Они хотятъ опытомъ узнать то, чего опытъ дать не можетъ; хотятъ метафизику сдѣлать позитивною; обѣщаютъ намъ науку, не подчиненную никакому методу, никакимъ законамъ, и прогрессъ, не имѣющій ни пути, ни предѣловъ. Это, конечно, чудеса, большія чудеса, но скорѣе всего—это ошибки, слѣдовательно очень простыя, хоть и печальныя явленія!

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

За непосвященныхъ.

Фанатизмъ нашей литературы.—Предъубѣжденія.—Вѣра на слово.—Требованія отъ непосвященныхъ.—Чистый эмпиризмъ.—Безвыходное положеніе.—Дилемма.—Все возможно.—Спекулятивная область.

Что наша литература есть литература фанатическая—въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія. Разсужденія, правильное развитіе мыслей, логическіе послѣдовательные споры у насъ не существуютъ, почти невозможны по натурѣ нашихъ пишущихъ и по натурѣ нашей публики. У насъ возможно и имѣютъ ходъ, почти исключительно, только всякія вѣры и ненависти, всякія идолопоклонства и затаптыванія въ грязь, всякіе свисты и боготворенія. Вашъ покорный слуга тѣмъ больше имѣетъ право это говорить, что самъ принадлежитъ къ числу затоптанныхъ въ грязь. Вы, пожалуй, не предполагали, что дѣло дошло до подобной крайности, и что я нахожусь въ такомъ ужасномъ положеніи; но фактъ уже заявленъ тѣми, кого можно считать въ такихъ дѣлахъ вполнѣ свѣдущими. Въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“ 1874 года, отъ 27 ноября, г. Михайловскій, на половину съ торжествомъ, на половину съ сожалѣніемъ, говоритъ: „*мы* втоптали въ грязь г. Страхова, человѣка...“ и пр. Пожалуста, не подумайте, что я принимаю все происшествіе въ шутку; старанія этихъ *мы* не всегда оставались безуспѣшными...

Но простите, что я заговорилъ о себѣ; мнѣ хотѣлось только сказать, что фанатизмъ нашей печати мнѣ очень хорошо знакомъ, и прибавить, что онъ мнѣ и понятенъ; по крайней мѣрѣ я, кажется, всегда зналъ, почему именно и чѣмъ я раздражаю публику; даже при совершенной недобросовѣстности нападокъ, я все-таки видѣлъ, въ чемъ дѣло; меня часто бранили и надо мной глумились не по разногласію мнѣній, а только потому, что съ такими людьми, какъ я, разсуждать было некогда, что нужно было поскорѣе *дѣлать прогрессъ*, и, слѣдовательно, не давать никому останавливать вниманіе на подобныхъ мнѣ людяхъ и вещахъ. Я хорошо понималъ и эту тонкую политику.

Проповѣдникамъ спиритизма въ настоящую минуту приходится тоже испытывать фанатизмъ нашей литературной полемики; но странно, что они, кажется, вовсе не понимаютъ своего положенія. Они оба жалуются на непочтительность обращенія, на „комки грязи", полетѣвшіе въ нихъ со всѣхъ сторонъ. Такая жалоба, пожалуй, еще извинительна; она только доказываетъ, что наши профессора—люди непривычные къ литературѣ. Но затѣмъ они какъ-будто не могутъ, или не хотятъ догадаться, чѣмъ же возбуждается этотъ фанатизмъ, въ чемъ существенный смыслъ встрѣченной ими ярости. Они часто говорятъ о предубѣжденіяхъ, о закоренѣлыхъ предразсудкахъ, но не удостоиваютъ, а можетъ быть и не умѣютъ формулировать эти предразсудки. Между тѣмъ, для людей ученыхъ, для проповѣдниковъ новыхъ истинъ, казалось бы, дѣло важное и настоятельное—анализировать со всею ясностію убѣжденія, противудѣйствующія ихъ проповѣди. Разложите, опровергните эти убѣжденія—и мы тотчасъ примемъ вашъ спиритизмъ. Но наши ученые

не дѣлаютъ для этого ни единаго шага; они только и твердятъ: „это факты, факты; какъ же можно не вѣрить фактамъ?“

Пріемъ очень характерный. Вѣдь чего они добиваются? Того, чтобы имъ повѣрили на слово. Вотъ почему они увѣряютъ, что они и ихъ единомышленники люди честные, что они находятся въ здравомъ умѣ и въ полной памяти; вотъ отчего они ссылаются на профессоровъ, академиковъ, членовъ перламента, судей и т. д., какъ на людей, которые не станутъ мошенничать и не могли бы занимать своихъ мѣстъ, если бы были поврежденные. Едва-едва проскальзываетъ кое-гдѣ замѣчаніе, что такой-то, будучи физикомъ или химикомъ, конечно „умѣетъ наблюдать“ (хотя, правду сказать, *наблюдательность* ученыхъ пользуется дурною славою). Словомъ, всѣ люди по отношенію къ спиритизму раздѣляются на два разряда,—на посвященныхъ, которые на опытѣ убѣдились въ существовованіи спиритическихъ явленій, и на непосвященныхъ, которые не имѣли этого счастія. Непосвященные, по мнѣнію защитниковъ спиритизма, должны: 1) вѣрить честному слову, или присягѣ посвященныхъ, 2) сами дѣлать опыты, или искать медіумовъ, и такимъ образомъ стараться перейти въ разрядъ посвященныхъ, и 3) до тѣхъ поръ не разсуждать и не раздумывать,—такъ какъ всякія разсужденія непосвященныхъ будто-бы основаны на однихъ предубѣжденіяхъ и искажаютъ дѣло, или даже доводятъ до ужасной вещи—до невѣрія въ факты.

Вотъ научная постановка вопроса, по истинѣ еще небывалая и неслыханная; вотъ эмпиризмъ въ его чистѣйшемъ видѣ. И легко убѣдиться, что въ такомъ видѣ эмпиризмъ необходимъ для защитниковъ спиритизма.

Въ самомъ дѣлѣ, если бы мы были чистыми эмпириками, еслибы для насъ всѣ вопросы, изученіе всѣхъ явленій—имѣли именно такую постановку, какую дали теперь наши ученые спиритизму,—то только тогда спиритизмъ удивлялъ бы насъ столь же мало, какъ и другія явленія, или на оборотъ—всѣ явленія были бы для насъ столько же удивительными какъ спиритизмъ.

Но увы! удастся ли нашимъ ученымъ обратить насъ сплошь въ чистыхъ эмпириковъ, и такимъ образомъ уравнять въ нашихъ глазахъ спиритизмъ со всѣми другими предметами? Я сильно боюсь, что родъ человѣческій никогда не достигнетъ такого просвѣщенія. Природа человѣческая такъ груба и упорна, что, сколько ни будь на землѣ университетовъ и академій, — непосвященные никогда не будутъ вѣрить просто на честное слово и никогда не бросятъ дурной привычки разсуждать о томъ, что̀ имъ разсказываютъ. Вотъ почему Гегель говаривалъ, что чистыми эмпириками могутъ быть только животныя, а не люди. Но я полагаю, что великій философъ ошибся: и животныя не могутъ вполнѣ достигнуть чистаго эмпиризма; эта противуестественная точка зрѣнія могла быть придумана только людьми, только учеными, вообразившими, что могутъ передѣлать умъ человѣческій, и усиливающимися удержаться въ положеніи, невозможномъ для равновѣсія.

Вы видите, я становлюсь на сторону непосвященныхъ; мнѣ странно, что къ ихъ правамъ и мнѣніямъ наши послѣдователи спиритизма отнеслись съ такимъ презрѣніемъ и невниманіемъ. Намъ говорятъ, чтобы мы не видавши судить не смѣли. Но помилуйте, что̀ же будетъ тогда съ нами? Теперь, пока мы еще не чистые эмпирики, мы вѣдь разсуждаемъ съ утра до вечера. Когда я читаю газету

или книгу, когда разговариваю съ учеными и неучеными людьми, я безпрестанно работаю умомъ; я ничему не вѣрю просто на слово, я объ каждомъ свѣдѣніи стараюсь самъ разсудить, насколько оно вѣроятно или невѣроятно. Я справляюсь со своею памятью, соображаюсь съ тѣми понятіями о людяхъ и вещахъ, которыя нажилъ въ теченіи моей жизни, и рѣшаю дѣло по крайнему моему разумѣнію. Что̀ же бы со мною было, еслибы каждую минуту ко мнѣ могъ явиться духъ чистый эмпирикъ, въ родѣ Сократовскаго демона, и вдругъ сказать мнѣ: „ты не видѣлъ, такъ и не суди!“ Тогда вѣдь просто не было бы житья на свѣтѣ!

Представьте въ самомъ дѣлѣ историка или географа. Онъ сидитъ надъ книгами, соображаетъ всякія извѣстія, рѣшаетъ, что̀ и какъ должно было быть по законамъ человѣческой природы, стремиться подняться до самаго высокаго и правильнаго пониманія событій, которыя грубо, фальшиво, безтолково передаются очевидцами и памятниками, и вдругъ ему говорятъ: „они видѣли, а ты не видѣлъ; какую же силу могутъ имѣть всѣ твои разсужденія?“ Такимъ образомъ пришлось бы молчать, читая самые невѣроятные разсказы, и невозможно было бы отвергнуть ни одной басни; мало того, въ разсказахъ противорѣчащихъ и спутанныхъ нельзя было бы дѣлать выбора и устранять противорѣчія и нелѣпости. Ибо вообще мы лишились бы всякаго права отрицать; чистые эмпирики сейчасъ сказали бы: „можетъ быть это и ложь, но можетъ быть и фактъ; тогда передъ фактомъ нечего разсуждать!“

Такого, по истинѣ безвыходнаго, положенія признать нельзя. Если каждое движеніе моей мысли будетъ остановлено вопросомъ: „а можетъ быть это фактъ? безсмыс-

ленный, нелѣпый, но фактъ?“ — то все вокругъ меня прійдетъ въ хаосъ, и я уже не могу ровно ничему повѣрить и ровно ничего понять.

Нѣтъ, давайте лучше разсуждать. Прежде чѣмъ повѣрить тому, что̀ намъ разсказываютъ, и прежде чѣмъ приняться за спиритическіе опыты, давайте немножко подумаемъ. По обыкновенному человѣческому разуму, не хорошо, когда человѣкъ берется за дѣло, не разсмотрѣвши, что̀ это такое, и не разсудивши, нужно ли за него браться и къ чему оно можетъ привести. Такъ и тутъ, если мы не хотимъ только шутить и забавляться, мы должны подумать.

Опытовъ, по моему, сдѣлано достаточно, а книгъ написано, какъ и всегда, больше, чѣмъ нужно. Да и посмотрите, кто опыты дѣлалъ?—Люди ученые, извѣстные; дѣлалъ даже такой геніальный человѣкъ, какъ Фарадей. Почему же я стану предполагать, что увижу лучше и больше, чѣмъ они? Со мною должна повториться одна изъ тѣхъ исторій, которыя случились съ ними; или опыты будутъ неудачны, какъ у Фарадея, Тиндаля, Менделѣева, или я увижу то, что̀ видѣли Уоллесъ, Бутлеровъ, Вагнеръ. Съ какой стати я воображу, что именно мнѣ прійдется все разрѣшить и открыть сущность дѣла?

Итакъ, я не нахожу ни нужды, ни пользы выходить изъ толпы непосвященныхъ; я присоединяюсь къ этимъ десяткамъ и сотнямъ тысячъ читателей, которые узнаютъ о спиритизмѣ только изъ петербургскихъ и московскихъ журналовъ, и, по праву и закону человѣческой природы, принимаются размышлять о немъ. Я всею душою вхожу въ ихъ положеніе и предлагаю имъ: давайте думать вмѣстѣ.

Прежде всего обратимся къ себѣ, а пожалуй и къ нашимъ проповѣдникамъ, съ такими вопросами:

Что такое спиритическія явленія? Мы не спрашиваемъ объ ихъ сущности, а только о томъ разрядѣ, куда ихъ слѣдуетъ отнести. Намъ представляется слѣдующая дилемма:

1) Или это—естественныя явленія, образующія только новую область, подобно тому, какъ нѣкогда новою областью были явленія магнетическія, электрическія, волосность, эндосмосъ и т. д.

2) Или это — явленія сверхъестественныя, чудеса, то есть дѣйствія міра сверхчувственнаго, который стоитъ выше природы и имѣетъ силу измѣнять ея законы.

Вотъ два разряда, изъ которыхъ одинъ составляетъ отрицаніе другаго, такъ что третьяго разряда и вообразить невозможно. Если мы имѣемъ какія-нибудь понятія о законахъ природы, о свойствахъ и порядкахъ ея явленій, то мы сейчасъ рѣшимъ, принадлежитъ ли данное явленіе (дѣйствительное или воображаемое—все равно),—къ естественнымъ, или нѣтъ. Если въ спиритическихъ явленіяхъ оба разряда явленій смѣшаны, то натуралисты, повидимому, должны бы умѣть отдѣлить естественныя отъ неестественныхъ, и сказать намъ, которыя принадлежатъ къ одному и которыя къ другому разряду.

Но что же оказывается? Натуралисты ведутъ себя въ настоящемъ случаѣ чрезвычайно лукаво; они всячески уклоняются, не только отъ рѣшенія, но и отъ постановки вопроса; они усиленно укрываются за чистый эмпиризмъ и твердятъ: „это факты, новые факты; ихъ нужно изслѣдовать, ничего не предрѣшая“. Они даже прикидываются, что не понимаютъ, чего мы хотимъ, и принимаются жаловаться на наши предразсудки, на наше упорство противъ науки, на деспотизмъ нашихъ мнѣній.

Между тѣмъ, казалось бы легко понять, что дѣло

идетъ о предметѣ, имѣющемъ для насъ величайшую важность, и потому хоть немножко потрудиться вникнуть въ наши мысли.

Въ самомъ дѣлѣ, если спиритизмъ состоитъ изъ явленій естественныхъ, но только новыхъ, то намъ странно, изъ-за чего натуралисты такъ волнуются. Мы не имѣемъ причины волноваться. Мало ли новыхъ фактовъ? Пусть натуралисты ихъ изслѣдуютъ съ свойственнымъ имъ мастерствомъ; мы спокойно подождемъ результатовъ.

Но, если спиритизмъ есть чудо, обнаруженіе сверхъестественныхъ явленій,—то дѣло другое. Мы всѣ воспитаны въ той мысли, что есть міръ, стоящій выше природы. Мы съ дѣтства не вѣрили, и большею частію не вѣримъ до сихъ поръ, чтобы земная жизнь содержала весь смыслъ нашего существованія, и чтобы все бытіе было такъ скудно и глухо, какъ то, что называется вещественною природою. Итакъ, если спириты могутъ приподнять намъ завѣсу, закрывающую этотъ высшій міръ, то они укрѣпятъ тѣ вѣрованія и подтвердятъ тѣ надежды, на которыхъ до сихъ поръ держится жизнь главной массы человѣчества. Вотъ та могущественная струна, которую затрогиваютъ разсказы о спиритическихъ явленіяхъ.

Не странно ли послѣ этого, что натуралисты считаютъ возможнымъ обойти вопросъ такой безмѣрной важности? Они, какъ я сказалъ, не хотятъ даже поставить этого вопроса,—и для этого стараются доказать, будто бы самая наша дилемма неправильна. „Мы, говорятъ они, вовсе не имѣемъ такихъ понятій о законахъ природы, о свойствахъ и порядкахъ ея явленій, чтобы могли рѣшить, принадлежитъ ли данное явленіе

(дѣйствительное, или воображаемое) къ естественнымъ, или къ сверхъестественнымъ. Мы не знаемъ, утверждаютъ они, что̀ возможно и что̀—невозможно, и считаемъ притязаніе на такое знаніе—нелѣпымъ". Вотъ та величайшая крайность, до которой дошли наши изслѣдователи спиритизма, и вы видите, что дойти до нея они были необходимо вынуждены; вотъ геркулесовы столбы эмпиризма. Ибо, если мы не въ состояніи различить, что̀ вещественное и что̀ духовное, что̀ естественно и что̀ чудо, что̀ возможно и что̀ невозможно,—то тогда нечего разсуждать, нечего удивляться, нечего думать о наукѣ, а остается только завести тетрадку съ надписью: *все возможно*, и записывать въ нее фактъ за фактомъ.

Удивительно приэтомъ однако же то, что для нашихъ ученыхъ какъ-будто неизвѣстно и непонятно существованіе совершенно иного ученія о человѣческомъ познаніи, ученія очень распространеннаго, имѣющаго большую силу и составляющаго неодолимое препятствіе къ признанію спиритизма. Удивительно то, что они до того закоснѣли въ чистомъ эмпиризмѣ, что ничего другаго и не видятъ, не хотятъ и говорить объ иномъ ученіи, и вмѣсто того, чтобы объяснить намъ, непосвященнымъ, его несостоятельность, только бранятъ насъ за упорство. Въ одномъ лишь мѣстѣ профессоръ Бутлеровъ коснулся этого вопроса, но не сталъ распространяться.

„Я желалъ бы только", пишетъ онъ, „не встрѣтить пред„взятыхъ мнѣній и доводовъ въ родѣ того, который гла„ситъ, что *этого не могло быть, потому что это невоз„можно*, между тѣмъ какъ, при сколько нибудь серіоз„номъ мышленіи, ясно, что, внѣ области чисто спекуля„тивной, вопросъ о невозможности какого-либо явленія „природы—не рѣшается окончательно апріорнымъ пу-

„темъ“ (стр. 308). Это значитъ, что если только мы не зайдемъ въ область спекуляціи, мы не имѣемъ средствъ рѣшить,—возможно, или невозможно какое-нибудь явленіе.

Но отчего же намъ не зайти къ спекулятивную область? Отчего нашъ ученый думаетъ, что стоитъ только назвать эту область, чтобы всѣ отъ нея отвернулись и побѣжали? Отчего онъ не видитъ, что въ эту область заходятъ всѣ, даже самые простые люди, незнающіе даже и слова *спекуляція?* Отчего онъ не предполагаетъ, что именно въ этомъ заключается величайшее препятствіе для вѣры въ факты, подобные спиритическимъ? И слѣдовательно, почему онъ не удостоитъ разоблачить передъ нами эту, по его мнѣнію, столь вредную доктрину?

Человѣческая мысль подвергается въ наши дни великому презрѣнію. Съ нею не хотятъ считаться, объ ней и говорить не хотятъ. Ее считаютъ предразсудкомъ и видятъ въ ней помѣху, которую надѣются побѣдить фактами.

Однако посмотримъ. Въ слѣдующемъ письмѣ я прямо приступлю къ дѣлу.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Границы возможнаго.

Чистая математика.—Явленія не подходящія подъ математику и явленія противорѣчащія математикѣ.—Воображаемые опыты.—Причины.—Законы.—Переходъ отъ математики къ физикѣ.—Платоновская теорія воспоминанія.—Кошка съѣдающая мышь.—Заключеніе.

Вѣрите ли вы въ непреложность чистой математики? Убѣждены ли вы томъ, что дважды два четыре, что эти и подобныя истины справедливы всегда и вездѣ, и что самъ Богъ, какъ говорили въ старыя времена, не могъ бы сдѣлать дважды два пять, не могъ бы измѣнить ни одной изъ такихъ истинъ? Я убѣжденъ въ этомъ, и полагаю, что и вы убѣждены, такъ что, какъ ни любопытно и важно разъясненіе того, на чемъ основано это убѣжденіе, можно покамѣсть отложить это разъясненіе. Что̀ касается до нашихъ натуралистовъ, то и они, повидимому, признаютъ непреложность математическихъ истинъ; говорю *повидимому*, потому что они не сочли за нужное точно сказать, признаютъ ли они что-нибудь, кромѣ своихъ любимыхъ фактовъ. По нѣкоторымъ выраженіямъ, можно подумать даже, что они сомнѣваются въ математикѣ, но я предполагаю, что это лишь обмолвки, вырвавшіяся у нихъ по неосмотрительности, и не подлежащія строгому разбору.

Такъ, напримѣръ, профессоръ Вагнеръ, который вообще во сто разъ менѣе точенъ и остороженъ, чѣмъ профес-

соръ Бутлеровъ, въ одномъ мѣстѣ слѣдующимъ образомъ подсмѣивается надъ увѣренностію ученыхъ въ твердости нынѣшнихъ наукъ:

„... вдругъ теперь открывается новый міръ со своими „законами, со своими силами, которыя сильнѣе нашихъ „земныхъ (?) силъ. Какъ же не встрѣтить скептицизмомъ „и глумленіемъ эту новую область намъ, которыхъ глу„бокая ученость измѣрила глубину небесныхъ океановъ „и свѣсила далекіе міры (*и* ?) солнца? Неужели же наши „вѣсы и *математическіе законы ничтожны* передъ ка„кими-то невѣдомыми законами, которые *неизвѣстно еще*, „*подчинятся ли непогрѣшимой математикѣ или нѣтъ?* „Да, это крайне обидно для нашего гордаго, ученаго „ума“ („Русск. Вѣстн.“ 1875 г. № 10 стр. 948).

Здѣсь очевидная насмѣшка надъ математическими законами и непогрѣшимостію математики. Но въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понять эту насмѣшку? Въ томъ ли, что есть явленія, которыя *противорѣчатъ* математикѣ, ниспровергаютъ ея законы, — или только въ томъ, что есть явленія, которыя *находятся внѣ* области математики? Можно принять, что авторъ имѣлъ въ виду этотъ послѣдній смыслъ, и что онъ въ непреложности математики не сомнѣвается; онъ какъ бы хотѣлъ возразить противъ тѣхъ, которые думаютъ, что всѣ предметы знанія должны и могутъ быть разсматриваемы математически, и потому указываетъ на спиритическія явленія, о которыхъ этого сказать нельзя. Таковъ самый лучшій смыслъ его словъ. Но въ дѣйствительности они имѣютъ другое направленіе; если вспомнить разсказы о спиритическихъ явленіяхъ, то мы увидимъ, что профессору Вагнеру хотѣлось выразить другое; онъ, очевидно, хотѣлъ сказать: „есть вещи, есть явленія, которыя *должны бы*

подлежать нашимъ вѣсамъ и математическимъ законамъ, но на самомъ дѣлѣ не подлежатъ; есть вещи и явленія, которыя *должны бы* подчиняться непогрѣшимой математикѣ, но не подчиняются; отдаленнѣйшія звѣзды и всѣ небесные океаны подчиняются, а эти вновь открытыя явленія—нѣтъ; вотъ въ чемъ великая новость".

Если такъ, то позволю себѣ заявить, что я не только признаю непогрѣшимость математики, но и убѣжденъ непоколебимо, что такихъ вещей и явленій, о которыхъ говоритъ, или хотѣлъ говорить, профессоръ Вагнеръ, нѣтъ, что они—*невозможны*.

Всѣ предметы, о которыхъ говоритъ математика, подчинены ей безусловно, а о предметахъ, которые ей не подчинены, она и не говоритъ, и говорить не можетъ.

Въ математикѣ, напримѣръ, существуютъ положенія: „двѣ величины равныя порознь третьей равны между собою"; „двѣ стороны треугольника вмѣстѣ взятыя больше третьей". Если предметы, о которыхъ мы разсуждаемъ или которые разсматриваемъ, не суть величины, не суть треугольники, то указанныя математическія положенія къ нимъ вовсе не относятся; если же дѣло идетъ о величинахъ и треугольникахъ, то эти положенія будутъ безусловно вѣрны, и не только спириты, но самъ Богъ не могъ бы создать такихъ величинъ и такихъ треугольниковъ, для которыхъ эти положенія оказались бы ложными.

Итакъ, согласимся признавать математическія истины непреложными, условимся считать ихъ внѣ сомнѣнія, и пойдемъ далѣе. Если намъ удастся сдѣлать отсюда хотя одинъ небольшой шагъ въ область непреложнаго и почувствовать, что у насъ твердая почва подъ ногами, то, полагаю, сущность вопроса уже очень выяснится передъ нами.

Для этого я хотѣлъ бы сдѣлать съ вами опытъ, такой простой и ясный опытъ, что его можно даже и не дѣлать, а только вообразить, только предположить. Положимъ, что вы кромѣ математики ничего непреложнаго не признаете, что за этимъ исключеніемъ вы чистый эмпирикъ и вѣрите только фактамъ. Я приглашаю васъ съ свой кабинетъ и показываю вамъ двѣ палочки изъ сургуча, изъ дерева, или, пожалуй, изъ какого-нибудь вамъ неизвѣстнаго матеріала. Я объявляю вамъ, что хочу переломить ихъ пополамъ, и спрашиваю васъ, сколько у меня выйдетъ половинокъ? Вы говорите: четыре. Я переламываю передъ вашими глазами свои палочки, раскрываю ладони—оказывается *пять*!

Что̀ вы скажете на это? Повѣрите ли собственнымъ глазамъ? Я увѣренъ, что нѣтъ; вы, конечно, подумаете, что я сплутовалъ и незамѣтно подсунулъ лишнюю половинку. Но тогда я васъ стану укорять въ томъ, что вы измѣняете строго эмпирическому методу и заражены страстью къ апріорнымъ выводамъ. Не думайте, скажу я вамъ, что здѣсь можно судить по математическому положенію: *дважды два четыре*. Математика справедлива только въ отвлеченіи, когда мы мысленно перемножаемъ два на два. Но если оказался фактъ, къ которому математическое правило неприложимо, то фактъ все-таки останется фактомъ. По настоящему, вы даже не имѣете права требовать, чтобы я указалъ вамъ причину уклоненія факта отъ правила; но, если угодно, я признаю̀ и непреложность причинной связи явленій, и сейчасъ же вамъ укажу нѣсколько причинъ, отъ которыхъ можетъ зависѣть это уклоненіе. Можетъ быть, оно происходитъ:

1) Отъ *матеріала* палочекъ. Это такой сургучъ, такое

дерево, скажу я, что при переломѣ оказывается лишняя половинка.

2) *Отъ способа* переламыванія. Я такъ умѣю ломать, скажу я, всякія палочки.

3) Отъ того стола, на которомъ производился опытъ, или отъ той комнаты, въ которой онъ происходилъ.

4) Отъ того, что я особенный человѣкъ — медіумъ; или еще лучше, я скажу, что тутъ не я, а вы сами причина, что вы-то и есть медіумъ, только сами того не знаете.

Ну что̀ вы мнѣ возразите противъ этого? Такъ какъ всякій опытъ производится при извѣстныхъ частныхъ обстоятельствахъ, то я могу сослаться на любое изъ этихъ обстоятельствъ. И вы не имѣете права отвергать ни единаго моего объясненія, такъ какъ судить *вообще*, выставлять положенія, имѣющія мѣсто для *всѣхъ* случаевъ, для *всѣхъ* обстоятельствъ, вы не имѣете права. Это запрещено строгимъ эмпиризмомъ, это значило бы судить не по опыту, apriori.

Итакъ, вы должны молчать, а я стану продолжать свои эксперименты.

Вотъ у меня двѣ кучки монетъ, положимъ—гривенниковъ; въ одной 11, въ другой 19 гривенниковъ. Смотрите, я ихъ смѣшиваю въ одну кучку, и считаю, сколько вышло. Вы думаете, конечно, тридцать; оказывается 31, т. е. одинъ гривенникъ лишній.

Второй экспериментъ. Беру палочку и разбиваю эту общую кучку гривеннивовъ на двѣ кучки. Считаю, нахожу въ одной 7, въ другой 23; слѣдовательно, одинъ гривенникъ пропалъ.

Третій экспериментъ. Эти двѣ новыя кучки соединяю въ одну. Считаю, и нахожу опять 31. И т. д.

Вы изумляетесь, но я торжествую и увѣщеваю васъ не колебаться въ эмпиризмѣ и твердо вѣрить фактамъ. Посмотрите, прибавляю я, тутъ оказывается даже нѣкоторая законность. Очевидно, какая-то сила стремится къ такъ называемымъ *первымъ* числамъ. *Первыми* числами называются въ математикѣ числа, которыя ни на какое другое число не могутъ раздѣлиться безъ остатка. Таковы 11, 19, 31, 7, 23. Какая-то сила не хочетъ, чтобы получались другія числа, кромѣ первыхъ, и вотъ отчего—то гривенникъ прибавится, то исчезнетъ.

Вы спросите, отчего зависитъ дѣйствіе этой силы? Я опять отвѣчу, что или отъ меня, или отъ моей комнаты, или отъ васъ самихъ, или, наконецъ, отъ того, что сегодня четвертый вторникъ одиннадцатаго мѣсяца, что луна теперь убываетъ и планета Юпитеръ настолько-то подошла къ Сатурну и т. д. Я могу сослаться на множество причинъ, и могу дать моимъ опытамъ большое разнообразіе. Напримѣръ, я устрою у себя музыку и стану наблюдать, какъ подъ эту музыку будутъ складываться и раздѣляться гривенники. Или я буду, въ моментъ складыванія и раздѣленія, произносить извѣстныя слова, думать объ извѣстныхъ предметахъ, и буду замѣчать, какіе отъ этого получатся результаты. Я сдѣлаю такимъ образомъ цѣлые ряды опытовъ, пожалуй въ присутствіи многихъ свидѣтелей, и потомъ напечатаю все это, въ поученіе современниковъ и потомства.

Ну что вы скажете? Я серіозно спрашиваю васъ, признаéте ли вы подобныя явленія возможными, или нѣтъ? Подумайте и отвѣчайте. Надѣюсь, что вы скажете: нѣтъ. Безъ всякихъ опытовъ и даже безъ всякой мысли объ опытахъ вы скажете, что такія явленія невозможны. Вы даже откажетесь идти къ тому физику, который

сталъ бы васъ приглашать наблюдать эти явленія. Ваше невѣріе будетъ такъ же упорно, какъ невѣріе Руссо, который говоритъ въ одномъ мѣстѣ: „если бы мнѣ сказали, что въ сосѣдней комнатѣ разсыпался типографскій шрифтъ и что случайно вышелъ изъ буквъ первый стихъ Энеиды, то я даже не поднялся бы съ мѣста, чтобы посмотрѣть, правду ли мнѣ говорятъ".

Но что же значитъ *невозможно?* Откуда у насъ является такое непобѣдимое упорство? Попробуемте сколько-нибудь разъяснить себѣ это дѣло.

Для этого, очевидно, намъ уже не слѣдуетъ дѣлать опытовъ и наблюденій, а придется анализировать свои мысли; противъ желанія г. Бутлерова мы будемъ вынуждены зайти въ *спекулятивную область*, въ ту область, которая, по предразсудкамъ нашего времени, считается чѣмъ-то темнымъ и дикимъ, но которая, въ сущности, есть всегдашняя и законная область человѣческаго ума. Еще Платонъ училъ, что есть познаніе подобное *воспоминанію*, то есть, не почерпаемое изъ предметовъ, насъ окружающихъ, а существующее въ самой душѣ и какъ-будто усвоенное ею въ какомъ-то прежнемъ существованіи, раньше ея соединенія съ тѣломъ. Попробуемъ же и мы *вспомнить*, какія вещи по сущности своей возможны, и какія невозможны.

Когда я переламываю двѣ палочки пополамъ, или смѣшиваю двѣ кучки гривенниковъ, то я совершаю нѣкоторое *дѣйствіе*. Для меня совершенно ясно, въ чемъ состоитъ это дѣйствіе; оно состоитъ въ нѣкоторомъ опредѣленномъ измѣненіи пространственныхъ отношеній, при чемъ всѣ другія свойства и отношенія вещей остаются безъ перемѣны. Каждая вещь можетъ находиться въ разное время въ разныхъ мѣстахъ и при этомъ остается

тою же вещью. Такъ что, измѣняя мѣсто вещей, измѣняя порядокъ, въ которомъ я ихъ считаю, я не измѣняю самихъ вещей. Я знаю, что̀ дѣлаю, и потому знаю, что̀ изъ этого выйдетъ. Я не могу тутъ получить того, чего самъ не произвелъ, не могу вынуть ничего, кромѣ того, что̀ самъ же положилъ. Всякій опытъ можетъ дать только то, что̀ заключается въ его условіяхъ, а такъ какъ здѣсь условія полагаются мною самимъ, то и результатъ мнѣ извѣстенъ прежде всякаго опыта. Если я вообще могу сосчитать гривенники, лежащіе въ одной кучкѣ, то я долженъ получить тотъ же результатъ, то же число, на какія бы кучки я ихъ ни разбивалъ, и въ какія бы ни соединялъ. Если же у меня получаются разные результаты, то значитъ, я не могу сосчитать и вообще ни одной кучки.

Не знаю, достаточно ли это ясно и убѣдительно, но я принужденъ на этомъ остановиться. Тутъ возникаютъ важные и обширные вопросы о числѣ, пространствѣ, времени и т. д., въ которые вдаваться здѣсь, конечно, невозможно. Но мнѣ хотѣлось только нагляднымъ примѣромъ вызвать въ васъ мысль, что могутъ быть физическія истины столь же непреложныя, какъ математическія, что, по природѣ своей, по очевидному апріорному характеру, тѣ и другія истины не различаются, что въ томъ случаѣ, когда дѣло идетъ о вещественныхъ явленіяхъ, нужно только хорошенько *вспомнить*, какъ выражается Платонъ, основанія, хранящіяся въ нашей душѣ, и мы безъ наблюденій заранѣе найдемъ, какихъ результатовъ слѣдуетъ ожидать. Въ математикѣ это всего легче; вещественная же природа, очевидно, постоянно насъ чѣмъ-то развлекаетъ, чѣмъ-то мѣшаетъ намъ вспоминать ясно и отчетливо. Мало по малу дѣло однако же

подвигается впередъ, и истинный успѣхъ физическихъ наукъ заключается именно въ томъ, что истины физическія получаютъ характеръ математической непреложности.

Но сдѣлаемте, для ясности, еще шагъ. Вѣроятно, многимъ читателямъ статья моя покажется сухою, скучною и неудобопонятною; но я попробую высказаться до конца. И такъ, сдѣлаемъ еще нѣсколько экспериментовъ.

Если у меня два стакана и въ каждомъ нѣкоторое количество воды, и если я вылью воду изъ одного стакана въ другой, то въ какомъ отношеніи количество соединенной воды будетъ къ количествамъ, бывшимъ отдѣльно въ стаканахъ? Конечно, соединенное количество будетъ сумма прежнихъ отдѣльныхъ количествъ. Это вы скажете безъ всякаго опыта, и на томъ самомъ основаніи, на которомъ число гривенниковъ въ соединенной кучкѣ равняется суммѣ чиселъ въ отдѣльныхъ кучкахъ. Но какъ убѣдиться въ этомъ прямымъ измѣреніемъ? Воду считать нельзя, и, если стаканы не имѣютъ особенной правильной формы, то и объемъ жидкостей очень трудно опредѣлить. Самый легкій способъ, какъ вы конечно знаете,—*взвѣсить* тѣ количества жидкостей, которыя желаемъ опредѣлить. Тогда окажется, что вѣсъ соединенной воды равенъ суммѣ вѣса воды одного стакана и вѣса воды другаго. Этотъ способъ измѣренія вещества оказался самымъ удобнымъ и самымъ надежнымъ, и потому имѣетъ наибольшее употребленіе въ физическихъ наукахъ. Вы видите однако же, что этотъ пріемъ есть лишь точное повтореніе того, что мы дѣлали, считая гривенники; онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ этому счету и замѣняетъ его. Старинные физики наивно выражали эту мысль, когда давали такія опре-

дѣленія: „количество вещества въ какомъ нибудь тѣлѣ есть *число* атомовъ, въ этомъ тѣлѣ заключающихся". Откуда слѣдовало, что два количества въ соединеніи заключаютъ соединенное число атомовъ, т. е. сумму двухъ чиселъ.

Мы сливали воду съ водою. Но что будетъ, если мы сольемъ различныя жидкости, или соединимъ различныя жидкости съ различными твердыми тѣлами? Тутъ происходятъ разнообразнѣйшія явленія, часто блестящія и поразительныя, такія любопытныя, что химики, заглядѣвшись на нихъ, забывали измѣрять, и даже не задавали себѣ того вопроса о количествѣ, на который мы желаемъ отвѣта. Когда же задали, когда стали измѣрять, оказалось, что происходитъ тоже самое, что съ водою, то есть вѣсъ соединеннаго вещества всегда равняется суммѣ вѣса составныхъ.

Мы видимъ, такимъ образомъ, что передъ нами безъ конца повторяется нѣкоторое простѣйшее правило, которому слѣдуютъ вещественныя явленія. Правило это такъ просто, что первые химики признавали его за нѣчто само собою разумѣющееся и употребляли только *для повѣрки* производимыхъ опытовъ. Но нынче это правило провозглашено великимъ открытіемъ и украшено очень пышными названіями. Оно именуется *закономъ сохраненія вещества*, или также *вѣчностію матеріи*, даже *безсмертіемъ матеріи*, какъ выражается высокопарный Молешоттъ. Между тѣмъ, въ сущности это правило гласитъ только, что въ веществѣ мы можемъ дѣлать измѣренія, опредѣлять *количества* и что находимыя въ немъ количества, какъ всякія количества, подчиняются законамъ сложенія и вычитанія чиселъ. Въ сущности, уже изъ того, что вѣсъ воды, заключающейся въ

стаканѣ, есть опредѣленное *количество*, я долженъ заключить, что, приливши новое количество воды, получу сумму двухъ количествъ. Если бы законъ сложенія не соблюдался, то невозможно было бы и вообще взвѣсить воду: ея вѣсъ не былъ бы опредѣленнымъ количествомъ.

Таковъ смыслъ такъ называемаго *сохраненія вещества*, и этотъ смыслъ всего лучше показываетъ, отъ чего зависитъ непреложность этого закона. Она зависитъ не отъ того, что мы проникли въ сущность вещества, а только отъ того, что беремъ въ немъ лишь одну сторону, одну черту, беремъ лишь то, что̀ подлежитъ измѣренію, а слѣдовательно и всѣмъ законамъ числа. Прибавляю это замѣчаніе потому, что натуралистовъ часто упрекаютъ въ чрезмѣрныхъ притязаніяхъ, въ гордой мысли, будто имъ доступна сущность явленій. Такъ и г. Вагнеръ жалуется на ученую гордость, будто бы составляющую главное препятствіе къ принятію спиритизма. Жалоба эта въ извѣстномъ смыслѣ справедлива; нѣтъ нынче на свѣтѣ людей болѣе самодовольныхъ, болѣе увѣренныхъ, что они *ходятъ въ свѣтѣ*, чѣмъ натуралисты. И вотъ почему я прошу васъ замѣтить, что законъ вѣчности вещества, по моему мнѣнію, составляетъ столь скудную истину, что она не должна ни мало льстить человѣческой гордости и ни мало не удовлетворяетъ нашего истиннаго, глубокаго любопытства. Увы! то, что̀ мы знаемъ такъ несомнѣнно,—почти ничего въ себѣ не содержитъ! Наши истины тогда, и потому только, ясны и непреложны, когда изъ нихъ выключается сердцевина дѣла, когда въ нихъ обходится сущность вещей.

Представьте себѣ, напримѣръ, что какой-нибудь человѣкъ, положимъ Сократъ, выпилъ ядъ и умеръ. Какое событіе! Смерть вообще, не только человѣка, а всякаго

животнаго, всякаго организма, есть очень загадочное дѣло, въ той же степени загадочное, какъ жизнь. А тутъ! Мы до сихъ поръ размышляемъ надъ смертью Сократа— такъ этотъ фактъ полонъ для насъ важности и смысла. Въ минуту же событія, каждый конечно сказалъ бы: „Его не стало! Погасъ великій умъ, прекратились глубокія рѣчи, исчезла та жизнь, которая живила и всѣхъ насъ, его окружавшихъ. Эта дѣйствительность навсегда прошла, и осталась одна память".

Посмотрите же, какой странный получится контрастъ если мы подведемъ это событіе подъ физическій законъ сохраненія вещества. Этотъ законъ тутъ вполнѣ примѣняется; онъ гласитъ, что вѣсъ мертваго тѣла Сократа былъ въ точности равенъ: вѣсу тѣла Сократа до принятія яда, сложенному съ вѣсомъ выпитой имъ цикуты. Это свѣдѣніе, совершенно несомнѣнное, очевидно, не уловляетъ ни единой существенной черты факта. Есть однако натуралисты, которые съ какимъ-то наивнымъ торжествомъ говорятъ о томъ, что въ подобныхъ случаяхъ *ни одинъ атомъ* вещества не теряется, что люди умираютъ, но вещество безсмертно. Увы! Это значитъ только, что мы ничего не понимаемъ въ тайнахъ жизни и смерти, что мы умѣемъ твердо стоять лишь на такой точкѣ зрѣнія, съ которой между человѣкомъ и камнемъ нѣтъ различія, и смерть Сократа не представляетъ ни малѣйшаго измѣненія въ мірѣ.

Возьмемъ еще примѣръ; возьмемъ простое явленіе, на значительность котораго, обыкновенно упускаемую изъ виду, съ особенною рѣзкостію указалъ какъ-то Гегель.

Положимъ, у насъ живая кошка и живая мышь, и мы тщательно взвѣсили то и другое животное. Пред-

ставимъ, что кошка съѣдаетъ мышь. Что̀ случилось? Случилось собственно дѣло удивительное. Одно изъ двухъ существъ уничтожило другое, то есть, не только соединилось съ нимъ, сблизилось съ нимъ въ пространствѣ, а обратило его въ свою плоть и кровь, претворило его въ самого себя; изъ двухъ самостоятельныхъ существъ, такихъ, что существа самостоятельнѣе ихъ намъ неизвѣстны, и что лишь подобныя существа мы можемъ называть дѣйствительно отдѣльными существами, — изъ двухъ такихъ существъ вышло одно. Въ извѣстномъ отношеніи ариѳметика нарушена самымъ рѣзкимъ образомъ; но за то въ другомъ отношеніи, какъ оказывается, законъ сложенія соблюденъ строжайшимъ образомъ. Если взвѣсить потомъ кошку, окажется, что вѣсъ ея будетъ въ точности равенъ: ея прежнему вѣсу, сложенному съ вѣсомъ мыши.

Многое можно было бы еще сказать на эту тему, на ту тему, что есть извѣстный смыслъ въ ученіи Пиѳагора, принимавшаго числа за сущность вещей, что дѣйствительно regunt numeri mundum (числа управляютъ міромъ). А съ этою темою соприкасаются другіе предметы; она связана съ самыми коренными вопросами о нашемъ познаніи вообще и о томъ, что̀ слѣдуетъ называть сущностью вещей. Но я ограничусь сказаннымъ; я хотѣлъ дать почувствовать, что есть и могутъ быть физическія истины несомнѣнныя, какъ аксіомы математики, и что, слѣдовательно, говоря о вещественныхъ явленіяхъ, мы въ извѣстныхъ случаяхъ можемъ совершенно точно различать *возможное отъ невозможнаго*. Вотъ та точка зрѣнія, на которую я желалъ бы поставить вопросъ о спиритизмѣ, которая, по моему, одна тверда, ясна и плодотворна. По всей вѣроятности, сло-

ва мои останутся *гласомъ вопіющаго въ пустынѣ*; предубѣжденные натуралисты, съ такою увѣренностью воображающіе, что у нихъ подъ руками не числа, не суммы и разности, а *чистые факты*, а сама сущность дѣла, ни за что не откажутся отъ своего эмпиризма. Да, скучна, очень скучна физика, химія, еще скучнѣе математика и гносеологія; чистый эмпиризмъ гораздо занимательнѣе. Для меня вполнѣ понятна та жадность, съ которою натуралисты, десятки лѣтъ работавшіе надъ своею наукою, бросились на факты безсмысленные, неподходящіе ни подъ какую науку, ни подъ какія начала, нелѣпые, безобразные, безтолковые. Эти факты лучше утоляютъ какую-то внутреннюю незаглушимую жажду, чѣмъ самыя точныя и ясныя научныя изслѣдованія. Тутъ и причина, почему натуралисты, измѣняя истинному духу своей науки, забывая ея великія преданія, такъ усердно принялись превозносить эмпиризмъ, стали провозглашать его лучшимъ достояніемъ вѣка и человѣчества.

Увы, господа! Ваша скука законна, и законна ваша жажда; но тотъ выходъ изъ вашего положенія, на который вы рѣшились, никуда не годится. Случай этотъ составляетъ поучительный примѣръ, показывающій, что тьма, въ которой бродитъ человѣчество, не разсѣвается свѣтомъ вашего естествознанія, а напротивъ почему-то сгустилась нынче надъ вами больше, чѣмъ надъ другими людьми; вамъ нужно искать другаго, болѣе правильнаго выхода, слѣдовательно—другаго, болѣе надежнаго свѣта.

1876.

V.

ПИСЬМА О НИГИЛИЗМѢ.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Помутилось сердце человѣческое.
Достоевскій *).

Наша слѣпота.—Трудность исцѣленія.—Исторія.—Простой народъ.—Гдѣ источникъ зла?—Личныя побужденія.—Племенная ненависть.—Нигилизмъ.—Порохъ въ домѣ.—Реальная злоба.—Трансцендентальный грѣхъ,

Опомнимся ли мы? Боже мой! Собираюсь писать, и чувствую всю безполезность своего труда, такъ ясно чувствую, такъ опредѣленно вижу, что едва могу преодолѣть желаніе оставить перо. Нѣтъ, мы не опомнимся! Какъ мы можемъ опомниться, когда и вся жизнь человѣка, вся его дѣятельность держится на какихъ-то самообманахъ, обманахъ явныхъ, ежеминутно разоблачающихся передъ нами съ страшною очевидностію, и все-таки продолжающихъ насъ обманывать? Тотъ древній мудрецъ, который узнавъ о смерти сына, остался совершенно спокоенъ, и когда удивлялись этому равнодушію, отвѣчалъ: „я зналъ, что онъ былъ смертенъ", — этотъ мудрецъ сказалъ повидимому непростительную наивность;

*) «Преступленіе и Наказаніе.» II. 209.

но въ сущности онъ былъ правъ. Въ сущности мы дѣйствительно не знаемъ, что мы смертны. Когда умираетъ человѣкъ, котораго мы давно знали, мы всегда бываемъ такъ поражены, такъ застигнуты врасплохъ, что всего точнѣе мы выразили бы наши чувства, если бы сказали: „ахъ, а мы думали, что онъ никогда не умретъ!“ И когда смерть приходитъ за нами самими, мы встрѣчаемъ ее какъ что-то совершенно необыкновенное и незаконное, мы съ изумленіемъ говоримъ: „неужели я долженъ умереть? Я не хочу!“

Бѣдныя созданія! Мы окружены гробами, мы ходимъ по гробамъ, мы каждый день носимъ на себѣ гробы, и все-таки имъ не вѣримъ!

И та же слѣпота во всемъ. Теперь, въ настоящую минуту, мы потрясены ужасомъ, скорбію, стыдомъ отъ совершившагося цареубійства; мы напрягаемъ всю нашу душу, всѣ силы ума, чтобы понять это дѣло, уразумѣть, откуда зло и, главное, какъ намъ быть, что намъ дѣлать. Самые равнодушные, самые закоренѣлые поражены, возмущены. Спросите же себя: почему же ранѣе, почему давно мы не испытывали такого же потрясенія и напряженія? Развѣ въ первый разъ покушаются на Царя? Если ужь нужны покушенія, чтобы разбудить насъ, то эти покушенія совершались *пятнадцать лѣтъ* сряду. Пятнадцать лѣтъ! Почему же мы не думали объ этомъ такъ, какъ теперь думаемъ? Источникъ этихъ злодѣйствъ былъ тотъ же, какъ и теперь, тѣ же пріемы пускались въ дѣло, та же злая мысль ими руководила. Почему же мы не такъ же потрясались и изумлялись? Что же новое могло насъ потрясти и изумить теперь? Не то ли, что нашъ Царь убитъ наконецъ? Въ самомъ дѣлѣ, это удивительно и неожиданно. Мы пятнадцать лѣтъ не

могли повѣрить, что его можно убить; мы въ эти пятнадцать лѣтъ даже совершенно привыкли не вѣрить этому. Да, мы, должно быть, рѣшительно считали его неуязвимымъ, безсмертнымъ, и только теперь, когда мы его хоронимъ, мы поняли наконецъ съ совершенною ясностію, что онъ могъ быть убитъ даже тѣмъ первымъ выстрѣломъ, съ котораго начались эти пятнадцать лѣтъ покушеній, что уже тогда были всѣ причины для того ужаса, скорби и стыда, которыя мы испытываемъ теперь, всѣ причины напрягать всѣ силы нашего ума, всю нашу душу къ пониманію и устраненію зла.

И то же, конечно, будетъ и впередъ. Мы, очевидно, поражены какимъ то страннымъ ослѣпленіемъ. Теперь, въ настоящую минуту ужаса и стыда, мы смутно чувствуемъ, что мы слѣпы, что намъ слѣдуетъ прозрѣть, и мы мечемся душою, мы готовы съ сокрушеніемъ воскликнуть: мы всѣ виноваты, всѣ виноваты! Но такъ же, какъ мы обыкновенно не помнимъ, что мы смертны и что кто-нибудь смертенъ, такъ мы скоро забудемъ нашъ ужасъ и стыдъ, и будемъ жить, не слыша подъ собою колебанія земли и внутри себя колебанія своей совѣсти. Мы такъ привыкли къ спокойной жизни, мы такъ увѣрены въ возможности благополучія, что мы будемъ плыть все въ ту же сторону и будемъ безсмысленно работать можетъ быть въ пользу того самаго зла, которое насъ испугало на минуту.

Мы не можемъ прозрѣть. Ложь и зло до такой степени проникли во всю нашу жизнь, такъ слились даже съ лучшими нашими инстинктами, что мы не можемъ отъ нихъ освободиться. Дѣло зашло слишкомъ далеко. Насъ ожидаютъ страшныя, чудовищныя бѣдствія, но что всего ужаснѣе, — нельзя надѣяться, чтобы эти бѣдствія

образумили насъ. Эти безпощадные уроки насъ ничему не научатъ, потому что мы потеряли способность понимать ихъ смыслъ. И если найдутся отдѣльные люди, которые прозрятъ и уразумѣютъ эти уроки, то что же они сдѣлаютъ, что они могутъ сдѣлать противъ общаго потока, среди этого гама изступленныхъ и подобострастныхъ голосовъ? Развѣ можно измѣнить исторію? Развѣ можно повернуть то русло, по которому течетъ вся европейская жизнь, а за нею и наша? Эта исторія совершитъ свое дѣло. Мы вѣдь съ непростительною наивностію, съ дѣтскимъ неразуміемъ, все думаемъ, что исторія ведетъ къ какому-то благу, что впереди насъ ожидаетъ какое-то счастіе, а вотъ она приведетъ насъ къ крови и огню, къ такой крови и такому огню, какихъ мы еще не видали. Исторія насъ никогда не обманывала: ея уроки ясны и непрерывны; она отъ начала до конца показывала намъ рядъ преступленій и бѣдствій, рядъ проявленій человѣческаго бездушія и звѣрства; но мы всегда такъ умѣли сочинять и преподавать исторію, что нимало не пугались, а напротивъ, даже утверждались въ нашемъ спокойствіи и нашей безпечности. Такъ и наличныя бѣдствія не заставятъ насъ одуматься, такъ мы не будемъ понимать и той исторіи, которая совершается передъ нашими глазами.

Въ одно я вѣрю всѣмъ сердцемъ и одна твердая надежда меня утѣшаетъ—та, что, какой бы позоръ и какая бы гибель намъ ни грозили, черезъ нихъ пройдетъ невредимо нашъ Русскій народъ, т. е. простой народъ. Онъ чуждъ нашихъ понятій, того разврата мысли, который разъѣдаетъ насъ, и онъ смотритъ на жизнь совершенно иначе: онъ всегда, всякую минуту готовъ къ горю и бѣдѣ, онъ не забываетъ своего смертнаго часа, для него

жить—значитъ исполнять нѣкоторый долгъ, нести возложенное бремя. Онъ спасется, какъ и прежде спасался, своимъ безграничнымъ терпѣніемъ, своимъ безграничнымъ самопожертвованіемъ. Онъ будетъ расти и множиться и шириться, какъ и до сихъ поръ,—и для насъ (если мы уразумѣемъ, что намъ грозитъ позоръ и гибель) остается одно средство спасенія—примкнуть къ народу, т. е. прилѣпиться душою къ его образу чувствъ и мыслей, и отказаться отъ безумія, среди котораго мы живемъ.

А развѣ это возможно? Для отдѣльныхъ лицъ конечно возможно; но для большинства такъ же невозможно не впитывать въ себя ежедневно заразу безумныхъ и вредныхъ понятій, проникающую всю нашу умственную и нравственную атмосферу, какъ нельзя перестать дышать воздухомъ. Тутъ нельзя ждать поворота, тутъ безсильна всякая мысль, всякое слово. И потому, если вы допустите на страницы „Руси“ мои странныя мысли,—прошу простить мнѣ слабость выраженія и мое волненіе и уныніе; читатель же пусть заранѣе знаетъ, что мнѣ чуждо всякое желаніе умничать, поучать, агитировать. Одного хотѣлось бы: исполнить должное по крайней своей силѣ и по крайнему разумѣнію, сказать свою мысль, какъ бы рѣзко она ни противорѣчила общепринятымъ мнѣніямъ. Все-таки это будетъ заявленный протестъ противъ ходячихъ заблужденій, и можетъ быть онъ въ комъ-нибудь найдетъ себѣ отзывъ; можетъ быть мы дождемся когда-нибудь и громкаго голоса, зовущаго насъ на истинный путь, дождемся, что Небо пошлетъ намъ

пророка
Съ горячей и смѣлой душой,
Чтобъ міръ оглашалъ онъ далеко
Глаголами правды святой.

Но если кто содрогнулся отъ страшныхъ событій, пусть

же теперь работаетъ умомъ и сердцемъ; пусть никто не засыпаетъ, въ комъ пробудилась душа.

Причины зла, источникъ его — вотъ самый важный вопросъ въ настоящее время. Кто не думаетъ объ этомъ, не стремится всѣми силами уяснить себѣ дѣло, тотъ не заслуживаетъ названія серьезнаго человѣка. А тотъ, кто думаетъ при этомъ не объ общей бѣдѣ, а только о томъ, какъ бы воспользоваться этою бѣдою, какъ бы при этомъ случаѣ обдѣлать свои дѣла, тотъ не стòитъ имени честнаго человѣка.

Между тѣмъ, мнѣ все кажется, что серіозно размышляющихъ о вопросѣ, вникающихъ въ него съ искреннимъ усиліемъ, между нами очень мало, почти нѣтъ. Мало того, почти нѣтъ и такихъ, которые сознавали бы надобность подумать. Зачѣмъ думать? Да у каждаго сейчасъ же, черезъ двѣ минуты послѣ событія, готовъ отвѣтъ, каждый все рѣшилъ какъ по пальцамъ, и потому принимается усердно выкрикивать свое мнѣніе и думаетъ только объ одномъ: какъ бы половчѣе защищать его. И часто, поспѣшнымъ и легкомысленнымъ является тотъ, кто горячѣе другихъ принялъ дѣло къ сердцу.

Чтò же это за рѣшенія? Горе въ томъ, что при этомъ каждый не видитъ нужды выходить изъ сферы своихъ привычныхъ понятій и каждый ищетъ источника злодѣйства въ томъ, въ чемъ привыкъ полагать наибольшее зло, на чемъ привыкъ сосредоточивать свою вражду. Злодѣи должны были руководиться злобою; убійцы Русскаго царя должны были питать ненависть къ Русскому царству—вотъ общій смыслъ разнообразныхъ предположеній, вотъ выводъ по видимому такой простой и естественный, что ему невозможно противорѣчить. Корень

дѣла—или озлобленіе противъ царя, или ненависть къ Русской землѣ; изъ этой дилеммы повидимому нѣтъ выхода. Можно даже вознегодовать на того, кто рѣшился бы отвергать такую ясную мысль. Неужели, въ самомъ дѣлѣ, можно полагать, что не злоба была главнымъ двигателемъ безчеловѣчнаго преступленія, что не ненависть къ Россіи руководила ударомъ, отъ котораго застонала Россія?

И вотъ, мы готовы безъ конца перебирать причины, которыя соотвѣтствуютъ такимъ предположеніямъ. Мы спрашиваемъ, не было ли у Государя личныхъ враговъ, людей раздраженныхъ и озлобленныхъ чѣмъ-нибудь прямо противъ его лица? Потомъ, не было ли такихъ, которые злобились не на него лично, а на его управленіе, на тотъ строй, во главѣ котораго онъ стоялъ? Мы перебираемъ всѣхъ, кто могъ понести несправедливости и притѣсненія, мы мысленно соединяемъ въ одну картину всѣ тягости, всѣ неправды, всякое правительственное зло, какое у насъ было или могло быть, и спрашиваемъ: не отсюда ли явились злодѣи? Это страшное злодѣйство не составляетъ ли отголоска озлобленія, зародившагося въ какомъ-нибудь углу Россіи, не вызвано ли оно неправильнымъ распоряженіемъ, чрезмѣрною строгостію къ какимъ-нибудь лицамъ или дѣламъ? Тутъ намъ открывается обширное поприще соображеній. Мы допытываемся, какого званія и происхожденія преступники, чѣмъ они занимались, съ кѣмъ водились, отъ кого и отъ чего могли пострадать и вознегодовать; и когда найдемъ причины раздраженія, мы удовлетворяемся и даже, пожалуй, сами начинаемъ проповѣдывать противъ порядковъ и случаевъ, вызвавшихъ это раздраженіе.

Однимъ словомъ, мы тутъ приписываемъ преступленіе

личнымъ побужденіямъ преступника. Вступиться за свою обиду или за другихъ обиженныхъ—вотъ самое простое и естественное возмущеніе человѣка, и потому многіе ищутъ здѣсь разрѣшенія вопроса, охотно пускаются во всякія варіаціи на эту тему. Не забудемъ притомъ, что, въ силу простоты и естественности, дѣло получаетъ въ то же время наиболѣе *невинный* видъ, а въ иныхъ случаяхъ, пожалуй, возвышается и до героизма, такъ что добрыя и невинныя души особенно расположены къ такому идиллическому взгляду.

Увы! доброта и невинность не помогутъ намъ въ распутываніи этого узла. Мы должны вспомнить, что въ человѣкѣ, живущемъ въ государствѣ, личныя побужденія неспособны имѣть такую силу. Всякій съ дѣтства привыкаетъ къ мысли, что тяжелая и сложная машина государства можетъ наносить ущербъ его интересамъ; всѣ мы каждый день чувствуемъ хоть малую долю тягости, происходящей отъ того, что мы такъ или иначе держимъ на себѣ государство. Бунтъ, самоуправство, хотя суть вещи очень обыкновенныя, но вызываются всегда только очень опредѣленными, совершенно мѣстными и частными явленіями, такъ что виноватые всегда отчетливо обнаруживаютъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ, что они идутъ противъ извѣстнаго лица, извѣстнаго порядка, а не противъ государства вообще, не противъ правительства и законовъ вообще.

Нѣтъ, злодѣйства, потрясающія наше царство, могутъ происходить не отъ людей, озлобленныхъ противъ извѣстныхъ лицъ или порядковъ, а развѣ отъ враговъ Русской земли, отъ ненавистниковъ ея могущества. Племенная ненависть тысячекратно сильнѣе личной, и вотъ, повидимому, гдѣ можно найти источникъ этой дерзости и

силы. Наши политики и историки очень естественно останавливаются на этихъ соображеніяхъ. Польскій фанатизмъ, или можетъ быть ярость обезумѣвшихъ хохломановъ,—вотъ гдѣ злоба дѣйствительно можетъ дорости до тѣхъ размѣровъ, въ какихъ мы видимъ ее передъ собою.

Такое разрѣшеніе вопроса, конечно, несравненно выше, чѣмъ выводъ всего дѣла изъ личныхъ побужденій. Наши преступники, очевидно, посягаютъ на политическое существованіе Россіи; слѣдовательно, они дѣйствуютъ за одно съ ея политическими врагами. Эти враги должны радоваться ихъ дѣйствіямъ; всякій, кто ненавидитъ русскую силу въ Европѣ, долженъ чувствовать желаніе помочь нашимъ анархистамъ, можетъ быть и дѣйствительно помогаетъ, можетъ быть даже самъ становится въ ихъ ряды. У тѣхъ и другихъ одна цѣль, одно желаніе, такъ что ни по результатамъ, ни по способу дѣйствій невозможно отличить однихъ отъ другихъ.

Между тѣмъ различить необходимо. Если есть различіе, то мы должны его отыскать и опредѣлить; иначе мы вѣдь не узнаемъ настоящаго корня зла, иначе страшные уроки исторіи пропадутъ даромъ, и мы будемъ слѣпо двигаться къ пропасти, и мы не будемъ знать, что̀ намъ дѣлать, если только мы способны что-нибудь дѣлать противъ этой опасности. Кажется, есть надъ чѣмъ подумать, кажется, пора попробовать собрать свои мысли, а не твердить одно и то же, не двигаться все по однимъ и тѣмъ же колеямъ.

Корень зла—нигилизмъ, а не политическая или національная вражда. Эта вражда, какъ и всякое недовольство, всякая ненависть, составляетъ только пищу нигилизма, поддерживаетъ его, но не она его создала, не

она имъ управляетъ. Если какой-нибудь ненавистникъ Россіи далъ денегъ или прислалъ бомбы для нашихъ анархистовъ, то это значитъ только, что онъ сталъ слугою нигилизма, работаетъ въ его пользу, а не наоборотъ, не нигилизмъ ему служитъ. Разница огромная и существенная, которую мы никакъ не должны упускать изъ виду, если желаемъ правильнаго смысла въ нашихъ мысляхъ и дѣйствіяхъ. Вообразимъ, что въ какомъ-нибудь обширномъ домѣ вдругъ оказалось, что въ разныхъ темныхъ и незамѣтныхъ углахъ насыпанъ порохъ. Отъ времени до времени происходятъ взрывы этого пороха, производятъ разрушеніе и ужасъ, и, пожалуй, скоро обратятъ весь домъ въ развалины. Что бы мы сказали, если бы хозяинъ этого дома вовсе не безпокоился о разложенномъ у него порохѣ, а только сердился бы на тѣхъ, кто его поджигаетъ? Порохъ, это — нашъ нигилизмъ; вмѣсто того, чтобы думать только объ его поджигателяхъ, не разумнѣе ли позаботиться объ уничтоженіи пороха? Притомъ, какая наивность, какой верхъ наивности—думать, что порохъ самъ по себѣ ничего, что тотъ, кто только кладетъ порохъ, еще не дѣлаетъ ничего дурнаго, что можетъ быть онъ вовсе не имѣетъ въ виду произвести взрывъ, а что истинные злодѣи, настоящій источникъ зла—это люди, поджигающіе порохъ! Вотъ въ какую жестокую ошибку мы можемъ попасть. При всѣхъ своихъ усиліяхъ противъ поджигателей, если даже они и найдутся, мы можемъ довести дѣло до того, что во всѣхъ углахъ у насъ будетъ порохъ, и тогда одной искры будетъ довольно, чтобы все поднять на воздухъ. Не лучше же ли подумать, какъ бы очищать отъ пороха наши углы? Не въ этомъ ли должна состоять наша главная забота? Когда бы домъ нашъ былъ чистъ

отъ пороха, то мы могли бы не бояться взрывовъ, и поджигатели были бы намъ уже не такъ страшны.

Вотъ правильная постановка дѣла, вотъ прямое рѣшеніе вопроса. Но боюсь и предчувствую, что эта постановка не будетъ принята, и это рѣшеніе будетъ отвергнуто. Съ одной стороны, дѣло въ такомъ видѣ является слишкомъ сложнымъ и труднымъ; съ другой стороны, оно для большинства кажется непонятнымъ, невѣроятнымъ.

Нигилизмъ! Да возможно ли мечтать объ его уничтоженіи? Если бы дѣло шло только объ истребленіи наличныхъ нигилистовъ, то можетъ быть нашлись бы еще люди, которые сочли бы эту мѣру достойною вниманія и разсмотрѣнія. Но дѣло вовсе не въ нигилистахъ, а въ нигилизмѣ. Какъ сдѣлать, чтобы ослабѣло и умалилось это направленіе? Какъ обратить на истинный путь тѣхъ, кто стоитъ теперь на этомъ ложномъ? Какъ предупредить по крайней мѣрѣ, чтобы ежегодно и ежедневно тысячи и тысячи молодыхъ людей не сбивались съ пути, не вербовались въ эту незримую армію? Истреблять зараженныхъ дѣло не хитрое; но какъ истребить заразу? Тутъ невозможность такъ ясна для всѣхъ, такъ уже признана всѣми, что объ ней обыкновенно и не разсуждаютъ. Признано, что нигилизмъ составляетъ какъ бы естественное зло нашей земли, болѣзнь, имѣющую свои давніе и постоянные источники и неизбѣжно поражающую извѣстность часть молодаго поколѣнія. Самые смѣлые замыслы и попытки измѣнить наше образованіе и дать умамъ другое направленіе останавливаются только на мысли—воспитать часть молодыхъ людей въ другихъ началахъ, а никакъ не смѣютъ простираться до мечтаній о полномъ ослабленіи нигилизма.

Если же такъ, то большинство тѣмъ охотнѣе начинаетъ невѣрить въ самую силу нигилизма. „Нѣтъ“, говорятъ, „эти недоучившіеся мальчишки не могутъ имѣть никакого серьезнаго значенія; у нихъ нѣтъ ни средствъ, ни опредѣленнаго плана, ни такой цѣли, которая внушала бы эту дьявольскую энергію. Если вы утверждаете, что нигилисты произвели этотъ рядъ покушеній, то скажите намъ, какую цѣль они могли имѣть въ виду? Какую разумную цѣль можно придумать для этихъ дѣйствій? Только для враговъ Россіи могутъ быть выгодны эти потрясенія; а кто не врагъ Россіи, тотъ можетъ ихъ дѣлать только изъ чистаго желанія зла, изъ жажды разрушенія для разрушенія. Ужели же это возможно? Ужели такая дикая мысль можетъ кого-нибудь воодушевлять и доводить до отчаянныхъ усилій, до пожертвованія собою?“

Да, это дѣйствительно трудно понять; между тѣмъ, кто не пойметъ этого, тотъ не пойметъ и существа дѣла. Трудно, очень трудно понять, что вовсе не какіе-нибудь реальные интересы, не опредѣленныя личныя, временныя, мѣстныя побужденія порождаютъ эти ужасы, а порождаютъ ихъ отвлеченныя мысли, призрачныя желанія, фантастическія цѣли. Если же кто понялъ это, тотъ, мнѣ думается, долженъ невыразимо содрогнуться передъ этимъ безуміемъ, содрогнуться съ несравненно бо́льшимъ страхомъ, чѣмъ передъ всякою реальною злобою, чѣмъ передъ самой чудовищной, но реальной ненавистью. Ибо, реальныя желанія можно удовлетворить, реальную ненависть можно отразить и обезоружить; но что̀ сдѣлать съ фантастическою ненавистью, которая питается сама собою, надъ которою ничто реальное не имѣетъ силы? Да, наша бѣда истинно ужасна, наша опасность без-

мѣрна; напрасно мы стали бы уменьшать ея размѣры,— это ничему не поможетъ.

Посмотрите, какъ просто было бы дѣло, если бы Государя убилъ кто-нибудь, питавшій лично къ нему безумную ненависть. Тогда это была бы случайность, которой никогда невозможно избѣжать и надъ которою нечего было бы думать. Точно такъ, если бы убійцы были люди, обиженные властями, пострадавшіе отъ суда или администраціи, то самое бо́льшее, что̀ отсюда можно было бы вывести, состояло бы въ томъ, что открылся бы нѣкоторый совершенно опредѣленный порокъ въ государственной машинѣ, порокъ, доводящій людей до отчаянія. Говоримъ, *совершенно опредѣленный*, ибо дойти до посягательства на жизнь Государя вслѣдствіе вообще какой-нибудь понесенной несправедливости—есть безуміе, къ которому неспособны вполнѣ неповрежденные люди.

Въ этомъ отношеніи чрезвычайно ясный смыслъ имѣетъ предубѣжденіе, встрѣчавшееся у простаго народа, будто-бы виновники покушеній принадлежатъ къ числу лицъ, потерпѣвшихъ убытки вслѣдствіе крестьянской реформы. Вотъ въ самомъ дѣлѣ мѣра, которая отразилась на жизни множества людей и, по грубому понятію, должна была озлобить кого-нибудь изъ нихъ. Это совершенно невѣрно, но, по крайней мѣрѣ похоже на объясненіе, не говоря даже о высшемъ его смыслѣ. Люди, охладѣвающіе къ родному языку, вѣрѣ и обычаю, становятся чуждыми народу, и онъ, въ своей темнотѣ, можетъ причислить къ нимъ злодѣевъ, въ которыхъ находитъ полное отреченіе отъ своего духа и отъ глубочайшихъ своихъ интересовъ. Другаго подобнаго, хотя бы и ложнаго, объясненія выставить невозмо̀жно. Въ одномъ изъ недавнихъ политическихъ процессовъ,

совершившій покушеніе подсудимый говорилъ о свободѣ печати, и судившіе снисходительно его выслушали. Ну развѣ не было бы верхомъ нелѣпости, если бы мы вообразили, что этотъ преступникъ принадлежитъ къ большой массѣ людей, пламенно желающихъ печатно высказывать свои нецензурныя мысли, и что онъ, когда другіе только терпѣли и негодовали, дошелъ до ярой ненависти, сѣлъ на лошадь и выстрѣлилъ въ проѣзжавшаго начальника 3-го Отдѣленія? Совершенно ясно, что свобода печати была для него не дѣйствительная, личная потребность, а отвлеченная мысль. Нѣтъ, эти покушенія не протестъ, не мщеніе, не требованіе; иначе они имѣли бы не общій, а частный смыслъ, имѣли бы ясно-опредѣленное значеніе.

Національная и политическая ненависть, вотъ это— нѣчто совершенно опредѣленное. И опять скажемъ, что если бы дѣло сводилось къ этой ненависти, то сравнительно это была бы меньшая бѣда и меньшій ужасъ. Между Поляками и хохломанами есть заклятые враги Россіи; но что̀ бы они значили безъ союза съ нашимъ чисто-внутреннимъ врагомъ? И во всякомъ случаѣ, если бы это были чистые націоналы, они могли бы постепенно образумиться вмѣстѣ съ успокоеніемъ своего народа. Рано или поздно можно было бы предвидѣть ихъ ослабленіе, если только позволительно предвидѣть въ человѣчествѣ ослабленіе коварства и злобы, если только можно думать, что ненависть не всегда же ищетъ себѣ поводовъ, когда не имѣетъ для себя причинъ.

Но той бѣды, которая пришла на насъ, мы не избудемъ ни реформами, ни умиротвореніемъ народностей. Нигилизмъ есть движеніе, которое въ сущности ничѣмъ не удовлетворяется, кромѣ полнаго разрушенія. О, понятно, почему есть столько людей, которые не въ си-

лахъ этому повѣрить, не могутъ вмѣстить этого въ своихъ понятіяхъ. Нигилизмъ это не простой грѣхъ, не простое злодѣйство; это и не политическое преступленіе, не такъ называемое революціонное пламя. Поднимитесь, если можете, еще на одну ступень выше, на самую крайнюю ступень противленій законамъ души и совѣсти; нигилизмъ, это—грѣхъ трансцендентальный, это—грѣхъ нечеловѣческой гордости, обуявшей въ наши дни умы людей, это—чудовищное извращеніе души, при которомъ злодѣяніе является добродѣтелью, кровопролитіе—благодѣяніемъ, разрушеніе—лучшимъ залогомъ жизни. Человѣкъ вообразилъ, что онъ полный владыка своей судьбы, что ему нужно поправить всемірную исторію, что слѣдуетъ преобразовать душу человѣческую. Онъ, по гордости, пренебрегаетъ и отвергаетъ всякія другія цѣли, кромѣ этой высшей и самой существенной, и потому дошелъ до неслыханнаго цинизма въ своихъ дѣйствіяхъ, до кощунственнаго посягательства на все, передъ чѣмъ благоговѣютъ люди. Это—безуміе соблазнительное и глубокое, потому что подъ видомъ доблести даетъ просторъ всѣмъ страстямъ человѣка, позволяетъ ему—быть звѣремъ и считать себя святымъ.

И это направленіе—не случайность, не помѣшательство; нѣтъ, въ немъ, какъ въ фокусѣ, отразились всѣ нынѣшнія господствующія стремленія, весь духъ нашего времени; вотъ что хотѣлъ бы я объяснить въ этихъ письмахъ, насколько смогу и съумѣю.

Если мы не отыщемъ другихъ началъ, если не прилѣпимся къ нимъ всею душою, мы погибнемъ.

19 марта 1881.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Сей возрастъ жалости не знаетъ.
Крыл.

Гордость.—Презрѣніе.—Ненависть.—Самодовольство. — Долгъ и самопожертвованіе.—Проповѣдь и ея фіаско.—Бездарность и ложь.—Злодѣйство.—Безсердечіе.—Молодость. — Распространеніе заразы. — Непослѣдовательность. — Гордость просвѣщеніемъ. — Самостоятельное мышленіе.—Политическое честолюбіе.—Политическія преступленія.—Бѣдствія впереди.

Программа нигилистовъ извѣстна. Но мнѣ хотѣлось бы сдѣлать общій ея очеркъ, взявъ дѣло съ той стороны, на которую часто не обращаютъ вниманія. Нигилизмъ весь основывается на дурныхъ свойствахъ человѣческой души, но на такихъ, въ которыхъ возможно самообольщеніе, то есть можно принимать свой недостатокъ за достоинство. Эти жалкіе и страшные безумцы, такъ много толкующіе о матеріальныхъ интересахъ, видящіе въ нихъ главный стержень жизни и исторіи, сами увлекаются на свой путь не матеріальными, а духовными соблазнами; эти извращенные люди доказываютъ самымъ своимъ извращеніемъ, что не плоть, а духъ главное начало въ человѣкѣ.

Коренная черта нигилизма есть *гордость* своимъ умомъ и просвѣщеніемъ, какими-то правильными понятіями и разумными взглядами, до которыхъ наконецъ достигло будто бы наше время. Никакъ нельзя сказать однакоже,

чтобы мудрость, исповѣдуемая этими мудрецами, представляла что-нибудь важное, глубокое, трудное. Большею частію это грубѣйшій и безтолковѣйшій матеріализмъ, ученіе столь простое, такъ мало требующее ума и дающее пищи уму, что оно доступно самымъ неразвитымъ и несвѣдущимъ людямъ. Нигилисты сами невольно чувствуютъ эту скудость своего умственнаго достоянія, сознаютъ, что такою мудростію трудно гордиться. Поэтому, ихъ самолюбіе прибѣгаетъ къ извороту, и они начинаютъ тщеславиться не тѣмъ, что они сами знаютъ, а отрицаніемъ того, что признаютъ и во что вѣрятъ другіе люди. Здѣсь—безконечное поприще для самодовольства, ежеминутно питающагося *презрѣніемъ* ко всему остальному человѣчеству. Считая всѣхъ другихъ живущими въ темнотѣ невѣжества и предразсудковъ, нигилисты получаютъ возможность ставить себя выше толпы, принимать себя за избранныхъ, передовыхъ, за соль земли. Вмѣсто того, чтобы, чувствуя скудость своихъ понятій, приходить въ недоумѣніе и отчаяніе, они, напротивъ, постоянно потѣшаются созерцаніемъ чужаго невѣжества, постоянно упражняются въ отрицаніи чужихъ понятій и тѣмъ поддерживаютъ свою гордость.

Въ отношеніи къ нравственности у нихъ тоже выходитъ нѣчто подобное. Ихъ требованія отъ себя и отъ жизни очень смутны и скудны. Они почти не заботятся о собственномъ усовершенствованіи, какъ будто считая себя отъ природы совершенными; прямыя цѣли, которыя долженъ ставить себѣ человѣкъ въ жизни, у нихъ выходятъ невысокія и неясныя: больше всего они толкуютъ о матеріальномъ благосостояніи, о равенствѣ и свободѣ, но толкуютъ на разные лады и даже не осо-

бенно ищутъ отчетливаго опредѣленія этихъ своихъ высшихъ благъ и взаимнаго соглашенія въ ихъ пониманіи. И вотъ, чувствуя скудость своихъ идеаловъ, видя, что нельзя питать душу этимъ плоскимъ взглядомъ на жизнь, они невольно прибѣгаютъ къ хитрости, дѣлютъ душевный изворотъ и возбуждаютъ свое нравственное чувство не къ положительнымъ стремленіямъ, а къ *ненависти*. Не тѣмъ доволенъ нигилистъ, что онъ нашелъ истинное благо и что пламенѣетъ къ нему любовью, а тѣмъ, что онъ исполненъ такъ-называемаго благороднаго негодованія къ господствующему злу. Зло— есть необходимая пища для его души, и онъ отыскиваетъ зло всюду, даже тамъ, гдѣ и самая мысль о злѣ не можетъ прійти въ голову непросвѣщеннымъ людямъ. Всякое установленіе, всякая связь между людьми, даже связь между мужемъ и женою, между отцемъ и сыномъ, оказываются нарушеніемъ свободы; всякая собственность, всякое различіе, естественное или пріобрѣтенное, выходитъ нарушеніемъ равенства; всякія требованія, ставимыя природою или обществомъ, не могутъ быть выполнены безъ извѣстнаго ограниченія и равенства, и свободы, и матеріальнаго благосостоянія. Эта критика существующаго порядка такъ радикальна, идетъ такъ далеко, что совершенно ясно и послѣдовательно приходитъ къ отрицанію не только всякаго порядка, но почти и всего существующаго. Можно было бы дивиться безумію этихъ людей, не видящихъ, въ какую ловушку они зашли, не понимающихъ, что возможность зла возникаетъ изъ самаго существованія опредѣленнаго, имѣющаго свои условія добра, еслибы эти люди не находили въ своихъ нелѣпостяхъ пищи для своей души. Эта пища, которою они живутъ, есть раздраженіе, гнѣвъ, не-

навистъ; не самое благо имъ нужно; вмѣсто того, чтобы унывать и скорбѣть о пустотѣ того идеала, въ который у нихъ разрѣшается понятіе о жизни, они, напротивъ, полны восторга, что чужды какого-то зла и что ненавидятъ это зло.

Таковы нигилисты; нѣтъ людей болѣе самодовольныхъ, болѣе удовлетворенныхъ умственно и нравственно; а посмотрите, какими простыми средствами это достигается! Они считаютъ себя умными только потому, что ни во что не вѣрятъ, и добрыми только потому, что не участвуютъ въ жизни другихъ людей и смотрятъ на нее съ негодованіемъ. И, такъ какъ для этого вовсе не нужно ни большаго ума, ни большой душевной доблести, то оказывается, что даже жалчайшія и презрѣннѣйшія существа, неспособныя ни къ какому дѣлу и достоинству, а только чувствующія въ себѣ нѣкоторый позывъ къ гордости и ненависти, обращаются въ нигилистовъ и могутъ не уступать въ своемъ нигилизмѣ самымъ способнымъ и благороднымъ сотоварищамъ. Самолюбіе, зависть, бездарность, дурное сердце—вотъ часто дорога къ нигилизму, и нигилизмъ не имѣетъ въ себѣ ничего противъ этихъ недостатковъ, напротивъ даетъ имъ пищу и пріютъ.

Такое положеніе дѣла не можетъ не чувствоваться и самимъ нигилизмомъ; душа человѣческая не можетъ успокоиться на такомъ явномъ пониженіи, на такомъ пошломъ и глупомъ выходѣ. И вотъ, вступаютъ въ силу старыя забытыя слова: *долгъ*, *служеніе*, *самопожертвованіе*, и чѣмъ отчаяннѣе была пустота въ ихъ душѣ, чѣмъ гнуснѣе были позывы гордости и ненависти, тѣмъ съ большею силою душа выходитъ на этотъ путь, тѣмъ съ большею ревностію она предается этому послѣднему соблазну, дальше котораго уже некуда идти и нечѣмъ

соблазняться. Ихъ гонитъ сюда внутреннее отчаяніе. Нигилистъ, рѣшающійся дѣйствовать и для этого рискующій своею жизнью, конечно можетъ воображать, что онъ дошелъ до конца и жертвуетъ самымъ дорогимъ, что̀ у него есть; но въ сущности это дорогое можетъ быть и не очень-то для него дорого.

Въ чемъ же этотъ долгъ и это служеніе? Такъ какъ нигилисты считаютъ лишнимъ заботиться о своемъ собственномъ умѣ и сердцѣ, такъ какъ они не видятъ въ жизни людей никакого добра, никакого хорошаго дѣла, которому можно бы служить, то они придумали себѣ другія обязанности, болѣе высокаго разбора. Будучи вполнѣ довольны своимъ просвѣщеніемъ и поведеніемъ и вполнѣ недовольны существующимъ порядкомъ, они должны были признать своимъ главнымъ долгомъ просвѣщать другихъ и содѣйствовать ихъ прогрессу. Всѣ нигилисты непремѣнно политики, страдаютъ гражданскою скорбью и заботятся объ общемъ благѣ. Первое и прямое поприще для этихъ заботъ конечно—проповѣдь, литература, прокламація. И вотъ они пробуютъ на всевозможные лады вести пропаганду своихъ идей, разрушать предразсудки, раскрывать господствующе зло, обличать, возбуждать то негодованіе, которымъ сами переполнены. Они самоувѣренно выходятъ на тотъ путь, на которомъ такъ прославились Прудоны, Герцены, Лассали, и даже думаютъ, что сейчасъ же превзойдутъ своихъ учителей.

Никто и никого не имѣетъ права порицать за проповѣдываніе своихъ убѣжденій. Въ нашемъ мірѣ, воспитанномъ на христіанствѣ, мы должны признавать за каждымъ право ставить свою совѣсть выше всего; какъ бы ни была извращена эта совѣсть, для нея еще есть залогъ

спасенія, если она не отравлена ложью, если не отрекается отъ самой себя. Поэтому меньше всего можно винить нигилистовъ за самое ихъ желаніе проповѣдывать; мы не будемъ называть ихъ *непризванными учителями*, не будемъ упрекать, что они взялись *не за свое дѣло*. Если бы они дѣйствительно вели борьбу только духовнымъ оружіемъ мысли и слова и были бы искренни, то ихъ слѣдовало бы признать терпимыми, какія бы безумія они ни проповѣдывали. Но полная искренность, но борьба чисто духовнымъ оружіемъ суть дѣла столь высокія и трудныя, какъ того и не подозрѣваетъ большинство проповѣдниковъ. Не мудрено, что нигилисты не выдержали своихъ притязаній; они потерпѣли двойную неудачу: во первыхъ, они не имѣли литературнаго успѣха, во вторыхъ, они очень скоро потеряли главную пружину всякой проповѣди, совѣсть, и впали въ ложь.

Подъ литературнымъ фіаско нигилистовъ я разумѣю то рѣшительное пренебреженіе къ ихъ заграничнымъ писаніямъ и къ ихъ подпольнымъ изданіямъ внутри Россіи, которое началось у насъ съ 1863 года и доросло въ послѣдніе годы до какого-то подавляющаго презрѣнія и равнодушія. Эта непрерывная неудача тѣмъ поразительнѣе, что ей предшествовалъ блестящій успѣхъ. Герценъ, уѣхавши за границу, рѣшился остаться тамъ навсегда именно для того, чтобы свободно высказывать свои вольнодумныя мысли, и на первыхъ порахъ казалось, что слово, сдѣлавшееся свободнымъ, получило невообразимую, волшебную силу дѣйствія на умы. Точно также первыя подпольныя прокламаціи появлявшіяся въ Петербургѣ, не смотря на дикость своего содержанія, передавались изъ рукъ въ руки и читались съ величайшимъ любопытствомъ. Казалось такимъ образомъ, что

найденъ прямой путь дѣйствія, что нужно только постараться, и Россія быстро измѣнитъ свой умственный и нравственный образъ и начнетъ новую жизнь. Увы, обольщеніе быстро разсѣялось. Оказалось, что вся сила была не въ свободномъ словѣ, а въ талантѣ и остроуміи Герцена, и что, когда прошло любопытство новизны, никто не сталъ читать плохихъ и безтолковыхъ писаній. Но, разумѣется, нигилисты продолжали упорствовать въ своихъ надеждахъ и не догадывались, въ чемъ дѣло. Цѣлыя толпы уходили за границу, чтобы обречь себя на писательское поприще, и плодили изданія, которыми подъ конецъ интересовался развѣ ихъ собственный кружокъ. Кромѣ бездарности, эту неудачу довершила та страшная ложь, которая развилась въ этихъ писаніяхъ. Принципъ этой лжи тотъ же, который заражаетъ болѣе или менѣе всякую политическую литературу. Когда писаніе совершается не для того, чтобы выразить душу пишущаго, а имѣетъ цѣль внѣ себя, хочетъ служитъ постороннему дѣлу, оно легко впадаетъ въ адвокатскіе пріемы; люди начинаютъ обманывать себя и другихъ, и сами губятъ себя ложью. Въ послѣдней прокламаціи, какъ было приведено въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", нашъ благодушнѣйшій покойный Государь названъ *тираномъ*. Съ великими опасностями и трудами нигилисты напечатали это заявленіе; но спрашивается, какой же человѣческій смыслъ оно можетъ имѣть и на кого можетъ подѣйствовать, кромѣ такихъ же бѣсноватыхъ?

Несчастный Герценъ, завлекшись въ агитацію и запутавшись въ ней, наконецъ бросилъ всю эту ложь и глупость, и тоскливо прожилъ въ бездѣйствіи свои послѣдніе годы, каясь въ своихъ ошибкахъ. Другіе проповѣдники терпѣли постоянную неудачу. Оказывалось,

что самое удобное мѣсто для нигилистической литературы не на свободѣ, а внутри Россіи. Тутъ, являясь въ печати, нигилизмъ сдерживался и невольно принималъ болѣе умный и благородный видъ. Цензура не давала говорить слишкомъ явныхъ глупостей и лжей, а между тѣмъ писатель могъ намеками внушать читателямъ очень высокое понятіе о тѣхъ сокровищахъ просвѣщенія и гуманности, которыя онъ вынужденъ хранить про себя; да кромѣ того считалъ себя вообще уже въ полномъ правѣ на всякое лукавство и всякую неправду.

Такимъ образомъ, литературная дѣятельность, то есть единственная дѣятельность нигилизма, могущая быть законною, была слишкомъ медленна и неудачна, и не могла удовлетворить нигилистовъ, даже если бы они были расположены одною ею ограничиваться. Они стали искать другаго поприща, чтобы дѣйствовать, и многіе *пошли въ народъ*, чтобы распространять свои мысли и разжигать недовольство въ простыхъ людяхъ. И тутъ удача была начтожная въ сравненіи съ ожиданіями; мужики, которымъ (какъ было напечатано лѣтъ двадцать назадъ въ одномъ журналѣ) *въ десять минутъ* разговора умный человѣкъ могъ надѣяться вполнѣ раскрыть ихъ истинные интересы, оказались ужасно непонятливыми и упорными. Сѣмена революціи не принимались на руской почвѣ, и старый порядокъ стоялъ крѣпко. Понятно, что самые смѣлые и ожесточенные нигилисты давно стали выходить на другой путь, на единственный путь, обѣщавшій вѣрные успѣхи, на путь злодѣйствъ. Вы видите, какая логика сюда ихъ привела; они разрѣшили себѣ всякое зло, какое физически можетъ причинять человѣкъ другимъ людямъ, и они вдругъ изъ безсильныхъ и пренебрегаемыхъ сдѣлались могучими и страшными. Прежде

они готовы были разрѣшить себѣ, и даже разрѣшали, всякій нравственный ядъ и нравственный динамитъ; но эти средства въ ихъ рукахъ почему-то очень слабо дѣйствовали. Тогда они прибѣгли къ физикѣ и химіи, которыя дѣйствуютъ неотразимо, и дѣло пошло гораздо успѣшнѣе. Они не могли убить враждебные имъ принципы; тогда они стали убивать людей, представлявшихъ собою эти принципы. Какая радость для злодѣя сознавать, что онъ можетъ поколебать цѣлое государство, навести ужасъ на милліоны людей, и что всякая власть и сила, всякая любовь и преданность безсильны противъ его покушеній! Чтобы достигнуть такого адскаго могущества, ему приходится рисковать собою; но цѣль очевидно слишкомъ высока и соблазнительна въ сравненіи съ той цѣною, которою она покупается. Въ дурной нашъ вѣкъ жизнь, какъ извѣстно, очень понизилась въ цѣнѣ; да и никогда человѣкъ не дорожилъ ею такъ, чтобы не рисковать ею на разные лады, чтобы не жертвовать собою въ какой-нибудь игрѣ, несравненно менѣе завлекательной, чѣмъ эта нынѣшняя игра.

Всѣ люди имѣютъ стремленіе жить умомъ и сердцемъ; всѣ стремятся и къ нѣкоторой дѣятельности; если эти стремленія представляютъ большую энергію, мы всегда склонны видѣть въ ней что-то хорошее, обѣщающее. Но посмотрите, какъ жестоко извращены эти силы у нигилистовъ; умъ ихъ направленъ къ отрицанію, сердце къ ненависти, дѣятельность къ разрушенію. Притомъ сами они ставятъ все это себѣ въ величайшее достоинство, безъ чего конечно и невозможна была бы ихъ душевная чудовищность. Никто сознательно не хочетъ быть дурнымъ; такъ и нигилисты, чтобы коснѣть въ своемъ злѣ, должны постоянно обманывать самихъ себя. Они

считаютъ себя умными, но оказывается, что они умны только чужой глупостью: они считаютъ себя чистыми и съ презрѣніемъ смотрятъ на другихъ, но на самомъ дѣлѣ они святы только чужими грѣхами. Они видятъ въ себѣ благодѣтелей рода человѣческаго, а въ дѣйствительности они потому сдѣлали своимъ орудіемъ зло, что неспособны произвести ничего добраго. Они выбрали тотъ путь, который съ наименьшими требованіями и съ наибольшею легкостью можетъ удовлетворять ихъ самолюбію, ихъ жаждѣ проявлять себя. Поэтому величайшія душевныя гадости могутъ уживаться съ нигилизмомъ; для совершенія того, что̀ они считаютъ своими геройскими подвигами, часто достаточно одной тупости, и во всякомъ случаѣ требуется только звѣриная хитрость и ненасытное злорадство. Истинно-благородная душа должна чувствовать къ дѣламъ этого рода глубокое отвращеніе.

Нѣтъ, это безуміе имѣетъ своимъ источникомъ не любовь къ людямъ, которую оно осмѣливается писать на своемъ знамени, а именно *безсердечіе*, отсутствіе истиннаго чувства добра, нравственную слѣпоту. Это не живое, теплое стремленіе сердца, а напротивъ, отвлеченная ожесточенность, холодный, головной порывъ. Вотъ почему это безуміе встрѣчается въ крайней степени только у молодыхъ людей, когда сердце еще не выросло, а голова и самолюбіе уже распалены, когда настоящая жизнь и настоящія человѣческія отношенія еще невѣдомы, когда человѣкъ еще эгоистиченъ и безжалостенъ, какъ малый ребенокъ, а между тѣмъ несетъ себя высоко и воображаетъ себя призваннымъ для распоряженія судьбою другихъ людей.

Острыя формы этой болѣзни поражаютъ, какъ извѣстно, только людей недозрѣлыхъ; но согласитесь, что въ

общихъ своихъ чертахъ и въ болѣе мягкихъ формахъ эта самая зараза у насъ распространена во всѣхъ слояхъ общества, кромѣ простаго народа. И въ этомъ-то наша главная бѣда и опасность. Болѣзнь постоянно поддерживается тѣми самыми людьми, которые приходятъ въ непритворный ужасъ отъ злокачественныхъ ея проявленій. Весь умственный складъ нашей интеллигенціи, даже той, которая далека отъ прямаго нигилизма, направленъ однако въ его сторону; нигилисты часто имѣютъ полное право говорить, что они только послѣдовательнѣе другихъ, только доходятъ до крайнихъ выводовъ изъ тѣхъ началъ, какія ежедневно проповѣдуются съ каѳедръ и проводятся въ печати. Жизнь, конечно, рѣдко послѣдовательна; люди съ самыми дурными началами часто не видятъ законныхъ слѣдствій этихъ началъ, и сами ведутъ себя совершенно по другимъ началамъ, о которыхъ не догадываются. Но, если дурныя начала существуютъ, то они наконецъ должны обнаруживать и свое дурное дѣйствіе. Мы совершенно въ правѣ осуждать сердце и душу людей, поддавшихся этому дѣйствію, но не имѣемъ права не видѣть ихъ послѣдовательности; напротивъ, намъ слѣдуетъ изучать эту логику, чтобы добраться и до тѣхъ первыхъ посылокъ, которыя она принимаетъ за исходныя точки.

Гордость просвѣщеніемъ есть безъ сомнѣнія общая черта нашего времени, а не свойство однихъ нигилистовъ. Конечно, очень дикое явленіе представляетъ недошедшій до конца курса гимназистъ, уже съ презрѣніемъ смотрящій на все окружающее и видящій во всей исторіи, и даже въ томъ, что было десять лѣтъ назадъ, уже темную, невѣжественную старину. Но развѣ онъ самъ додумался до этой гордости? Онъ ее всосалъ изъ разгово-

ровъ своихъ наставниковъ; онъ ее заимствовалъ изъ какихъ-нибудь книгъ, имѣющихъ притязаніе на свѣжую современность, изъ *Бокля*, изъ *Голоса*, изъ первой попавшейся популярной брошюры. Ученая и литературная гордость разрослась въ наше время до чрезвычайности и проникла всюду.

Самоувѣренный молодой человѣкъ начинаетъ тѣшить свой умъ упражненіями въ отрицаніи; онъ отрицаетъ тѣмъ легче и смѣлѣе, чѣмъ меньше понимаетъ; онъ, какъ болтливый ребенокъ, безпрерывно задаетъ вопросы, которыхъ правильная постановка и настоящій смыслъ ему не по силамъ, и очень доволенъ нелѣпостію, которая изъ этого выходитъ. Но развѣ онъ виноватъ? Его, можетъ быть, съ пяти лѣтъ кто-нибудь старался обучить самостоятельному мышленію и увѣрялъ, что до всего слѣдуетъ доходить своимъ умомъ; если же этого не было, то и въ школѣ, и въ университетѣ онъ непремѣнно услышитъ, что отрицаніе есть великая сила, заправляющая прогрессомъ цивилизаціи, и тому подобное.

Точно такъ, политическое честолюбіе, непремѣнное желаніе быть дѣятелемъ на поприщѣ общаго блага, есть одна изъ самыхъ распространенныхъ чертъ нашего времени. На человѣка, удаляющагося отъ участія въ общественныхъ дѣлахъ, смотрятъ почти съ презрѣніемъ; свой умъ и свое благородство мы больше всего стремимся показать горячимъ вмѣшательствомъ въ государственные и соціальные вопросы.

Говорить ли, къ чему сводится это вмѣшательство? Нескончаемое злорѣчіе, повальное злорадное охужденіе— вотъ занятіе просвѣщенныхъ людей. Люди умные и опытные конечно ведутъ себя при этомъ прекрасно: они тѣшатся злорѣчивыми бесѣдами, но на практикѣ очень

смирны и уживчивы. Но наивный юноша легко можетъ принять дѣло серьезно, огорчиться и озлобиться на самомъ дѣлѣ.

Не подумайте, что я здѣсь говорю только объ Россіи; то же самое дѣлается во всей Европѣ. Вся Европа жаждетъ прогресса и увѣрена въ скоромъ наступленіи лучшихъ временъ. Наше время считается переходнымъ и твердо признается, что мы живемъ не въ нормальномъ положеніи. А что прогрессъ совершается революціями, это доказывается всемірною исторіею. Поэтому политическія преступленія собственно не считаются преступленіями и караются какъ бы только изъ приличія. Общество невольно чувствуетъ, что эти преступники составляютъ его собственное порожденіе и что часто они только выполняютъ на дѣлѣ убѣжденія, съ которыми многіе другіе носятся всю жизнь, не приводя ихъ въ исполненіе,—причемъ свое бездѣйствіе эти несчастные не умѣютъ ничѣмъ и объяснить себѣ, кромѣ собственной подлости.

При такомъ общемъ направленіи мнѣній и чувствъ, понятно происхожденіе нигилистовъ, понятно, что они должны постоянно вновь нараждаться и плодиться, и что, подвергаясь преслѣдованію правительствъ и карѣ законовъ, они не могутъ не встрѣчать въ интеллигенціи нѣкотораго сочувствія и оправданія. И этотъ ходъ дѣлъ будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока не вступятъ въ силу другія начала, могущія измѣнить настроеніе умовъ и дать всей нравственной жизни иное направленіе. Эти начала конечно существуютъ; но они заглохли или затерялись среди общаго могущественнаго потока европейскаго просвѣщенія. И люди не образумятся и не отрезвятся до тѣхъ поръ, пока не *изживутъ* своихъ нынѣш-

нихъ понятій, пока на дѣлѣ, на жизни не испытаютъ того, къ чему ведутъ ихъ теперешнія желанія. Поэтому можно предвидѣть впереди великія бѣдствія, страшныя потрясенія; люди долго будутъ слѣпы и не будутъ внимать самымъ яснымъ урокамъ, самымъ горькимъ опытамъ.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Шаткость всѣхъ понятій.—Вѣковѣчныя начала.—Счастливое время.—Мечтательность и дѣйствительность.—Новое божество — прогрессъ.—Внутреннее противорѣчіе.—Жажда страдальчества.—Замѣна религіи.—Идеальная потребность. — Цѣль освящаетъ средства. — Неизбѣжныя бѣдствія.

Кажется, всего поразительнѣе въ наше время—*шаткость* всѣхъ понятій, странное (и въ сущности страшное) отсутствіе полной, твердой увѣренности въ какихъ бы то ни было началахъ, научныхъ, нравственныхъ, политическихъ, экономическихъ.

Наше время, считающее себя просвѣщеннѣйшимъ изъ всѣхъ временъ, кажется, ничего не признаетъ за незыблемую, вѣковѣчную истину. Такой скептицизмъ даже прямо возводится въ принципъ: „да", говорятъ, „мы сегодня думаемъ такъ и такъ, но прогрессъ идетъ, человѣчество движется впередъ, и какъ знать? Что̀ сегодня мы считаемъ истиною, завтра окажется ложью, что̀ признаѐмъ за добро, то можетъ быть завтра признаемъ за зло".

Это колебаніе, это отверженіе твердыхъ точекъ опоры простирается рѣшительно на все, не только на философію, исторію, науку права, политическую экономію, но и на то, что̀ называется точными науками, на тѣ естественныя науки, которыми всего больше гордится

наше время, въ которыхъ оно нашло, повидимому, наилучшее, самое блистательное поприще для человѣческаго ума. Не могу забыть, какъ, разсуждая съ однимъ знаменитымъ химикомъ, я услышалъ отъ него, что онъ ожидаетъ нахожденія фактовъ, которые могутъ опровергнуть и законъ *сохраненія вещества* и законъ *сохраненія силы*. Мое изумленіе было безмѣрно: что же есть твердаго во всѣхъ наукахъ о природѣ, если даже эти истины не окончательно тверды? И гдѣ же искать незыблемыхъ познаній, если и здѣсь нѣтъ ничего незыблемаго?

Сказать ли прямо мое убѣжденіе? Мнѣ кажется, нашъ вѣкъ глубоко ошибается, исповѣдуя такой скептицизмъ, такое отсутствіе вѣковѣчныхъ началъ и въ жизни природы и въ жизни человѣческой. Они есть, эти начала, они дѣйствуютъ и дѣйствовали искони, и непреклонное ихъ могущество не можетъ быть сломлено никакою силою, никакимъ прогрессомъ. Нашъ вѣкъ впалъ въ большое легкомысліе, не признавая основъ мірозданія, вообразивъ, что можно ихъ замѣнить чѣмъ-то другимъ, или передѣлать, усовершенствовать. И онъ несомнѣнно будетъ наказанъ за свое легкомысліе. Люди вѣка теперь образуютъ два отдѣла: одни смутно тоскуютъ, чувствуя, что чего-то не достаетъ въ жизни, нѣтъ ни единой твердой точки подъ ногами; другіе, наиболѣе бодрые, играютъ, какъ бы радуясь, что не на что опереться, и строятъ разные воздушные замки прогресса, смотря по своимъ вкусамъ и желаніямъ. Нашъ вѣкъ безъ сомнѣнія нужно считать сравнительно спокойнымъ и счастливымъ временемъ, въ которомъ надъ множествомъ людей дѣйствительность тяготѣетъ очень слабо. Пользуясь существующимъ порядкомъ, можетъ быть очень несовершен-

нымъ и дурнымъ, но имѣющимъ то достоинство, что это не мнимый, а реальный порядокъ,—пользуясь имъ, мы можемъ свободно предаваться мечтамъ, воображать себя очень умными и доблестными, достойными величайшихъ благъ, критиковать этотъ самый порядокъ, относиться къ нему съ строжайшею требовательностію и даже отвращеніемъ, и строить въ своей фантазіи новыя человѣческія отношенія, въ которыхъ не будетъ золъ, насъ огорчающихъ. Такія занятія очень пріятны и завлекательны: но они не могутъ продолжаться безъ конца. По всегдашнему требованію души человѣческой, люди будутъ искать дѣятельности, будутъ такъ или иначе пытаться воплощать свои понятія. И какъ только они выступятъ въ жизнь, такъ и начнутся разочарованія, тѣмъ болѣе горькія, чѣмъ слаще были мечтанія. Все то, что отрицалось и подвергалось сомнѣнію, всѣ дѣйствительныя силы и свойства міра человѣческаго, заявятъ свою непобѣдимую реальность. Вдругъ обнаружатся истинныя душевныя качества людей, признававшихъ за собою Богъ знаетъ какія высокія достоинства. Проповѣдники терпимости и гуманности вдругъ окажутся нетерпимѣйшими фанатиками, отрицатели авторитетовъ—раболѣпными поклонниками какихъ нибудь новыхъ идоловъ, противники войны и казни—жестокими и кровожадными преслѣдователями, либералы—властолюбцами и притѣснителями; словомъ—души явятся въ ихъ настоящемъ, давно извѣстномъ видѣ. Для разрушенія у людей хватитъ силъ; найдется довольно ненависти и дурныхъ инстинктовъ, чтобы до конца расшатать созданія многихъ вѣковъ. Но когда придется созидать новое, окажется, что это вовсе не такъ легко, какъ представлялось мечтателямъ, что все ихъ остроуміе—пустая игра фантазіи, и они, измученные и

отрезвѣвшіе, прибѣгнутъ наконецъ къ какой нибудь изъ давнищнихъ формъ общежитія, которую нѣкогда гордо отвергли, и которую будутъ всѣми силами возобновлять для своего спасенія.

Вотъ какой прогрессъ можно предвидѣть, если мы идемъ въ лучшему, то это лучшее состоитъ только въ нашемъ излѣченіи отъ скептицизма и мечтательности; но мы дорого заплатимъ за это излѣченіе.

Было бы великимъ дѣломъ, если бы кто нибудь научилъ насъ не ждать другаго прогресса, если бы мы могли, такъ сказать, теоретически уразумѣть то, что заставитъ насъ признать горькій опытъ. Но это невозможно; еще ни въ какое мечтательное время вѣра въ прогрессъ не была такъ сильна, какъ въ наше; это — новый богъ, которому приносятся кровавыя жертвы и и подъ торжественную колесницу котораго бросаются люди, когда думаютъ, что по ихъ раздавленнымъ тѣламъ легче и скорѣе пойдетъ движеніе колесъ. Потому что вѣдь таковъ настоящій смыслъ производимаго ими террора, убійствъ, пожаровъ, взрывовъ и всякаго тайнаго зла, какое только можно придумать. Они, анархисты, думаютъ, что чѣмъ хуже, тѣмъ лучше, что нужно способствовать прогрессу всѣми силами и всѣми средствами, что это есть лучшій подвигъ и высшее назначеніе человѣка, что за разрушеніемъ должно послѣдовать обновленіе, новая лучшая жизнь, новый періодъ человѣчества.

Просвѣщенные люди часто любятъ вспоминать инквизицію, какъ ужасный примѣръ того, до чего можетъ довести фанатическое суевѣріе; но теперь оказывается, что противники всякаго фанатизма и суевѣрія сами способны доходить до ужасовъ, равняющихся ужасамъ

инквизиціи, и доходятъ до нихъ, загораясь новымъ, такъ сказать обратнымъ фанатизмомъ, обратнымъ суевѣріемъ. Природа беретъ свое, и того, что легко отрицать на словахъ, невозможно избѣжать на дѣлѣ.

Трудно высказать всю мѣру того внутренняго противорѣчія, той вопіющей душевной путаницы, въ которой живетъ современный человѣкъ, и которая могла бы его замучить, еслибы она только сознавалась, если бы эти поклонники разума и критики не были въ сущности легкомысленны и слѣпы, какъ малыя дѣти.

Вотъ мы отвергли религію, мы съ торжествомъ и гнѣвомъ преслѣдуемъ каждое ея обнаруженіе. Но вѣдь душу, разъ пріобщившуюся этому началу, уже поворотить назадъ нельзя; мы откинули религію, но религіозности мы откинуть не могли. И вотъ, люди, видящіе всѣ идеалы въ земныхъ благахъ, стремятся къ отреченію отъ этихъ благъ, къ самоотверженію, къ подвижничеству, къ самопожертвованію. Разумные люди, реалисты, отвергнувшіе всякіе мнимые страхи и узы, умѣющіе повидимому разрѣшить очень просто всякій житейскій узелъ, вдругъ начинаютъ чувствовать потребность на что-то жаловаться, отъ чего-то сокрушаться и находить себя несчастными. Достатка, безопасности, спокойной работы, этихъ по ихъ собственному мнѣнію лучшихъ цѣлей жизни, никто не хочетъ; напротивъ, безпрестанно являются люди, которые хотятъ быть страдальцами, мучениками, и, за неимѣніемъ дѣйствительныхъ страданій, придумываютъ себѣ мнимыя, за неимѣніемъ наличныхъ бѣдъ, нарочно лѣзутъ въ бѣду, въ которую ихъ никто не тянулъ.

Отчего же это? Да очевидно отъ того, что здоровье, свобода, матеріальное обезпеченіе, работа—все это вздоръ передъ тайными требованіями ихъ души; душѣ человѣ-

ческой нужна иная пища, нуженъ идеалъ, которому можно было бы жертвовать всѣмъ, за которой бы можно было умереть. Если нѣтъ у насъ такой высшей цѣли, которой бы можно служить беззавѣтно, передъ которою ничтожна земная жизнь, то намъ, христіанамъ по воспитанію, противнѣютъ заботы о личныхъ благахъ и удобствахъ, намъ становится стыдно нашего благополучія и намъ легче чувствуется, когда мы терпимъ бѣду и обиду, чѣмъ когда насъ ничто не тревожитъ. Поэтому революціонеръ напрасно думаетъ, что его мучитъ земля мужиковъ, или ихъ тяжкія подати; все это и подобное—не столько настоящая причина, сколько предлогъ для мученія, для того душевнаго изворота, которымъ заглушается пустота души. Роль страдальца очень соблазнительна для нашей гордости; поэтому, за неимѣніемъ своихъ печалей достойныхъ этой роли, мы беремъ на себя (разумѣется мысленно) чужія страданія, и этимъ удовлетворяемся. Высокоумный революціонеръ не замѣчаетъ, какъ онъ въ сущности обижаетъ бѣдныхъ мужиковъ: имъ вѣдь онъ даетъ въ удѣлъ только матеріальныя нужды и страданія, онъ только въ этомъ отношеніи плачетъ объ нихъ; себѣ же выбираетъ долю возвышеннаго страдальца, трагически волнующагося объ общемъ благѣ. Онъ не знаетъ, несчастный, что эта мудрость самоотверженія, до которой онъ додумался и которую извратилъ, знакома этимъ мужикамъ отъ колыбели, что они ее сознательно исполняютъ на дѣлѣ всю свою жизнь, что они твердо и ясно знаютъ то высшее благо, безъ котораго никакая жизнь не имѣетъ цѣны и о которомъ безсознательно тоскуютъ просвѣщенные люди. Вокругъ насъ безконечное море этихъ мужиковъ, твердыхъ, спокойныхъ, ясныхъ, знающихъ, какъ имъ жить и какъ умирать. Не мы, а они

счастливы, хотя бы они ходили въ лохмотьяхъ и нуждались въ хлѣбѣ; не мы, а они истинно-мудры, и мы только по крайней своей глупости вообразили, что на насъ лежитъ долгъ и внушить имъ правильныя понятія о жизни, и обратить эту жизнь изъ несчастной въ счастливую.

Нельзя вообще не видѣть, что политическое честолюбіе, служеніе общему благу, заняло въ наше время то мѣсто, которое осталось пустымъ въ человѣческихъ душахъ, когда изъ нихъ исчезли религіозныя стремленія. Нашъ вѣкъ есть по преимуществу вѣкъ политическій; политика, какъ верховное начало, подчиняетъ себѣ нынѣ все: литературу, науку, искусство, и даже самую религію, насколько ея осталось. Какъ прежде для человѣка считалось высшею задачей—спасеніе его души, такъ теперь считается—обязанность чѣмъ-нибудь содѣйствовать общему благу. Быть общественнымъ дѣятелемъ—вотъ одна цѣль, достиженіе которой можетъ сколько-нибудь удовлетворить современнаго человѣка. Иначе онъ будетъ считать себя ничтожнымъ членомъ безсмысленно и безполезно живущей толпы, и не будетъ ему никакого утѣшенія въ его ничтожествѣ. Очевидно, тутъ нами движетъ не дѣйствительный интересъ, т. е. мы не потому добиваемся общаго блага, что желаемъ имъ пользоваться, что съ его развитіемъ связано и наше частное благо, а дѣйствуетъ въ насъ интересъ идеальный, т. е. мы желаемъ служить чему-нибудь, чтобы не служить одному лишь себѣ, чтобы имѣть гордое утѣшеніе, что наше собственное благо не составляетъ нашего высшаго интереса. Быть *частнымъ* человѣкомъ въ полномъ смыслѣ этого слова—никто не хочетъ, хотя всѣ хлопочутъ о благѣ именно частныхъ людей.

Понятно, какое противорѣчіе, какое жестокое безпокойство вносится въ жизнь такими стремленіями; политическое волненіе, постепенно охватывающее Европу, вносится въ нее главнымъ образомъ высшими классами, людьми не страдающими, а наиболѣе пользующимися общими благами нынѣшняго могущественнаго государственнаго устройства, но ищущими какого-нибудь исхода для пустоты своей совѣсти, чувствующими, что нельзя жить, не имѣя служенія, не подчиняясь какимъ-нибудь совершенно безкорыстнымъ требованіямъ. Существуетъ въ настоящее время огромное, никогда не бывалое на земномъ шарѣ множество достаточныхъ, или даже богатыхъ, частныхъ людей, которые не несутъ на себѣ почти никакого долга, а живутъ лишь для себя, пользуясь твердостію всячески ограждающаго ихъ государственнаго порядка. Такое положеніе не даетъ никакой пищи для совѣсти, и потому многіе изъ нихъ стараются создать себѣ долгъ и обращаютъ свою душу къ общественнымъ вопросамъ. Самые крайніе и требовательные приходятъ наконецъ къ отреченію отъ своего класса, отъ выгодъ своего положенія, —и вотъ самый чистый изъ источниковъ соціализма. Соціалистическія ученія и порождены и поддерживаюся не столько тѣми классами, интересъ которыхъ составляетъ ихъ цѣль, сколько людьми, для которыхъ этотъ интересъ сталъ идеальною потребностью. Сенъ-Симонъ былъ графъ, Оуэнъ—фабрикантъ, а Фурье—купецъ.

Что же касается до прямыхъ революціонеровъ и анархистовъ, то весь складъ ихъ жизни ясно указываетъ, чѣмъ питаютъ они свою совѣсть. Ихъ нравственный разрывъ съ обществомъ, съ грѣховнымъ міромъ, жизнь отщепенцевъ, тайныя сходки, связи, основанныя на от-

влеченныхъ чувствахъ и началахъ, опасность и перспектива самопожертвованія,—все это черты, въ которыхъ можетъ искать себѣ удовлетворенія извращенное религіозное чувство. Какъ видно, легче человѣку поклониться злу, чемъ остаться вовсе безъ предмета поклоненія.

Но какая глубокая разница между настоящею религіею и тѣмъ суррогатомъ религіи, который въ различныхъ формахъ все больше и больше овладѣваетъ теперь европейскими людьми! Человѣкъ, ищущій спасенія души, выше всего ставитъ чистоту души и потому избѣгаетъ всего дурнаго. Человѣкъ же, поставившій себѣ цѣль внѣ себя, желающій достигнуть опредѣленнаго внѣшняго, объективнаго результата, долженъ рано или поздно прійти къ мысли, что цѣль освящаетъ средства, что нужно жертвовать даже совѣстію, если того непремѣнно требуетъ дѣло. Политическая дѣятельность, если мы возьмемъ всѣ ея виды, даетъ и вообще большой просторъ страстямъ человѣка; тутъ есть мѣсто и для вражды, и для честолюбія и для гордости. Но кромѣ того, въ этой дѣятельности есть, очевидно, неудержимый наклонъ ко лжи и къ преступленію. Это поприще такъ скользко въ этомъ отношеніи, что люди осторожные боятся выходить на него, и что на немъ охотнѣе подвизаются тѣ, кто болѣе развязенъ. *Журналистъ* и *политикъ* сдѣлались почти синонимами *обманщика*, и ни за какого революціонера нельзя ручаться, что изъ него не выйдетъ преступникъ.

Тутъ есть своя послѣдовательность, своя логика. Если даже въ религіозной сферѣ могло возникнуть ученіе, что грѣхи нужны, чтобы возможно было покаяніе, то въ политической сферѣ, какъ скоро она поставила себя выше всѣхъ другихъ сферъ человѣческой жизни, ничто не мог-

ло препятствовать выводу, что успѣхъ все оправдываетъ, что для него, какъ для высшаго блага, всѣ средства позволительны. Поэтому совѣсть Европы не находитъ въ себѣ основъ для причисленія политическихъ преступленій къ настоящимъ преступленіямъ, и злодѣевъ этого рода не умѣетъ отличить отъ героевъ.

Таковы нѣкоторыя черты нравственнаго состоянія нашего вѣка. Онъ представляетъ чрезвычайно странное явленіе душевнаго разлада; жизненныхъ силъ въ немъ больше чѣмъ когда-нибудь, но онъ потерялъ реальное поприще для ихъ удовлетворенія и бросается на фальшь, на призраки. Потребность дѣйствовать и жертвовать въ немъ иногда даже сильнѣе, чѣмъ потребность вѣрить, и потому онъ жертвуетъ даже тому, во что почти не вѣритъ. Дѣятельность кипитъ, безъ ясныхъ цѣлей, безъ опредѣленныхъ идеаловъ; онъ обманываетъ самъ себя, чтобы только дать просторъ своимъ страстямъ, но изъ мнимо-добрыхъ стремленій выходитъ зло, и будетъ выходить все больше и больше, пока цѣлый рядъ бѣдствій не заставитъ людей опомниться и прекратить наконецъ эту недостойную игру. Рано или поздно люди принуждены будутъ вернуться къ реальнымъ началамъ человѣческой жизни, забытымъ и глохнущимъ среди нашего прогресса и просвѣщенія.

18-го апр.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Истинное просвѣщеніе.— Прогрессъ. — Современная нравственность.—Добродѣтели временъ упадка.—Растравленіе эгоизма.— *Блаженны нищіе.* — Ненависть. — Проповѣдь борьбы. — Слова В. Гюго.

Конечно, мы достигли бы наилучшаго успѣха въ нашемъ просвѣщеніи, если бы у насъ изъ всѣхъ учебныхъ заведеній юноши выходили съ твердымъ сознаніемъ, что они еще большіе невѣжды, что имъ нужно еще много и долго трудиться, чтобы достигнуть степени истинно-просвѣщеннаго человѣка, и что большинству изъ нихъ вовсе не суждено достигнуть этой степени. Тогда можно было бы сказать, что этихъ юношей основательно учили, и что они правильно понимаютъ, что они такое въ дѣйствительности.

Точно также, было бы благотворнѣйшею перемѣною въ умахъ, если бы наши молодые и зрѣлые люди стали питать убѣжденіе, что прогрессъ есть большею частію предразсудокъ; что если въ человѣчествѣ и совершается нѣкоторый существенный прогрессъ, то по своей медленности онъ не можетъ быть ясно опредѣленъ, и иногда даже не можетъ быть замѣченъ, что всяческое зло, физическое, нравственное, историческое, принимаетъ только различныя формы, но свирѣпствуетъ въ насъ и всюду вокругъ насъ такъ же, какъ и прежде, что мы не можемъ даже рѣшить, идемъ ли мы къ лучшему впереди,

или насъ ожидаетъ въ будущемъ эпоха паденія, болѣзни, разложенія.

При такихъ мысляхъ, люди не питали бы высокаго мнѣнія о себѣ и о своемъ вѣкѣ, перестали бы смотрѣть сомнительно и надменно на наслѣдіе, завѣщанное намъ прошедшимъ, не стали бы ждать какихъ-то новыхъ чудесъ отъ будущаго, и слѣдовательно чувствовали бы только одинъ долгъ — всѣми силами держаться давнишняго пути добра и истины, не принимая нисколько въ разсчетъ прогресса и зная, что безчисленныя усилія безчисленныхъ поколѣній будутъ истощаться въ той же борьбѣ добра и зла, свѣта и тьмы, среди который живемъ и мы.

Das Rechte, das Gute führt ewig Streit,
Nie wird ihm der Feind erliegen, *)

какъ говоритъ Шиллеръ. Душевная работа должна быть сосредоточена на настоящемъ; тутъ ея главная награда и ея главное достоинство; изъ-за мечтаній о будущемъ, изъ-за стремленія работать для новой эпохи человѣчества, мы не должны ни на минуту забывать свой долгъ, а еще меньше измѣнять ему сознательно.

Какъ всѣмъ извѣстно, обыкновенныя наши настроенія имѣютъ совершенно обратное направленіе. Молодые люди у насъ заражаются большимъ высокомѣріемъ, считаютъ себя обладателями какихъ-то удивительно свѣтлыхъ понятій и смотрятъ презрительно на невѣжественную массу. И не они въ этомъ виноваты; таковъ складъ просвѣщенія нашего времени. Нашъ вѣкъ очень гордится своими познаніями, готовъ видѣть въ нихъ новую, еще небыва-

*) Правда и добро ведутъ вѣчную борьбу; никогда враждебное имъ не оскудѣетъ.

лую мудрость и распространяетъ ее всѣми способами. Онъ помѣшанъ на популяризаціи знаній, на сообщеніи готовыхъ результатовъ, послѣднихъ словъ науки; онъ придумываетъ всякіе облегченные и упрощенные способы обученія, какъ будто трудъ мысли, серіозная работа ума есть злѣвреднѣйшая вещь въ мірѣ, какъ будто вся задача образованія—приготовить какъ можно больше легкомысленныхъ болтуновъ, твердящихъ самыя модныя научныя слова, но совершенно чуждыхъ настоящаго научнаго духа. Въ своей гордости и жаждѣ поучать нашъ вѣкъ не замѣчаетъ, что у него все больше и больше исчезаетъ идея истиннаго просвѣщенія, котораго требованія гораздо серьезнѣе и глубже, чѣмъ нынѣшняя популярная мудрость.

Что касается прогресса, то дѣло стоитъ еще несравненно рѣшительнѣе. Современный человѣкъ полагаетъ, что живетъ какъ-будто на какомъ-то рубежѣ, на точкѣ поворота. Онъ видитъ во всемірной исторіи собственно только два періода: до настоящей минуты идетъ сплошной періодъ мрака и зла, а съ нашего времени, или вскорѣ послѣ него, долженъ наступить сплошной періодъ свѣта и добра. Такой чудесной перемѣны современные люди ждутъ не даромъ: они, видите-ли, убѣждены не только въ своемъ неслыханномъ просвѣщеніи, но и въ томъ, что они необычайно высоко поднялись въ своихъ нравственныхъ понятіяхъ, что они нашли наконецъ точное разграниченіе справедливаго и несправедливаго, добра и зла. Нравственные мотивы, какъ всегда, важнѣе всѣхъ другихъ въ жизни людей; поэтому, именно гордость своими нравственными понятіями побуждаетъ современныхъ людей твердо вѣрить, что въ настоящее время, какъ мнѣ случилось прочесть въ одномъ журналѣ, совершается

„побѣдоносное шествіе всего человѣчества по пути добра, правды и свободы“.

Счастливые люди! Представьте только, въ какомъ пышномъ видѣ должна имъ воображаться эта процессія! И какъ легко жить на свѣтѣ, когда человѣкъ знаетъ, что въ сущности дѣло идетъ прекрасно, что этому дѣлу нужно только помогать, а можно вѣдь обойтись и безъ помоганья!

Эти гордыя притязанія, это наивное самодовольство составляютъ однако же жестокую ошибку, жестокій предразсудокъ, тѣмъ болѣе странный и даже возмутительный, что каждый изъ насъ, уже въ силу своего христіанскаго воспитанія, долженъ бы былъ глубоко чувствовать свое нравственное несовершенство. Современное нравственное состояніе людей должно бы намъ являться темнымъ и низменнымъ въ сравненіи съ тѣмъ высокимъ идеаломъ добра, чистаго подвига, сіяющей душевной красоты, который внушается намъ повидимому съ дѣтства. Вѣроятно человѣчество глубоко извратилось, если оно уже не видитъ этого идеала, уже смотритъ на его проповѣдь какъ на пустыя слова и фразы; только потому оно и можетъ имѣть дерзость гордиться какимъ-то новымъ пониманіемъ человѣческихъ обязанностей.

Въ чемъ состоятъ пресловутыя современныя добродѣтели? Гуманность, состраданіе, снисходительность, вѣжливость, терпимость,—всѣ добродѣтели временъ упадка и эпохъ разложенія составляютъ главную принадлежность современнаго душевнаго благородства. При этомъ вовсе забывается, что эти качества, безъ сомнѣнія очень хорошія, никакъ не имѣютъ абсолютной цѣны, и что ихъ необходимо дополнять другими качествами, несравненно высшаго достоинства. Что значитъ, напримѣръ, религі-

озная терпимость? Одинъ терпимъ потому, что пламенно вѣритъ въ свою религію, что надѣется на всепобѣдную силу этой своей истины и не можетъ видѣть въ насиліи средства для духовнаго дѣла. А другой терпимъ потому, что для него всѣ религіи вздоръ, и онъ готовъ предоставить каждому заниматься какимъ ему угодно изъ этихъ вздоровъ. Только первый есть настоящій сторонникъ терпимости; у него есть для нея основаніе; у втораго же терпимость фальшивая и сейчасъ же исчезнетъ, какъ скоро дѣло дойдетъ до серьезнаго, до того, чего онъ не считаетъ вздоромъ.

Точно такъ, снисхожденіе и прощеніе чужихъ слабостей вовсе не должны быть основаны на признаніи порока за пустяки, а напротивъ должны сопровождаться отвращеніемъ къ пороку и движеніемъ любви къ несчастному ближнему. Иначе мы будемъ походить на воровъ и распутниковъ, которые вѣдь всегда снисходительны къ другимъ ворамъ и распутникамъ.

Вообще, требуется усердное служеніе нѣкоторымъ положительнымъ идеаламъ, ясныя требованія опредѣленнаго строенія человѣческой жизни, и затѣмъ уже мы можемъ свободно сострадать людямъ, сносить ихъ недостатки, потому что знаемъ, во имя чего это дѣлаемъ, и, мирясь съ людьми, никогда не помиримся съ пороками. Въ настоящее же время, мы сильны только въ отрицательныхъ добродѣтеляхъ; всякіе *нравы*, которые очень дороги даже когда очень несовершенны, между нами разрушаются; мы направляемъ всѣ усилія только къ тому, чтобы какъ можно меньше мѣшать другъ другу; идеалъ общества какъ будто состоитъ въ томъ, чтобы страстямъ каждаго дать возможно-большій просторъ, чтобы величайшій негодяй, не знающій ни стыда ни со-

вѣсти, но не нарушающій юридическаго закона, могъ бы считать себя вполнѣ правымъ членомъ общества.

Интересъ каждаго частнаго лица, *независимость* его дѣйствій—вотъ главныя темы нашей проповѣди; мы всѣми способами растравляемъ эгоизмъ въ сердцахъ людей, какъ будто онъ недостаточно сильно заложенъ въ нихъ природою. Мы не видимъ, какое отсюда должно произойти послѣдствіе. Эти люди будутъ прекрасно практиковать всѣ наши любимыя добродѣтели, взаимную гуманность, состраданіе, снисходительность, вѣжливость, терпимость, но будутъ ихъ практиковать только до тѣхъ поръ, пока все спокойно, пока не затронуты ихъ интересы, пока ихъ страсти не разгорѣлись дальше извѣстной границы. Когда же это случится, то они, не имѣя въ душѣ никакого положительнаго балласта, тотчасъ потеряютъ равновѣсіе, обратятся къ свѣту другою стороною и явятся такими нетерпимыми, жестокими, кровожадными, неумолимыми, какъ никогда еще и не бывали люди. Такъ ихъ воспитываетъ нашъ вѣкъ, и онъ рано или поздно пожнетъ плоды этого воспитанія.

Странно видѣть, напримѣръ, что проповѣдуется всякая терпимость и безобидность, но что никто не проповѣдуетъ *безкорыстія*. Напротивъ, нашъ вѣкъ готовъ возвести въ принципъ, что благополучіе человѣка опредѣляется его имуществомъ, числомъ рублей въ его карманѣ, что равноправность въ сущности должна совпадать съ равенствомъ имуществъ, или, по крайней мѣрѣ, что высшая справедливость состояла бы въ надѣленіи каждаго числомъ рублей, пропорціональнымъ его достоинствамъ и заслугамъ. *Блаженны нищіе*, сказано въ одной книгѣ; эти слова стали въ настоящее время совершенно непонятными, а многимъ покажутся чуть ли не безнрав-

ственными. Однако же несомнѣнно, что нельзя быть спокойнымъ и довольнымъ тому, кто непремѣнно требовалъ бы себѣ имущества, соотвѣтственнаго своимъ заслугамъ и достоинствамъ, или не могъ бы вынести зрѣлища чужаго случайнаго богатства. Но мы, проповѣдуя нашу гуманность, преспокойно разрѣшаемъ людямъ своекорыстіе и зависть, и не замѣчаемъ, что наша односторонняя проповѣдь не устраняетъ дурныхъ настроеній, и потому не содержитъ никакихъ задатковъ спокойствія и благополучія.

Такъ и во всѣхъ ходячихъ правилахъ нравственности есть подобный же пропускъ, есть тайно подразумѣваемое разрѣшеніе на чувства и стремленія вполнѣ безнравственные. Современная нравственность представляетъ сплошь нѣкоторую сдѣлку съ человѣческими страстями; она всѣмъ имъ даетъ выходы и поприще, только обставляя ихъ различными условіями, и наивно воображая, что страсти, развивающіяся и созрѣвающія при этомъ покровительствѣ, не сбросятъ когда-нибудь этихъ условій и не пойдутъ по своимъ собственнымъ законамъ. Въ сущности, наша жизнь держится пока старою нравственностію, безсознательно живущею въ душахъ; поэтому, въ жизни частныхъ людей еще много хорошаго, много добрыхъ нравовъ; но тамъ, гдѣ дѣло становится сознательнымъ, въ публичной жизни, въ литературѣ, отражающей въ себѣ сознательный смыслъ понятій общества, наша нравственность обнаруживается въ такихъ чертахъ, которыя, съ совершенно строгой точки зрѣнія, нужно признать отвратительными.

Мы не говоримъ о безпрерывной клеветѣ, лжи, тщеславіи и т. п. Эти явленія даже и нынѣ все еще не прощаются, по крайней мѣрѣ не проходятъ вовсе

незамѣченными. Но есть другія, которыя обыкновенно не замѣчаются. Въ любомъ ежедневномъ листкѣ вы встрѣтите, подъ всегдашнимъ предлогомъ радѣнія объ общемъ благѣ, всѣ черты не только совершенной холодности и бездушія, но и прямаго недоброжелательства, злорадства, ядовитой ненависти. Въ такомъ неприличномъ видѣ казалось бы совѣстно людямъ и являться въ публику; но писатели знаютъ своихъ читателей, знаютъ что этимъ именно они заслужатъ общее одобреніе, что читатели будутъ въ восхищеніи, вычитавъ въ газетѣ такое отчетливое и яркое выраженіе своихъ собственныхъ чувствъ. Въ этой презрѣнной игрѣ особенно выступаетъ на видъ та игра въ *ненависть*, которая составляетъ едва ли не самый серіозный элементъ періодической литературы. Нашъ вѣкъ, кажется, такъ богатъ ненавистью, какъ никакой другой. Всякій общественный интересъ, всякій предметъ публичныхъ обсужденій обращенъ въ наши дни въ поводъ къ ненависти. Напримѣръ, чувство національности, это высокое и сладкое чувство, не имѣетъ характера любви, составляющаго его сущность, а обращено почти исключительно въ поводъ раздора и злобы. Въ прошломъ вѣкѣ, и еще въ началѣ нынѣшняго, инородецъ могъ безъ всякаго неудобства жить въ чужомъ по племени государствѣ, зная, что надъ различіемъ по національности стоятъ другіе высшіе принципы, заправляющіе сожительствомъ людей. А нынѣ скоро дѣло дойдетъ до того, что человѣкъ одного племени будетъ считать своими прирожденными врагами всѣхъ людей другихъ племенъ. Мы, Русскіе, кажется еще не утратили нашей извѣстной терпимости къ инородцамъ, но мы невольно заражаемся тѣмъ нарушеніемъ спокойнаго настроенія, признаки котораго

появляются у нашихъ инородцевъ. И тутъ, какъ и во всѣхъ другихъ областяхъ, нашъ вѣкъ проповѣдуетъ не гармоническое воздѣйствіе, не мирное соревнованіе, а прямо *борьбу*, и лучшею, плодотворнѣйшею считается борьба кровавая, битва на смерть. Тысячи газетъ десятки лѣтъ ежедневно подстрекаютъ ненависть своихъ читателей по тому или другому вопросу, и нужно признать въ людяхъ большой запасъ доброты, видя, что эти подстрекательства такъ долго не приводятъ ихъ къ кровавой раздѣлкѣ между собою. Впрочемъ, можетъ быть не долго ждать, когда, напримѣръ Франція и Германія вооружатъ, по нынѣшней системѣ военной службы, всѣхъ, кто способенъ носить оружіе, и пойдутъ не войною, а *нашествіемъ* другъ на друга. Можно указать и на другія, очень вѣроятныя нашествія.

Таковъ нашъ вѣкъ. Викторъ Гюго сказалъ по этому поводу одно изъ своихъ блистательныхъ словъ, которое кстати здѣсь привести. Въ 1878 году онъ открывалъ своею рѣчью *Международный литературный конгрессъ* и въ концѣ рѣчи выразился такъ:

„Господа, мы здѣсь среди философовъ, воспользуемся „случаемъ, не будемъ стѣсняться, станемъ говорить исти„ны. Вотъ вамъ одна истина, страшная истина. У чело„вѣчества есть болѣзнь, ненависть. Ненависть — мать „войны: мать гнусна, дочь ужасна“.

„Воздадимъ же имъ ударъ за ударъ. Ненависть къ не„нависти! Война противъ войны!“

„Знаете ли вы, что такое это слово Христа: *любите „другъ друга*? Это—всеобщее разоруженіе. Это—исцѣленіе „рода человѣческаго. Истинное искупленіе—есть именно „это. Любите. Легче обезоружить своего врага, протянувъ „ему руку, чѣмъ показавъ кулакъ. Этотъ совѣтъ Іисуса

„есть повѣленіе Бога. Онъ хорошъ. Мы его принимаемъ. „Что касается до насъ, мы—на сторонѣ Христа. Писа„тель на сторонѣ апостола; тотъ, кто мыслитъ на сто„ронѣ того, кто любитъ".

Послѣ нѣсколькихъ подобныхъ соображеній и восклицаній (мы не станемъ дѣлать замѣчаній, на которыя они напрашиваются), Гюго въ заключеніе сказалъ:

„Господа, одинъ Римлянинъ прославился неподвижною „идеею: онъ говорилъ: разрушимъ Карѳагенъ. У меня „тоже есть мысль, которою я одержимъ, именно вотъ „какая: разрушимъ ненависть! Если человѣческія писанія „имѣютъ какую-нибудь цѣль, то именно эту *)".

Такъ провозглашалъ Гюго во всеуслышаніе свѣта, передъ собраніемъ писателей, съѣхавшихся со всѣхъ концовъ земли. Слова его замѣчательны потому, что онъ человѣкъ въ высшей степени передовой и прогрессивный; онъ могъ бы остановиться на многихъ предметахъ достойныхъ обличенія; но онъ, очевидно, нашелъ, что ненависть составляетъ самое явное и жестокое зло во всемірной литературѣ, а слѣдовательно и въ нравственномъ настроеніи образованнаго міра.

Само собою разумѣется, что мысль его, какъ слишкомъ далекая отъ господствующихъ понятій, не могла найти и не нашла никакого отзыва. **)

30 Апр. 1881.

---

*) *Victor Hugo*. Discours d'ouverture du congrès littéraire international. Paris, 1878, p. 13, 15.

**) Въ концѣ книги есть *добавленіе* къ этой страницѣ.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

ГЕРЦЕНЪ О ПАРИЖѢ.

По случаю всемірной выставки (1867 г.) французы составили препухлую и пребезобразную книгу, подъ названіемъ „Paris Guide". Два тома, тысячи по двѣ страницъ. Тутъ много диковинокъ, въ родѣ того, что французскіе крестьяне отнесены въ отдѣлъ *иностранцевъ*, или того, что *психологія есть кокетство души, разсматривающей самое себя.* Но всего интереснѣе для насъ статья Герцена подъ названіемъ: *Русская колонія.* Читатели, вѣроятно, знаютъ объ этой статьѣ изъ нѣкоторыхъ отзывовъ; но эти отзывы, внушенные чувствомъ щекотливости, весьма понятнымъ и весьма законнымъ въ своемъ источникѣ, намъ показались невполнѣ справедливыми. Намъ показалось— не любопытное ли дѣло? — что статья Герцена внушена на сей разъ весьма хорошими сердечными движеніями, что въ ней слышна, напримѣръ, злость на приглашеніе писать о русскихъ, сдѣланное въ явномъ расчетѣ на его враждебность къ Россіи, что въ силу этой злости, онъ, въ остроумнѣйшей замаскировкѣ, вставилъ въ свою статью нѣсколько самыхъ жестокихъ шпилекъ и Франціи, и Парижу, и даже полякамъ. Кромѣ того,

статья такъ интересна по своему содержанію, именно— такъ хорошо характеризуетъ разные фазисы нашего умственнаго отношенія къ Европѣ, что достойна нетолько чтенія, но и запоминанія. Мы переведемъ ее вполнѣ.

Предметъ, или лучше сказать, предлогъ статьи такой: Герценъ отказывается писать; но посмотрите, какъ много сказано подъ этой *фигурой умолчанія:*

„Любезный другъ, вы меня берете за воротъ очень „безцеремонно, какъ жандармъ... Я—нагорно прозябаю въ „Швейцаріи, ничего дурнаго у меня нѣтъ на умѣ, и вдругъ „вы меня останавливаете: ваши бумаги, милостивый го„сударь?—Какія бумаги?—Эскизы, очерки карандашомъ, „углемъ, перомъ. — Очерки чего?—Да *русскихъ въ Па„рижѣ...*

„Но, любезный другъ, вы все забыли, за исключеніемъ „меня самого. О чемъ же это вы думаете? Я не знаю „ни современныхъ русскихъ, ни перестроеннаго Парижа. „У меня есть только воспоминанія, засохшіе цвѣты, ри„сунки, на половину стершіеся, на половину лишенные „интереса.

„Знаете ли вы, что вотъ уже *двадцать лѣтъ*, какъ „я, благочестивый пилигримъ Сѣвера, въ первый разъ „входилъ въ Парижъ, и что вотъ уже *пятнадцать лѣтъ*, „какъ его климатъ сталъ для меня вреденъ?

„Да, это было въ мартѣ 1847 года; я открылъ старое „и тяжелое окно отеля du Rhin и вздрогнулъ: передо „мною, на колоннѣ былъ бронзовый человѣкъ

Подъ шляпой съ пасмурнымъ челомъ,
Съ руками сжатыми крестомъ.

„Такъ это правда, это дѣйствительность — я въ Па„рижѣ — въ Парижѣ! И вся кровь бросилась мнѣ въ „голову.

„Существуетъ чувство, которое незнакомо парижскимъ „аборигенамъ, имъ, испытавшимъ все до утомленія, то „чувство, которое мы испытывали, вступая въ первый „разъ въ Парижъ. Съ самаго дѣтства, Парижъ былъ для „насъ нашимъ Іерусалимомъ, великимъ городомъ рево„люціи, Парижемъ же-де-пома, 89 года, 93 года.

„Берлинъ, Кельнъ, Брюссель—недурно ихъ посмотрѣть, „но можно обойтись и безъ этого. Но какъ только мы „были въ Парижѣ, мы чувствовали, что пріѣхали, и спо„койно принимались развязывать чемоданы. Дальше уже „ничего не было. Даже Лондона не знали въ эти бла„женныя времена. Лондонъ былъ открытъ только со вре„мени выставки 1852 года".

Таково было наше отношеніе къ Парижу и Франціи въ сороковыхъ годахъ, во время наибольшей силы западничества; это было поклоненіе, доходившее до благоговѣнія и до полнаго уничиженія самихъ себя. Авторъ нарочно выставляетъ дѣло со всею рѣзкостію, для того, чтобы показать, что нынѣ Парижъ уже утратилъ свое обаяніе и, конечно, утратилъ по собственной винѣ. Разумѣется только, что въ книгѣ, назначенной для прославленія Парижа, подобную мысль нужно было выразить осторожно.

„Съ тѣхъ поръ"—продолжаетъ онъ—„какъ Парижъ „сталъ всемірнымъ городомъ, въ немъ меньше Франціи, „*меньше Парижа*. Отношенія измѣнились. Онъ сталъ ве„ликимъ вселенскимъ трактиромъ, караван-сараемъ всей „Европы и двухъ-трехъ Америкъ, и его собственная ин„дивидуальность распустилась, потерялась въ этой ино„земной толпѣ, которой онъ изъ вѣжливости даетъ дорогу; „а та беретъ ее.

„Союзники, расположась въ 1814 году биваками на

„Площади Революціи, очень хорошо знали, что они были „въ чужомъ городѣ. Напротивъ, великая армія туристовъ, „завоеватели желѣзныхъ дорогъ убѣждены, что Парижъ „имъ принадлежитъ, какъ вагонъ, какъ каюта; они ду„маютъ, что они ему необходимы, что именно для нихъ „онъ наряжается въ новые кирпичи, разрушаетъ свои „историческія стѣны и изглаживаетъ свою исторію.

То есть, прибавимъ, ту самую исторію, передъ которою мы такъ благоговѣли. Затѣмъ авторъ переходитъ въ частности къ русскимъ:

„Теперь, проходя по Парижу, я не узнаю своихъ „русскихъ; они гуляютъ съ надмѣнной рѣчью на губахъ, „съ поднятой головою, какъ будто они гдѣ-нибудь въ Ка„зани или Рязани; они распространяютъ атмосферу рус„ской кожи и турецкаго табака, запахъ Сибири и Татаріи, „едва-едва заглушаемый тяжелымъ и наркотическимъ ту„маномъ Германіи, который, въ свою очередь, наполнилъ „Парижъ. И въ концѣ концовъ, ихъ нельзя не извинить „этихъ бравыхъ *туранцевъ*; все имъ напоминаетъ ихъ лю„безное отечество: самовары, икра, вывѣски кирилловскими „буквами, возвѣщающія французамъ достоинство китай„скаго чая“.

Ясно, что Герценъ имѣетъ въ виду что-то другое, не одну икру да чай. Въ чемъ тутъ дѣло, почему русскіе чувствуютъ себя такъ самоувѣренно и спокойно, *несмотря на то*, что французы считаютъ ихъ нынче туранцами—это сейчасъ будетъ видно изъ противоположности съ прежнимъ временемъ.

„Ничего подобнаго“—говоритъ авторъ—„въ мое время, „въ 1847 году, не было. Парижъ былъ исключителенъ, „одноязыченъ, нѣсколько гордъ, тѣмъ болѣе, что къ концу „года у него начиналась лихорадка. За то нужно было

„видѣть почтеніе, благоговѣніе, низкопоклонство, удив-„леніе молодыхъ русскихъ, пріѣзжавшихъ въ Парижъ. „Вельможи, которые нисколько не стѣснялись въ Германіи, „этой передней Парижа, какъ только переступали за черту „города, начинали говорить *вы* своимъ лакеямъ, которыхъ „колотили въ Москвѣ. На другой день, неприступные бо-„яре, наглецы, грубіяны, совершали свое поклоненіе вол-„хвовъ, ухаживали за всѣми знаменитостями, все-равно „какого рода и какого пола, начиная отъ Дезирабода, „зубного врача, до Ма-па, пророка".

За тѣмъ, Герценъ переходитъ къ болѣе общей характеристикѣ тогдашнихъ отношеній, и язвительно смѣется надъ тогдашнимъ идолопоклонствомъ русскихъ.

„Самые ничтожные лаццарони литературной Кьяйа, вся-„кій фельетонный ветошникъ, всякій журнальный кропа-„тель внушалъ имъ уваженіе, и они спѣшили предло-„жить ему даже въ десять часовъ утра — редерера или „вдовы Клико, и были счастливы, если онъ принималъ при-„глашеніе.

„Бѣдняги, они были жалки въ своей маніи удивле-„нія. Дома имъ нечего было уважать, кромѣ грубой силы „и ея внѣшнихъ знаковъ, чиновъ и орденовъ. Поэтому „молодой русскій, какъ только переходилъ границу, былъ „поражаемъ острымъ идолопоклонствомъ. Онъ впадалъ въ „экстазъ передъ всѣми людьми и всѣми вещами, передъ „швейцарами и философіею Гегеля, передъ картинами „берлинскаго музея, передъ Штраусомъ-богословомъ и „Штраусомъ-музыкантомъ. Шишка почтенія росла все „больше и больше до самаго Парижа. Поиски за зна-„менитостями составляли муку нашихъ Анахарсисовъ; „человѣкъ, говорившій съ Пьеромъ Леру или съ Бальзакомъ, „съ Викторомъ Гюго или съ Евгеніемъ Сю, чувствовалъ

„что онъ уже не равенъ себѣ равнымъ. Я зналъ одного „достойнаго профессора, который провелъ разъ вечеръ у „Жоржа-Занда; этотъ вечеръ, подобно какому-то геологическому перевороту, раздѣлилъ его существованіе на „двѣ части; это была кульминаціонная точка его жизни, „неприкосновенный капиталъ его воспоминаній, которымъ „завершалась вся его прошлая жизнь, и отъ котораго „брала источникъ настоящая.

„Счастливыя времена этой наивной религіи, этого Не„roworship (поклоненія героямъ) и великаго города!

„Русскій въ эти времена не просто жилъ въ Парижѣ: „на ряду съ положительнымъ удовольствіемъ, онъ имѣлъ „отчетливое чувство, глубокое сознаніе того, что онъ въ „Парижѣ, чувство нравственнаго благосостоянія, заставлявшее его каждое утро благодарить всеблагаго Бога и „добрыхъ крестьянъ, исправно платившихъ свои оброки".

И такъ, эта наивная религія миновала; мы уже не страдаемъ лишнимъ развитіемъ шишки почтенія и припадками остраго идолопоклонства. Какъ это утѣшительно! Мы уже замѣтили, что эту перемѣну авторъ, очевидно, ставитъ въ укоръ Парижу, въ укоръ самимъ французамъ. Изъ послѣднихъ, приведенныхъ нами словъ, прямо слѣдуетъ, что теперь въ Парижѣ русскій вовсе не чувствуетъ того *нравственнаго благосостоянія*, которое чувствовалъ когда-то. Но есть и другая причина: сами русскіе перемѣнились; у нихъ, напримѣръ, совершилось освобожденіе крестьянъ; поэтому Герценъ иронически грустнымъ тономъ продолжаетъ:

„Все перемѣнилось съ тѣхъ поръ... даже расходы: „русскій сталъ скупцомъ, скрягою; послѣ эманципаціи „явилась ариѳметика".

Освобожденіе крестьянъ въ Россіи наводитъ автора

на мысль объ освобожденіи крестьянъ въ Польшѣ и о томъ страшномъ угнетеніи, въ которомъ они нѣкогда находились, и онъ удвоиваетъ свою иронію.

„И вотъ мнѣ приходитъ на умъ, что было время еще „болѣе отдаленное и еще болѣе прекрасное, чѣмъ наше „время 1847 года. Я съ горестію вижу, что славянскій „міръ вырождается, мельчаетъ и становится, по выраже„нію мадамъ Фигаро, такимъ, какъ цѣлый свѣтъ.

„Вотъ доказательство. Я беру свой примѣръ у Польши. „(Ахъ, еслибы русскіе вообще брали у Польши одни лишь „примѣры!)

„Знаете ли вы исторію пріѣзда Радзивила? Вѣроятно, „нѣтъ. Ну такъ вотъ что̀ случилось во времена регент„ства. Князь Радзивилъ, самый колоссальный, самый ди„кій, самый грандіозный и великолѣпный типъ польскихъ „магнатовъ, поссорившись съ польскимъ королемъ, кото„рый былъ вдвое его бѣднѣе, рѣшился на нѣсколько лѣтъ „удалиться изъ Польши. Онъ выбралъ, само собою разу„мѣется, Парижъ мѣстомъ своего изгнанія и, чтобы ско„рѣе доѣхать въ него, употребилъ довольно странный „способъ: онъ приказалъ купить столько домовъ, сколько „было станцій (князь ѣздилъ на собственныхъ лошадяхъ, „на сотнѣ, можетъ быть на двухъ). Онъ рѣшился при„нять такую экономическую мѣру потому, что онъ не „привыкъ спать подъ чужою кровлею. Какъ бы то ни „было, дома были куплены, подставы приготовлены, Рад„зивилъ пріѣзжаетъ въ Парижъ. Тутъ—большая дружба „съ регентомъ. Герцогъ Орлеанскій не могъ до сыта на„смотрѣться, какъ Радзивилъ поглощалъ непомѣрныя ко„личества венгерскаго, а на смѣну, ради отдыха и успо„коенія, водку стаканами. Регентъ страстно любилъ смо„трѣть, какъ онъ играетъ въ карты; Радзивилъ проигры-

„валъ огромныя суммы, нимало не задумываясь, и съ пол-„нымъ хладнокровіемъ приказывалъ двумъ гигантамъ „гайдукамъ принести мѣшки съ золотомъ.

„Словомъ, изношенный регентъ и непочатой князь не „могли обойтись одинъ безъ другаго. Когда Радзивилъ не „являлся, регентъ посылалъ къ нему гонца за гонцомъ. „Но однажды случилось, что не регенту, а князю Радзи-„вилу нужно было написать къ своему другу. Онъ на-„писалъ, сложилъ письмо, и позвалъ одного изъ каза-„ковъ своей свиты.

„— Знаешь ты, спрашиваетъ онъ, гдѣ живетъ ре-„гентъ?

„— Нѣтъ, князь.

„— Ты знаешь Пале-Рояль?

„— Нѣтъ, князь.

„— Ну, все равно, ты спросишь, каждый тебѣ по-„кажетъ; да притомъ это въ двухъ шагахъ.

„Казакъ воротился печальный: онъ не могъ найти „Пале-Рояля.

„Князь велитъ его позвать:

„— Смотри, бестія, въ это окно: видишь этотъ боль-„шой домъ?

„— Вижу, князь.

„— Въ немъ и живетъ регентъ; онъ тутъ какъ у „насъ король, понимаешь, и это его дворецъ. Ну, скорѣй!

„Казакъ, какъ только выходилъ изъ дому, терялъ Пале-„Рояль. Онъ вернулся, не нашедши регента, въ такомъ „отчаяніи, что сдѣлалъ нѣкоторыя приготовленія повѣ-„ситься. Князь былъ въ хорошемъ расположеніи духа. „Онъ велѣлъ позвать своего управителя и приказалъ ему „купить *нѣсколько домовъ* и устроить проходъ между сво-„имъ домомъ и Пале-Роялемъ. Когда проходъ былъ го-

„товъ, князь въ большомъ удовольствіи воскликнулъ: „теперь эта бестія казакъ съумѣетъ найти дорогу къ „Пале-Роялю!

„*Tempi passati!*—И, что̀ чрезвычайно странно, кресть„яне ни мало объ нихъ не сожалѣютъ. О! эти славян„скіе крестьяне—такіе матеріалисты!“

Таковы воспоминанія о Польшѣ и объ ея дружественныхъ отношеніяхъ съ Франціею. Непоздоровится отъ этакихъ похвалъ *прекраснымъ* временамъ! Тѣнь Польши прошлаго столѣтія вызвана, очевидно, только затѣмъ, чтобы высказать въ глаза французамъ и полякамъ нравоученіе, что крестьяне не жалѣютъ объ этой пресловутой республикѣ, что они теперь довольнѣе, чѣмъ когда-либо. Да, все перемѣнилось; авторитетъ Франціи, авторитетъ Польши — потеряли всякую силу для русскихъ; вотъ смыслъ статьи Герцена.

Мы не опустили изъ нея ни единаго слова.

1867.

МИЛЛЬ ВЪ СВОЕЙ АВТОБІОГРАФІИ *).

Эта книга составляетъ не столько автобіографію, сколько пространное предисловіе ко всѣмъ сочиненіямъ Милля, взятымъ въ совокупности. Тутъ разсказана исторія убѣжденій автора, обстоятельствъ и вліяній, при которыхъ написана каждая его книга. Но все это разсказано отвлеченно, такъ, какъ обыкновенно дѣлается въ ученыхъ предисловіяхъ, гдѣ авторъ не высказываетъ своихъ настоящихъ, живыхъ чувствъ и побужденій, а является чисто въ видѣ мыслящаго существа, руководимаго одною научною любознательностью, однимъ теоретическимъ интересомъ. Есть однакоже въ автобіографіи Милля нѣкоторыя мѣста вполнѣ живыя, и мы укажемъ на нихъ читателямъ, какъ на то, что́ намъ показалось всего любопытнѣе. Англичане не всѣ такіе патріоты, какъ мы привыкли думать; и между ними есть вольнодумцы, прогрессивные люди, которые, подобно нашимъ образованнымъ людямъ, смотрятъ на свое отечество съ нѣкоторымъ презрѣніемъ и сожалѣніемъ, завидуютъ другимъ народамъ и берутъ себѣ въ примѣръ другія страны.

---

*) **Автобіографія Джона Стюарта Милля.** Переводъ съ англійскаго подъ редакціей *Г. Е. Благосвѣтлова.* Спб. 1874.

Настроеніе этого рода замѣтно у Диккенса; Карлейль восхищался Германіею, ея королями, философами и поэтами; Милль же во многомъ предпочиталъ своему отечеству Францію.

Въ 1820 году, слѣдовательно когда ему было 14 лѣтъ, онъ цѣлый годъ гостилъ во Франціи, и вотъ что онъ потомъ занесъ въ свою автобіографію:

„Величайшую пользу изъ этого пребыванія во Франціи „я пріобрѣлъ оттого, что впродолженіе цѣлаго года ды„шалъ *свободной, искренней атмосферой континенталь„ной* жизни. Хотя я въ то время не сознавалъ и не „вполнѣ оцѣнивалъ эту пользу, но тѣмъ не менѣе она „была очень значительна. Зная такъ мало англійскую „жизнь и приходя въ столкновеніе до сихъ поръ лишь „съ немногими людьми, которые большею частію стреми„лись не къ личнымъ, а къ великимъ общественнымъ цѣ„лямъ (здѣсь Милль разумѣетъ своего отца, Рикардо, „Бентама и подобныхъ людей, среди которыхъ выросъ), „я не вращался на *низкомъ нравственномъ уровнѣ* того, „что̀ называется въ Англіи *обществомъ*, не вѣдалъ при„вычки англичанъ *подразумѣвать въ дѣйствіяхъ каждаго „лица непремѣнно мелкія, низкія побужденія*, и отсут„ствія въ этомъ обществѣ возвышенныхъ чувствъ, что̀ „обнаруживается *презрительнымъ осужденіемъ проявленія „подобныхъ чувствъ и общей сдержанностію* (за исклю„ченіемъ нѣкоторыхъ религіозныхъ сектъ) отъ заявленія „какихъ бы то ни было высокихъ правилъ въ жизни, „кромѣ тѣхъ торжественныхъ случаевъ, когда подобное „заявленіе составляетъ необходимую принадлежность тре„буемыхъ этикетомъ формальностей и мундира. Я не зналъ „тогда и не могъ оцѣнить различія между подобнаго рода „существованіемъ и жизнью такого народа, какъ фран-

„цузскій, недостатки котораго, при всей ихъ очевидности, „совершенно иного характера. Во Франціи чувства, кото- „рыя можно назвать, по крайней мѣрѣ по сравненію, „*возвышенными*, составляютъ *мелкую ходячую монету*, „какъ въ книжкахъ, такъ и въ частной жизни. Если „иногда эти чувства улетучиваются въ громкихъ фразахъ, „все же они *живутъ въ массѣ націи*, благодаря посто- „янному употребленію и питаемому къ нимъ уваженію, „такъ что они составляютъ живой, дѣятельный элементъ „существованія громадной массы людей и понятны всѣмъ „и признаны всѣми. Точно также, я не могъ тогда оцѣ- „нить общаго развитія ума, происходящаго отъ постоян- „наго вліянія возвышенныхъ чувствъ и замѣчаемаго въ „самыхъ необразованныхъ классахъ нѣкоторыхъ конти- „нентальныхъ странъ, тогда какъ *подобнаго умственнаго „развитія нельзя встрѣтить въ Англіи* даже въ такъ „называемомъ образованномъ обществѣ, за исключеніемъ „рѣдкихъ людей, которые, благодаря очень чувствитель- „ной совѣсти, постоянно напрягаютъ свой умъ къ раз- „рѣшенію вопросовъ о добрѣ и злѣ, справедливомъ и не- „справедливомъ. Я не зналъ, что у большинства англи- „чанъ чувства и умственныя способности потому именно „остаются неразвитыми, или развиваются односторонне и „ограниченно, что *они не интересуются всѣмъ, не каса- „ющимся ихъ личнаго интереса*, за исключеніемъ очень „рѣдкихъ спеціальныхъ случаевъ, и не только не гово- „рятъ другимъ, но и не размышляютъ много сами о томъ, „что дѣйствительно ихъ интересуетъ; вслѣдствіе этого они, „какъ умственныя существа, ведутъ какую-то отрицатель- „ную жизнь. Все это я понялъ гораздо позже, но и тогда „чувствовалъ, хотя и смутно, разительный контрастъ „между откровенной общительностью и добродушной лю-

„безностью французской частной жизни и порядками, „существующими въ англійскомъ обществѣ, гдѣ каждый „дѣйствуетъ такъ, какъ будто всѣ остальные (за очень „рѣдкими исключеніями, если такія исключенія бываютъ)— „враги или навѣвающіе скуку болваны. Правда, во Фран„ціи дурныя и хорошія черты отдѣльныхъ личностей и „національнаго характера *скорѣе обнаруживаются* въ „ежедневныхъ столкновеніяхъ, чѣмъ въ Англіи, но, по „общему обычаю, французы выказываютъ дружеское чув„ство ко всякому и ожидаютъ того же отъ всякаго, за „исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда существуютъ поло„жительныя причины для непріязни. Въ Англіи можно „сказать тоже лишь въ отношеніи самыхъ образованныхъ „людей въ высшихъ классахъ или въ высшемъ слоѣ сред„нихъ классовъ (стр. 57—60).“

Вотъ характеристика, если и не полная, то все-таки очень вѣрная. Въ отношеніи къ англичанамъ она содержитъ черты, которыя нѣсколько напоминаютъ намъ нашъ собственный народный характеръ; у насъ такая же сдержанность, подозрительность, грубость развитія; а вмѣсто *презрительнаго осужденія* чувствъ насмѣшливость, равняющаяся этому осужденію. Но можетъ быть Милль не совсѣмъ правъ, не видя за этими дурными чертами какихъ нибудь положительныхъ чертъ своего народа; можно предполагать, что, по закону полярности или контраста, въ душѣ англичанъ таятся свойства глубокой чувствительности, сильнаго энтузіазма, тѣ свойства, съ которыми мы знакомы по Шекспиру, Диккенсу и пр. Не даромъ же англійскій народъ обнаруживаетъ такое могущество; оно должно имѣть нравственное основаніе.

Изъ приведенныхъ словъ Милля видно вообще, какъ

сильны были его симпатіи къ Франціи. Онѣ отразились и въ его образѣ мыслей; французскіе политическіе дѣятели и мыслители, соціализмъ, позитивная философія — имѣли на него вліяніе. По складу своего ума онъ не увлекся ничѣмъ до конца, но вошелъ, такъ сказать, въ искусные компиромиссы со всѣми этими вліяніями.

Выпишемъ еще одинъ интересный отзывъ Милля объ англійской жизни:

„Свѣтская жизнь въ современной Англіи", говоритъ онъ, „до того безцвѣтна и приторна даже для тѣхъ, „которые придаютъ ей торжественный характеръ, что ее „поддерживаютъ по какой угодно причинѣ, но только не „изъ удовольствія. Всякое серіозное обсужденіе вопро„совъ, по которымъ существуютъ различныя мнѣнія, счи„тается неприличнымъ, а національный недостатокъ живо„сти и общительности мѣшаетъ развитію искусства пріят„но болтать о пустякахъ, въ чемъ достигли такого со„вершенства французы прошлаго столѣтія; поэтому един„ственная прелесть того, что называется обществомъ, за„ключается для людей, еще не достигшихъ верхней сту„пени общественной лѣстницы, въ надеждѣ найти сред„ство подняться на эту ступеньку; тогда какъ для стоя„щихъ на верху свѣтская жизнь только привычка и пред„полагаемое необходимое условіе ихъ положенія. Для „всякаго человѣка, одареннаго способностями умствен„ными и нравственными хоть не много превосходящими „*очень низкій современный уровень*, подобное общество „должно быть чрезвычайно непривлекательно (стр. 240)".

Такъ обличаетъ Милль свою родину. Въ немъ очевидно сказывалось довольно сильно то чувство недовольства *своимъ*, которое намъ такъ хорошо знакомо.

Самая живая страница въ автобіографіи Милля конеч-

но, та, гдѣ онъ разсказываетъ, какъ онъ мучился непонятною тоскою и какъ наконецъ открылъ тайну истиннаго счастія.

„Начиная съ зимы 1821 года", говоритъ онъ, „когда „я впервые прочелъ Бентама, и особенно съ начала изданія „*Вестминстерскаго Обозрѣнія*, я имѣлъ цѣль въ жизни— „быть реформаторомъ всего міра. Мое понятіе о личномъ „счастьѣ сливалось совершенно съ этой цѣлью. Я не жа„ждалъ другаго сочувствія, какъ сочувствія моихъ сотруд„никовъ въ великомъ дѣлѣ преобразованія человѣчества. „По дорогѣ я не отказывался отъ нѣкоторыхъ удовольствій, „но полнымъ, совершеннымъ удовлетвореніемъ моихъ же„ланій могло быть только стремленіе къ этой цѣли, и *я „поздравлялъ себя съ прочнымъ счастіемъ въ жизни, такъ „какъ мой идеалъ счастья былъ такъ далекъ*, что постоян„но можно было подвигаться къ нему, но *никогда его не „достичь*. Подобнымъ образомъ я существовалъ нѣсколько „лѣтъ, и моя жизнь повидимому достаточно была одушев„лена сознаніемъ, что на свѣтѣ происходятъ постоянныя „улучшенія и я участвую въ борьбѣ для достиженія этихъ „улучшеній. Но пришло время, когда я какъ бы очнул„ся отъ сна. Это было осенью 1826 года. Я находился „въ мрачномъ настроеніи духа, какъ случается со вся„кимъ; нервы мои были разстроены и неспособны ощущать „никакого удовольствія,— однимъ словомъ, я находился „въ такомъ настроеніи, когда все кажется пошлымъ, не„пріятнымъ и на все смотрится равнодушно; въ такомъ „положеніи, я полагаю, находятся методисты, когда „ихъ впервые посѣщаетъ внутреннее сознаніе грѣха. „Въ это время мнѣ пришла въ голову мысль предложить „себѣ слѣдующій вопросъ: „если всѣ твои цѣли въ жизни „осуществятся, еслибъ въ настоящую минуту могли *про-*

„*изойти всѣ перемѣны въ человѣческихъ учрежденіяхъ и „мнѣніяхъ, которыхъ ты добиваешься,* то составило ли „бы это для тебя величайшую радость и полное счастье?“ „Непреодолимый голосъ совѣсти прямо отвѣчалъ: „нѣтъ!“ „Сердце мое дрогнуло. Я ставилъ все свое счастье въ „постоянномъ стремленіи къ одной цѣли; эта цѣль по„теряла для меня свою обаятельную силу; *къ чему же „было болѣе къ ней стремиться?* Къ чему же было долѣе „жить?“ (стр. 137—9).

Такое состояніе продолжалось полгода. Наконецъ оно стало проходить, и Милль вспоминаетъ, что при излеченіи отъ отчаянія ему помогали и сильно на него дѣйствовали нѣкоторыя художественныя впечатлѣнія, именно одна трогательная сцена въ мемуарахъ Мармонтеля, музыка Веберовской оперы „Оберонъ“, и стихи Вордсворта. Вслѣдствіе этого онъ въ первый разъ понялъ, какое важное значеніе вообще имѣетъ искусство; но вмѣстѣ онъ рѣшилъ для себя и вопросъ, въ чемъ состоитъ и какъ достигается истинное счастіе человѣческой жизни.

„Я нисколько не сомнѣвался“, пишетъ онъ, „въ пра„вильности своего прежняго убѣжденія, что счастье— „*мѣрило всѣхъ жизненныхъ правилъ и цѣль существова„нія;* но я теперь полагалъ, что этой цѣли можно было „достигнуть только тогда, *когда она будетъ поставлена „на второй планъ.* Тѣ люди только счастливы, думалъ я, „которые ставятъ себѣ цѣлью *въ жизни какой либо другой „предметъ,* а не свое собственное счастье, напримѣръ „счастье другихъ, усовершенствованіе человѣчества, какое „нибудь искусство или предпріятіе. Такимъ образомъ, „стремясь къ чему либо иному, они находили свое счастіе, „такъ сказать, на пути. По моей новой теоріи, въ жизни

„было достаточно наслажденій для приданія ей обаятельной „силы, если мы беремъ ихъ en passant, не *придавая имъ „значенія главной цѣли нашего существованія.* Придайте „имъ такое значеніе—и они тотчасъ окажутся недоста- „точными и *не выдержатъ строгаго анализа.* Спросите „себя, счастливы ли вы,—и вы перестаете быть счастли- „выми. *Единственная возможность достигнуть счастья „заключается въ томъ, чтобы считать не счастье, а что- „либо другое цѣлью въ жизни.* На служеніе этой цѣли „употребите все свое самосознаніе, всю свою способность „къ анализу, и, если другія обстоятельства вашей жизни „удачно сложатся, то вы будете счастливы, вдыхая въ „себя счастье вмѣстѣ съ воздухомъ, а не думая о немъ, „не анализируя его. Эта теорія стала теперь основой „моей философіи жизни, и я до сихъ поръ считаю ее „лучшей теоріей для всѣхъ, которые обладаютъ умѣрен- „ной впечатлительностію и такой же умѣренной способ- „ностію къ наслажденію, то-есть для большинства чело- „вѣчества (стр. 148—9)".

И такъ передъ нами *лучшая теорія счастья,*—плодъ не однихъ размышленій, но и жизненнаго опыта. Но странно,—эта теорія похожа скорѣе на какую-то загадку; она вся состоитъ изъ противорѣчія, ничѣмъ необъясненнаго. Уже и въ прежнемъ отрывкѣ не могутъ не поразить слова: „я поздравлялъ себя съ прочнымъ счастіемъ въ жизни, такъ какъ никогда *не могъ достигнуть* своего идеала". Милль радовался, что идеалъ его очень далекъ! Теперь же онъ признаетъ теорію еще болѣе поразительную. Счастье, говоритъ онъ, есть „мѣрило всѣхъ жизненныхъ правилъ и цѣль существованія". Но чтобы достичь его, не нужно къ нему стремиться, нужно стремиться къ чему-нибудь другому, а о счастіи не ду-

мать. Какъ же это сдѣлать? Вѣдь мы знаемъ, что стремленіе къ счастію есть самое сильное и общее стремленіе всѣхъ существъ, и конечно на этомъ основаніи Милль призналъ счастіе за мѣрило и цѣль жизни. И такъ, мы должны отказаться отъ *самаго сильнаго и общаго своего стремленія*, то есть мы должны отречься *отъ жизни*, не думать о ея радостяхъ, достичь въ этомъ отношеніи равнодушія и спокойствія. И тогда, какъ обѣщаетъ намъ Милль, мы по пути, незамѣтно, не думая, вмѣстѣ съ воздухомъ—вдохнемъ въ себя и счастье. Очевидно условіе отреченія отъ жизни есть условіе невыполнимое для большинства. Оно можетъ быть слѣдствіемъ только такого полнаго отчаянія, какое пережилъ Милль въ теченіе полугода; и такъ, кто хочетъ счастья, тотъ долженъ сперва впасть въ совершенную безнадежность и тоску, потомъ получить равнодушіе, и наконецъ, уже не думая о счастьи, чѣмъ нибудь заняться,—все равно чѣмъ, „усовершенствованіемъ человѣчества, какимъ-нибудь искусствомъ, или предпріятіемъ". Счастье прійдетъ само собою. Такова лучшая теорія.

Эти противорѣчія, намъ кажется, ясно показываютъ, что Милль не развязалъ узла и не достигъ тѣхъ понятій, которыя хоть сколько нибудь опредѣляютъ назначеніе человѣка. Совѣтуя быть равнодушнымъ къ счастію и не думать о немъ, онъ долженъ былъ бы однакоже чувствовать, что есть вещи, которыя выше такъ называемаго счастья.

ДОПОЛНЕНІЯ И ПОПРАВКИ.

Къ стр. 57. „Но своего женщины достигли". Правильнѣе было бы сказать: „но отъ своего онѣ не ушли". Впрочемъ, въ извѣстной мѣрѣ справедливо и первое выраженіе.

Къ стр. 58. „Пушкинъ есть образецъ цѣломудрія". Это требовало бы подробнаго развитія и доказательства. Цѣломудріе состоитъ не въ томъ, что объ извѣстныхъ предметахъ умалчивается, а въ томъ, *какъ* объ нихъ говорится. Есть люди, которые оказываются нецѣломудренными даже въ самомъ стараніи избѣгать этихъ предметовъ и въ той осторожности, съ которою ихъ касаются. Пушкинъ же, написавшій столько шуточныхъ неприличностей, и въ нихъ не возмущаетъ истинно-цѣломудреннаго чувства; а въ серіозныхъ произведеніяхъ у него не только всегда на грязные предметы устремленъ совершенно чистый взглядъ, но и является въ удивительной простотѣ и высотѣ тотъ перевѣсъ духа надъ плотью, который свойственъ настоящей поэзіи и настоящему цѣломудрію.

Къ стр. 91. Здѣсь разумѣется тотъ разговоръ между Хомяковымъ и Герценомъ, который разсказанъ въ *Былое и Думы* (Лондонъ, 1861), т. II, стр. 327 и 328, и происходилъ зимою 1842—1843 года.

Къ стр. 102. „Значеніе Фейербаха". Статья о

Фейербахѣ писана тогда, когда я еще не былъ знакомъ съ Шопенгауэромъ; иначе, какъ замѣтятъ читатели, мнѣ слѣдовало бы указать и на него, какъ на разительное подтвержденіе своей мысли. Съ Шопенгауэромъ я познакомился только въ 1866 г., благодаря С. П. Автократову, который былъ въ числѣ молодыхъ людей, посланныхъ въ 1862 г. за границу для приготовленія къ профессурѣ, и вывезъ оттуда восторженное поклоненіе Шопенгауэру. Имѣя тогда очень мало времени для чтенія, я сталъ, однако, читать философа-пессимиста и скоро раздѣлилъ этотъ восторгъ. Пишу это для извиненія передъ читателями.

Къ стр. 144. „Будутъ напечатаны во второмъ томѣ Reden und Aufsätze". Томъ этотъ наконецъ явился въ 1876 году, т. е. черезъ 17 лѣтъ послѣ появленія книги Дарвина. Онъ почти весь посвященъ опроверженію Дарвиновой теоріи, именно разъясненію понятія *цѣлесообразности* и доказательству, что цѣлесообразность присутствуетъ въ самомъ *развитіи* организмовъ. Такимъ образомъ уничтожается идея *случайности*, въ которой состоитъ вся привлекательность дарвинова ученія. Но книга Бэра не произвела замѣтнаго впечатлѣнія на натуралистовъ.

Н. Я. Данилевскій, извѣстный авторъ книги *Россія и Европа*, готовитъ теперь большое сочиненіе, въ которомъ со всею основательностію разбираетъ и опровергаетъ теорію Дарвина. Судя уже по нѣсколькимъ главамъ, прочитаннымъ мною въ рукописи, этотъ капитальный трудъ долженъ навсегда установить многіе факты и соображенія, уничтожающіе возможность дарвиновскихъ предположеній.

Къ стр. 206. *Письма объ нигилизмѣ* печатались въ еженедѣльной газетѣ *Русь*, Москва, 1881, №№ 23, 24, 25 и 27.

Къ стр. 250. *Письма объ нигилизмѣ* не кончены; далеко не удалось мнѣ высказать свой взглядъ со всѣхъ сторонъ. И изложеніе не вполнѣ такое, какъ мнѣ мечталось. Прибавлю нѣсколько словъ о самомъ важномъ пунктѣ.

Общая мысль моя та, что нигилизмъ есть крайнее, самое послѣдовательное выраженіе современной европейской образованности, а эта образованность поражена внутреннимъ противорѣчіемъ, вносящимъ ложь во всѣ ея явленія. Противорѣчіе состоитъ въ томъ, что всѣ протестуютъ противъ современнаго строя общества, противъ дурныхъ сторонъ современной жизни, но сами нисколько не думаютъ отказываться отъ тѣхъ дурныхъ началъ, противъ которыхъ протестуютъ. Гонители богатства ни мало не перестаютъ завидовать богатымъ; проповѣдники гуманности остаются нетерпимыми и жестокими; учители справедливости—сами вѣчно несправедливы; противники властей—жаждутъ, однако, власти для себя; и протестующіе противъ притѣсненій и насилій—сами величайшіе притѣснители и насильники.

Во всѣ времена, жизнь человѣчества держалась на нѣкоторомъ компромиссѣ; всегда высокія требованія нравственности безсознательно вступали въ сдѣлку со страстями и потребностями человѣка. Но никогда эта сдѣлка не была искуснѣе и не достигала такого блистательнаго и полнаго соглашенія, какъ въ наше время. Современный человѣкъ имѣетъ возможность предаваться всѣмъ своимъ влеченіямъ, всѣмъ дурнымъ душевнымъ качествамъ, и въ тоже время безъ конца благородствовать и великодушничать. Никакіе іезуиты не могли при-

думать ничего подобнаго. Эта возможность—быть, повидимому, нравственнымъ, и самому себѣ казаться нравственнымъ, а въ сущности оставаться совершенно чуждымъ истинной нравственности, эта возможность должна глубоко развращать людей, и отъ поколѣній, растущихъ и живущихъ подъ руководствомъ такой сдѣлки, нельзя ожидать ничего хорошаго.

530883